

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ 4 2000

В НОМЕРЕ:
МИХАИЛ АГУРСКИЙ
РУДОЛЬФ БАРИНСКИЙ
НАУМ БАСОВСКИЙ
ЕФРЕМ БАУХ
НИКОЛАЙ НЕХЕМИЯ БЕЗЗУБОВ
МИРИАМ ГАМБУРД
МИХАИЛ ГОРЕЛИК
АНДРЕЙ ГРИЦМАН
ИГОРЬ ГУБЕРМАН
НИНА ЕЛИНА
БОРИС ЗАЙЦЕВ
МИХАИЛ ЗИВ
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ
АРНОЛЬД КАШТАНОВ
ИЕУДИТ КАЦИР
НАДЕЖДА КРАИНСКАЯ
ВАДИМ ЛЕВИН
ИГОРЬ МАРКОВ
АЛЕКСАНДР ОКУНЬ
АЛЕКС РЕЗНИКОВ
ИЛАН РИСС
ДЕНИС СОБОЛЕВ
ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ
СУСАННА ЧЕРНОБРОВА
И ДРУГИЕ

N4



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2000' 4

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

④ 2000

Иерусалимский журнал, № 4, 2000

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/L

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение "Иерусалимская антология"

Редколлегия номера: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Зинаида Палванова, Дина Рубина, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь – **Леонид Левинзон**

Художник – **Сусанна Черноброва**

Редактура и корректура – **Маргарита Шкловская**

Организационное и техническое обеспечение – **Бина Смехова,**

Борис Бронштейн, Софья Броверман, Даниил Бурштейн,

Михаил Бяльский, Нелли Глузман, Виктор Гопман, Григорий

Гордин, Шауль Котлярский, Даниил Лемберг, Антон Мухин

Издательство "СКОПУС"

Типография "ЦУР-ОТ"

При поддержке



Министерства абсорбции;
Министерства культуры;
Центра интеграции репатриантов –
деятелей литературы и искусства;

Управления абсорбции и Отдела культуры
Иерусалимского муниципалитета; Сионист-
ского Форума и Всемирной ассоциации по
изучению взаимодействия культур.

Журнал выходит ежеквартально

Copyright © "Иерусалимский журнал" 2000. All rights reserved.

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISSN 1565-1347

Адрес редакции:

Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322

E-mail: review@antho.net

Тел.: 972-2-6434005, 972-6432962; тел./факс: 972-2-6720025

Представители "Иерусалимского журнала":

В Москве – **Игорь Меламед**, т.: 242-70-42. 119048, Хамовнический вал,
24/116; **Игорь Грызлов**, т.: 551-57-05; E-mail: igorgr@dol.ru

В Санкт-Петербурге – **Ольга Крупень**, т.: 312-54-65; 191186, ул. Казанская,
5; **Сергей Григорьянц**, т.: 294-81-43; ул. Бассейная, 71/66.

В Новосибирске – **Владимир Болотин**, т.: 329944. E-mail: V.P.Bolotin@inp.nsk.su

В Нью-Йорке – **Андрей Грицман**, т.: 201-816-9131; **Andrey Gritsman**, 55 Central
Avenue, 1st Floor, Tenafly, NJ 07670. E-mail: agritsman@worldnet.att.net

В Чикаго – **Александр Блинштейн**, т.: (847) 676-1134, **Alexander Blinstein**,
5157 Jarvis, Skokie IL 60077; **Ефим Котляр**, т.: (847)-5819304, **Yefim Kotlyar**,
5251 Carol, Skokie, IL 60077; E-mail: YefimK@aol.com

В Калифорнии – **Рита Бальмина**, т.: 619-4606179, **Balmina**, Cowles HNT.BD
#E128 La-Mesa CA 91242 rita_balmin@yahoo.com

В Париже – **Влад Смехов**, т.: 33-6-73024165, 33-1-41861474

В ИЗРАИЛЕ: Арад – **Ольга Кравченко**, т.: 07-9971014. Ариэль – **Самуил**
Кушниров, т.: 03-9365452. Афула – **Любовь Сергеева**, т.: 06-6492095. Гериция

– **Леонид Шейнкман**, т.: 09-9502681. Кфар-Саба – **Виталий Кабаков**,
т.: 09-7673293. Лод – **Михаил Гиль**, т.: 08-9201291. Реховот – **Марк**
Павис, т.: 08- 9353758. Хайфа – **Михаил Басин**, т.: 04-8213657.

OCR Давид Титиевский, май 2019 г., Хайфа

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

Наум Басовский

МЕСТО, ГДЕ КАЖДОДНЕВНО ЖИВЁШЬ

* * *

В.

Надоели бесконечные повторения.
Что такое настоящая новизна?
Первая любовь. Первое стихотворение.
Впервые увиденная страна.

Но мчатся годы, ушами прядая;
порой оглянешься – Боже мой!
Похожи любовь третья и пятая,
не говоря уже о седьмой. -

Стихи становятся всё изощрённее,
словно бельгийские кружева.
Но если убрать покровы иронии,
остаются стёршиеся слова.

А что происходит с чужими странами?
Возвратишься, схлынет напор суеты,
и на снимках не покажутся странными
одинаковые соборы, замки, мосты.

Редко кому дано озарение,
когда новизной бросают в дрожь
единственная любовь,
последнее стихотворение,
место, где каждодневно живёшь...

Сентябрь, 1999

* * *

Леониду Черкасскому

Стали на склоне судьбы двуязыки,
будни её – не круиз и не тур:
не объяснить проживание на стыке
двух географий, религий, культур.

Слишком уж многое выглядит скрытым,
словно плывёшь и не чувствуешь дна.
Не сочетаются с чётким ивритом
русской просодии полутона.

Глупо, однако, насупливать лица:
что уж не так происходит с тобой?
Разве любая судьба не двоится
белым и чёрным, как столб верстовой?

Нашему времени мы не владыки,
но ведь не скажешь – особая статья:
все на земле проживают на стыке
жизни и смерти,

так что же роптать?

Апрель, 1999

* * *

Игорю Герману

Бромпортрет, йодоконт, унибром –
тех названий уже и не помнят.
А ведь ночь напролёт с фонарём
в темноте занавешенных комнат
пролетала!

Манил и томил
проявитель в ребристой кювете,
и нездешний таинственный мир
колыхался в оранжевом свете.

Там, конечно, отсутствовал цвет,
но ведь цвет – это только потеха;
нецветные пейзаж и портрет
нас учили искусству оттенка:
если можно домыслить цвета,
значит, запахи можно и звуки,
и не всё во вселенной тщета,
и не всё убоится разлуки.

Эти карточки не для потех –
мы затем за собою их возим,
чтоб порою домыслить и тех,
кто при съёмке отсутствовал вовсе.
Пожелтевший от времени хлам,
где, казалось, все песенки спеты, –
но черты, незнакомые нам,
проступают сквозь наши сюжеты.

Май, 1998

ДИПТИХ О МОЁМ АРХИВЕ

Юрию Колкеру

1. БУКИНИСТ

Всё окно, как в новогодней шторе,
в ровном снегопаде...

Отнесу я к букинисту, что ли,
все свои тетради
и скажу: – Послушайте, маэстро,
риск – святое дело:
для тетрадей подберите место,
спрячьте их умело.
Говорю вам искренне и верно:
пролетит столетье –
цены возрастут неимоверно
на тетради эти!

Букинист очки в руках повертит,
скажет осторожно:

– Думаете, кто-нибудь поверит,
хоть поверить можно?

Вы и я – не более чем люди:
пролетит столетье –
ни меня, ни вас давно не будет
на прекрасном свете.

Снегопад способствует спокойной,
медленной беседе.

– Ну, а вы предполагали сколько
жить на этом свете?

Я же вам скажу чистосердечно,
пусть меня осудят:

вы торговец, я поэт – мы вечны,
если будут люди!

Букинист глядит почти сердито
и, решась на что-то,
объявляет магазин закрытым
для переучёта.

Наверху, под скатом крыши низким,
в снег летящий глядя,
раскрываю перед букинистом
все свои тетради.

Я стихи читаю постепенно
не для слов и лести:
букинист им называет цену,
сделка честь по чести,

и потом, переходя от строчек
к тривиальной прозе,
деньги мне отсчитывает строго
и проверить просит.

За окном темно. Пространство ночи –
в снегопаде штормом...
Букинист ворчливо пробормочет:
– Ишь, какой проворный!
Деньги получить – и сохраниться?
Нет, бессмертье – мимо! –
и меня, страницу за страницей,
съест огонь камина.
Лишь одно он вдруг спасёт, пожалуй,
от золы очистив, –
то стихотворенье, где держал я
речь о букинисте...

Ноябрь, 1978

2. АНТИКВАР

В Тель-Авиве, где-то возле рынка
в переулках узких,
на глаза попалась мне витринка
вся в обложках тусклых.
И, взглядевшись в бородатый, грузный
и курчавый лики,
понял я, что это лавка русской
антикварной книги.

Захожу, конечно. Колокольца
слышу звон знакомый,
и волна прошла по телу косо
словно бы истомой:
этот звук, исполненный доверья,
я слышал когда-то,
закрывая за собою двери
в глубине Арбата.

После ослепительного солнца
привыкаю к лампе.
Узнаю давнишнего знакомца
из московской лавки.
Да и он сомнения итожит,
выходя из мрака:
"Я узнал вас, как ни странно, тоже;
двадцать лет, однако!..

Подождите!" – и уходит снова,
видимо, в подсобку.
Возвратившись, на столе сосновом
складывает стопку
выцветших блокнотов и тетрадок
и квитанций бланки
и бормочет: "Должен быть порядок;
у меня – как в банке.

Посмотрите – ваш архив исконный
я из сейфа вынул!.."

.....
Почерк – мой, а тексты – незнакомы:
первый раз увидел.
Вглядываясь, глохну и немею,
ноги как из ваты.
Ничего понять я не умею –
вот и жутковато.
Это всё мои, мои тетради,
но чужие речи!..
Антиквар ко мне подходит сзади
и берёт за плечи,
говоря: "Не бойтесь, дело чисто –
гляньте-ка на даты:
это всё, что вам ещё случится
написать когда-то.

Мы привыкли жизнь делить на фазы,
расставляя вехи,
а она ведь вся даётся сразу,
сразу и навеки.
Ну, а что касается архива... –
он помедлил малость, –
то, что мне когда-то принесли вы,
у меня осталось.

Я б держал и дальше интендантство
над судьбой еврея,
но прошло смещение пространства –
и сместилось время.
Будущее ваше, ваша доля
превратились в память.
И судьба архива – в вашей воле:
взять или оставить".

Я молчу, и длятся две минуты,
словно два столетия.
Не было в душе сильнее смуты,

чем в минуты эти!
Но, со страхом всматриваясь в бездну
пристального взгляда,
я внезапно становлюсь железным:
– Не возьму. Не надо.

Да и вам довольно напрягаться
в вахте над поэтом:
то, что в сейфе, – вовсе не богатство,
я уверен в этом.
И прощаюсь я с курчавым ликом,
с бородатым, грузным...
И вослед мне смотрит мой хранитель
с одобреньем грустным.

Октябрь, 1998

ЯНВАРЬ ДЕВЯНОСТО ВТОРОГО

Озябшей рукой за спиной по скамейке пошарить –
безлюдный и строгий, заснеженный парк за спиной, –
слепить из подмокшего снега увесистый шарик
и всласть запустить в деревянный забор предо мною.

И этим движеньем – слепым, безоглядным, нелепым, –
уж раз невозможно открытыми миру строками, –
сказать на прощанье: по горло я сыт вашим хлебом,
и вашею лаской, и вашими в душу плевками.

Кому говорю и какая нужна тут ремарка? –
единственный зритель, я сам и актёр поневоле
на призрачной сцене холодного гулкого парка –
актёр поневоле в никем не написанной роли.

В ней смысла немного, и действие длилось бы чинно,
когда б не на досках внезапные белые пятна, –
но надо ж хотя бы себе указать на причины,
зачем я из белой зимы ухожу безвозвратно.

Ещё я и этому небу, и снегу подсуден,
ещё я с собой не в ладах до прощального рейса...
А парк за спиной молчалив и опасно безлюден,
и пальцам озябшим нескоро ещё отогреться.

Август, 1999

* * *

Что мы знаем о жизни? Какие-то жалкие крохи.
Мы едва отошли от неявной начальной черты.
Дни сплетаются в годы, а годы – в века и эпохи;
жизнь любого из нас – просто промельк среди темноты.

Вот вершины в снегу. Вот кишасящие гадами грязи.
Вот прибой ударяет о скалы тяжёлой волной.
Миллион миллионов явлений, событий и связей;
повлиять на судьбу – предостаточно даже одной.

Нам неведомы сроки, неведомы средства и цели.
Что единственный путь в миллиардах запутанных трасс?
Может быть, потому мы с тобою и живы, и целы,
что печальный раввин помолился однажды за нас.

Вот созвездия в небе. Вот веток сплетенье густое.
Бесконечную суть не объять ни умом, ни душой.
Наше дело – пахать, и зерно совмещать с бороздою,
и снимать урожай на делянке своей небольшой.

Январь, 2000

* * *

В который раз всё тот же сон
сбивал дыханье кладью грузной –
в который раз мне снился он,
наш прежний дом на Профсоюзной.

Мы заходили в наш подъезд
стыдливо как-то и неловко:
не выдаст Бог – свинья не съест,
а всё же пахло мышеловкой.

И было душно нам, пока
кабина кверху подымалась,
как будто жёсткая рука
на горле медленно сжималась.

И вот открылся лифта створ,
и на стене следы пожара,
а в доме пахнет воровством,
как пел когда-то Окуджава.

В простенках мышья суета,
слова, напоенные горем,
и в доме пахнет, как всегда,
растлением и алкоголем.

И вдруг, когда со всех сторон
полезли мысли об обидах,
во сне я понял: это сон –
и ощутил свободный выдох.

А если сон – не полошись,
былые мифы провожая:
знакомый дом – чужая жизнь,
чужой уклад, судьба чужая.

И на знакомом этаже
в чужие вглядываясь лица,
мы не ответственные уже
за весь позор, что там творится.

Июль, 1999

* * *

Прожив достаточно долго в среде, не совсем безвоздушной,
подбить попробуем бабки, сделав начёт и вычет.
Придётся признать, что люди в массе своей равнодушны
и не придут на помощь, когда это нам приспичит.

Впрочем, и мы-то сами точно такие же люди,
как те, которые слева, и те, которые справа.
Придётся признать, что люди в массе себя лишь любят,
и ничего не скажешь – имеют на это право.

Любят смотреть сериалы и петь банальные песни,
верить легендам и слухам, особенно с чудесами...
Придётся признать, что люди в массе неинтересны –
ровно в такой же мере, как неинтересны мы сами.

Вокруг, куда ни посмотрим, наблюдения сходны.
Но, если быть справедливым, они до конца не слитны:
придётся признать, что люди изредка превосходны;
впрочем, эти же люди наиболее незащитны.

Май, 1998

* * *

Перед тобой шоссе, где лишь зелёный свет,
где нет пути назад и остановок нет,
где каждый Божий день – крутые виражи,
и если хочешь жить, сноровку покажи.
Ты мчишь во весь опор, куда – не знаешь сам,
и веры нет ушам, и веры нет глазам,
и лишь слепой инстинкт сигналы подаёт:
вписаться в поворот! вписаться в поворот!
Ты, начинавший путь за тридевять земель,
был молод и упрям и ясно видел цель,
а нынче не узнать за стёклами земли,
да к чуткому рулю ладони приросли.
Ещё один вираж! Тебе неведом страх –
почти в зенит летит обочина в кустах,
выравниваешь крен – и вдруг недалеко
ты видишь: арлекин в нелепом колпаке.
Печально он бредёт в прозрачной тишине,
на конусе звезда и ромбы на спине,
и это для тебя – крутые виражи,
а для него они – простые миражи.
Немолод он и хил, любитель миража,
и вовсе не ходок по лезвию ножа,
и где тебя гнетёт: вписаться в поворот! –
он попросту идёт, и нет иных забот.
Цветной костюм его – традиций торжество,
гармонии сродни симметрия его,
и лишь бубновый туз, отчётливый вполне,
пылает на спине, на левой стороне...

Июнь, 1999

* * *

Воспоминанье брезжит робко
издалека-издалека:
была железная коробка
из-под зубного порошка,
в ней ржавый ножик перочинный,
наушник, линза и слюда...
Но ведь не в этом же причина,
чтоб снова приходить сюда?
Назад по времени кочуя,
места меняя и пути,
на самом деле *что* хочу я
в развалах памяти найти?

Шоссе, просёлок, дальше тропка,
посёлка смертная тоска...
Ну да, железная коробка
из-под зубного порошка,
и в ней лежат полузабыто
попавшие в бессрочный плен
кусоч вонючего карбида,
что порождает ацетилен,
значок, футбольная таблица
за пятьдесят четвёртый год, —
и долго-долго эхо длится
тех радостей и тех невзгод.
А всё-таки чудное войско
построчно занимает стих —
ведь это всё не вещи вовсе,
а лишь обозначенья их.
Нет на листе ни грана, кроме
названий и меж них пустот, —
но в звуке, цвете и объёме
мерцает мир миражный тот,
мир гладкий и шероховатый,
холодный, тёплый под рукой,
где есть напевы, ароматы,
веселье, горе и покой.
Какое мощное барокко
берёт начало с пустяка!
Была железная коробка
из-под зубного порошка —
и вот медлительно, не сразу,
растёкся город наяву,
и в парке вековые вязы
роняют рыжую листву,
и шпили башен в позолоте
осеннюю пронзают ржу,
и я, у жизни на излёте,
как прежде, мнимостям служу...

Июль, 1998

***Редколлегия журнала сердечно поздравляет
Наума Басовского с присуждением ему премии
Союза израильских русскоязычных писателей.***

Тригорий Канович

ОТОНЬ И ВОДЫ

Главы из повести

1

Как странно, думал я, сидя под лимонным деревом в благодатной и недолговечной тени, минуло без малого шестьдесят лет, а мне до сих пор всё ещё кружат голову неотвязные сны о том далёком бедственном времени, которое как бы смёрзлось в лёд на степных казахских просторах; только зажмурую глаза и вижу перед собой крошечный аул у подножия Алатау; его белоснежные, загадочные отроги, клубящиеся в утреннем кумысовом тумане; мерцающие желтушными огоньками саманные хаты; нашу хозяйку и спасительницу Анну Пантелеймоновну Харину, приютившую нас, несчастливцев, «выковырянных» из никому не известной в здешних местах и уже поэтому враждебной Прибалтики. Как странно, думал я, прошла целая вечность, но в состарившейся памяти вслед за тусклыми огоньками в похожих на бойницы, узеньких, без занавесок и зачастую без рам всяких окнах то и дело всё ещё вспыхивают размытые контуры полузабытых лиц; откуда-то, словно утопленники со дна, нет-нет да всплывают умершие с голоду люди и околевавшие домашние животные, терпеливо делившие с беженцами и кров, и скудную еду, и хвори, а порой и редкие, сморщенные, как перезревшие райские яблочки, радости.

Как странно, думал я, прислушиваясь к бестолковой птичьей возне на ветках, усыпанных миниатюрными солнцами уже созревших лимонов, только закрой глаза, и всё, что Бог весть когда было пережито под другим небом, за тысячи вёрст от этой благодатной, обретенной после всех кочевий и странствий, миротворной тени, в один неуловимый и щемящий миг укрупнится под увеличительным стеклом памяти и приблизится к тебе, как вынырнувший из ночи тоезд, мчащийся на всех парах и в кромешной тьме сверкающий своими призывными призрачными огнями. Приблизится и, окатив здруг тоской по тому, чему и подходящего названия-то найти невозможно – то ли по нелепо утерянному, как родительский подарок, детству; то ли по бесприютной молодости, – обадаст горькими дымами чужбины и сиротства.

Память, память... Разве не подобна она, думал я, такому – свежащемуся в ночи – поезду: всю жизнь только и делаешь, что норозишь вскочить на ходу на подножку и вернуться туда, где счастье твоё (если тебе и впрямь подфартило) – всё еще счастье, а беда (если никакого фарта не было) – давным-давно уже не беда.

Я опускаю, как занавес, веки, и невольно переселяюсь в ту потылую военную осень; в тот маленький, затерявшийся в казахской степи аул – облюбованное пристанище ветров и скотоводов;

в крытую саманом, выцветшим на крутом солнце, хату, из которой каждое божье утро выходит наша пышнотелая хозяйка Анна Харина. Статная, дерзкая, упрямая, она бежит вприпрыжку к скособочившемуся колодцу, вырытому её Иваном, героически погибшим не то под Тулой, не то под Мгой, погружает в узкий проём скрипучую бадью, зачерпывает студеной воду, ловко скидывает одной рукой белую ночную сорочку и, весело взвизгивая от холода, обливает себя, голую, с головы до пят.

– Пррр... – радостно фыркает она, как необъезженная степная кобылица.

– Ты чего подглядываешь? – журит меня на идише мама, когда разбуряившаяся Харина влетает со двора в хату. – Отвернись к стенке, бесстыдник! Кому сказано – к стенке!..

Сквозь птичью бестолковщину в ветвях лимонного дерева на улице имени провозвестника Израиля – чернобородого Теодора Герцля – я ясно слышу раскатистый, озорной голос тёти Ани (так сразу же после нашего вселения к ней на постой она милостиво позволила себя называть):

– Ему можно... Не бойся, его-то я кипятком не ошпарю.

И, еще не обсохшая от радости, принимается, хохоча и подмигивая, рассказывать, как она отвадила соседа – объездчика Кайербек, чересчур любопытного к женским прелестям, от ежеутренних запретных подглядываний из-за угла; как загодя вскипятила воду, налила в помойное ведро, из которого поила двух своих пятнистых, влюблённо бегавших за ней подсвинков; как тихонько подкралась сзади к жаждавшему острых ощущений нахалу, устроившему свой наблюдательный пункт за дровяным сарайчиком, и плеснула кипятком ему в задницу... Кайербек, говорят, две недели провалялся в Джувалинске, в больнице, превращенной в военный госпиталь, но доктора у него так и не выпытали правды... Бытовая травма, уверял он, сел, мол, по глупости на перевернутый раскаленный чугунок и обжёгся...

Господи, когда это было? И было ли вообще? Не придумал ли, не создал ли я всё это в своём воображении, чтобы хоть как-то нехитрым вымыслом подсластить и скрасить свою старость: и этот крошечный, у подножия Алатау, глухой, как табакерка, аул; и этот когда-то ладно срубленный под окнами колодец, ставший памятником сгинувшему мужу Хариной, её короткому и счастливому замужеству; и это ежеутреннее, чуть ли не жреческое омовение на рассвете; и эту тяжелую русую косу, сползавшую степной, вёрткой змеей по спине тёти Ани на щербатый глиняный пол и норовившую как бы шмыгнуть в подпол?..

Может, и придумал. В придуманном времени куда легче жить, чем во всамделишном. Ведь, если хорошенько пораскинуть мозгами, что такое в конце-то концов время для каждого из смертных? Разве не хитроумная Господня придумка? Как говорила бабушка Роха, у кого ключик от времени, тот и его хозяин; а ключик этот не у часовщика Гедальи в кармане, а у Всевышнего за пазухой. Это не хилый Гедалья, а Всемиловистейший по своему усмотрению заводит время и останавливает, это Он, Всемогущий, для одних подкручивает его вперёд, а для других только откручивает назад...

– Отвернись, негодник, – ворчит мама. – Я тебя сейчас не кипятком, а ремнём ошпарю.

Как странно, думал я, сижу под лимонным деревом, забрызганным птичьими трелями, на тихой улице имени бессмертного бородача Теодора Герцля, где никто, наверно, слыхом не слыхал ни об отрогах Алатау, ни о женщине по имени Анна, ни о похотливом Кайербекке с ошпаренной задницей; спасаю себя от обезвоживания бутылкой «Мэй-Эден» и, повинаясь неведомой силе, послушно поворачиваюсь от налитых живительными соками плодов на ветках и от ликующего солнца в израильском, без единой кляксы и помарки небе к сложенной из глины вперемешку с соломой и навозом стене во вдовьей хате, и эта стена, словно ширма, раздвигается от поворота головы, рассыпается от первого, брошенного на неё взгляда; и в воздухе вдруг висают не спелые лимоны, не отливающие синевой пичуги – «сосунки мёда», а поблекшая, едва различимая фотография молодого, заложившего нога на ногу мужчины, перепоясанного, как траурной лентой, черной портупеей, – мужа тётки Ани, Ивана Харина, который пал смертью храбрых не то под Тулой, не то под Мгой, и до слуха оттуда, из едва тлеющего, словно забытый на обочине костёр, прошлого доносится скрип колодезного журавля и покачивающейся ржавой бадьи, и роем наплывают прежние образы и лики, и я отчётливо вижу, как в небе над мазанками, над степью, онемевшей от собственной бескрайности, над ближними отрогами Алатау гаснут умаявшиеся за ночь звёзды, и тётка Аня, заброшенная судьбой-злодейкой в азиатскую глухомань, льняным полотенцем вытирает росистый живот. В зыбком предутреннем свете на её тугих матовых грудях, похожих на спелые – после дождя – колхозные дыни, бисером сверкают капли. Такие же ядреные капли сверкают на бедрах, на длинных, крепких ногах и на плече, усыпанном родинками, словно пирог – изюмом.

– Чего ты, Женечка, на него шипишь? Пусть смотрит, – орудуя полотенцем, обращается к моей растерянной маме Харина и смеётся. – И пацану приятно, и мне. Что за радость цветку, коли на него никто не глядит? Или ягоде, если никто её взглядом не надкусит? Цветочек увянет, а ягодка засохнет. Пусть смотрит на здоровье.

И снова: ха-ха-ха, хи-хи-хи, только еще громче, чем прежде.

Мама сердится и, как всегда, раздувает ноздри. А тётка Аня, хоть перечь ей, хоть не перечь, все равно на своём настаит. Хозяйка она и есть хозяйка. Вздумается ей ни с того, ни с сего выпнуть нас на улицу и принять на постой какую-нибудь другую семью из Бобруйска или Ленинграда (в аул приехало четыре еврейских семьи, и спрос на русских хозяев велик: хоть с языком горя не будет – договоришься и без переводчика), никто, даже всесильный Нурсултан, председатель колхоза, увидевшийся за Хариной ещё при живом Иване, её не остановит; взбредёт ей, скажем, в голову прошвырнуться голышом не по двору, а по всему аулу – от старого кладбища до развилки на Джувалинск, – или самовольно, для удобства переименовать на русский лад тьмутараканьские имена беженцев, – не отговоришь: выйдет на просёлок и, крутя сдобными бёдрами, голышом пройдёт, а для каждого басурманина подходящее славянское имя подберёт.

– Да вы тут с вашими именами просто пропадёте, – объявила Харина, как только мы у неё поселились.

– Имена как имена, – пробормотала мама и насупилась.

– Там у вас, в Литве, может, и годятся. Но у нас... Зубы сломаешь, пока казахские выговоришь, а уж ваши... – не сдержалась хозяйка и принялась за дело.

Нет, нет, у неё даже и мысли не было обращать нас в русских.

– Ради Бога, оставайтесь евреями, – буркнула Харина. – Мне что еврей, что татарин, что казах – один чёрт... Главное, чтобы человек был хороший... Честно признаться, я о вас, о евреях, до вашего приезда никакого понятия не имела. В Новохопёрске их не было, да и тут, в степи, евреи, извините за выражение, не водились. Но уж раз вы пожаловали сюда, скажу прямо: для здешней жизни ваши имена ну никак не годятся. Неровён час, вас еще в немецкие шпионы зачислят. Придётся, милые мои, для вашей же пользы и спокойствия новые имена взять.

Мама не перебивала её, но чем безропотней слушала, тем больше мрачнела. Какая чушь! Евреи – немецкие шпионы? И вообще – может ли что-нибудь быть проще, чем Хена или Гириш-Янкель? Харина, наверно, подшучивает над своими жильцами.

Но тётя Аня не шутила. Она была настроена решительно.

– Что, скажи, в переводе с вашего означает "Гириш"? – не глядя на маму, обратилась Харина ко мне.

– Олень, – не без гордости ответил я, вспомнив, как бабушка Роха всем нахваливала моё имя.

– О! – воскликнула тётя Аня. – Олень! Это красиво, это очень красиво! Прямо из сказки! Но твои ровесники тебе, голубчик, из-за этой красоты житья не дадут, быстро тебе рога обломают. Узнают и задразнят – не оленем, а паршивым козлом или ишаком обзовут.

– Почему? – заступилась за меня мама.

– Почему, почему? – вскинулась хозяйка. – Потому!.. Чем спорить, давайте лучше вместе какое-нибудь другое сообразим, – сказала она. – Вношу предложение! Вместо Оленя – Олег? А?..

Мама молчала. К её молчанию прибавилось и моё. Олег?! Бабушка Роха, наверно, сейчас в гробу перевернулась! Её единственного внука, её опору и надежду, её скачущего по холмам и долинам Иудеи оленя каким-то Олегом заменить. Какой срам!

– Что вы молчите, как на похоронах? – обиделась на застывших квартирантов тётя Аня, уловив в их молчании чёрную неблагодарность. – Чтоб вы знали, Олег был не вором, не разбойником, а русским князем. Храбрецом! Воином!

Княжеское происхождение моего нового имени не смягчило мамино сердце. В её раздутых ноздрях осами жужжало возмущение.

– Ещё Пушкин о нём писал, – не унималась Харина и вдруг принялась читать наизусть: – "Как ныне собирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам..."

– Нет, – выдохнула мама. Её первенцу имя подобрал не какой-то Пушкин, а раввин Иехезкель Вайс, знаток Торы, праведник, святой человек. Куда до него этому Пушкину!

– Нет, – промямлил я.

Мне не хотелось быть ни храбрецом, ни воином, я никому не собирался мстить – ни этим глупым хазарам, ни немцам, из-за которых мы вынуждены были всё бросить и бежать из Литвы. Никому! Да и моё простецкое имя мне нравилось больше, чем княжеское.

Но я и тётю Аню обижать не желал. Из всех беженцев она почему-то выбрала нас. Выбрала и приютила. И маму, когда та схватила воспаление лёгких, в беде не оставила – отпросилась у Нурсултана Абаевича с работы, не отходила от больной ни на шаг, ставила банки, поила травяными отварами.

– Не хотите – не надо, – простодушно сказала Харина и недолго размышляя, предложила оставить прежнее имя, но только, как она выразилась, «после текущего ремонта». – А вы на Гришу согласны? Гриша – это ж почти по-вашему. Только одну букровку передвинем, а другую пристегнём сзади. И что получится? Гриша! Полностью, по взрослому – Григорий. По-моему, здорово. Ну? – Тётя Аня с надеждой глянула на маму. – Когда-то в школе я в такого Гришу Мукасева по уши была влюблена. Мы тогда ещё у себя дома в Новохопёрске, под Воронежем, жили...

– Может, всё-таки без этого текущего ремонта? – промолвил я, не очень надеясь на успех.

– Не-е-е... Лучше, чем Григорий, не придумаешь. Какие люди Григориями были! Григорий Отрепьев! Григорий Распутин... Григорий Котовский! Знаменитости!.. Мужики что надо!.. Их все знают – даже Кайербек с ошпаренной задницей, и тот о них слышал. Когда-нибудь, глядишь, и ты, милый, прославишься, как они, а, может, в бою или в постели, или и там и тут разом. – Она прыснула и подперла руками свои груди, заточённые в тесный застенок лифчика. – А когда к себе на родину вернешься, ты в «Тонкарес» своей крестной матери Анне Пантелеймоновне Хариной из Литвы благодарность на гербовой бумаге пришьлешь...

Я не мог взять в толк, о какой славе, в каких боях и в какой постели, говорит тётя Аня. Ну уж а в то, что пришло благодарности на гербовой бумаге, я и вовсе не верил. Не потому, что тётя Аня не заслуживала её. Мне просто казалось, что ни я, ни мама, ни отец никогда больше в Литву не вернёмся. Но и расстраивать Харину я не спешил. Тем более, что моё новое имя, слегка отремонтированное от еврейства, и впрямь напоминало прежнее. Не возражала вроде бы против него и мама. Гриша так Гриша.

Покончив со мной, ободренная удачей, тётя Аня приступила к самой сложной операции – переименованию мамы.

– Ты, голубушка, не обижайся, но уж от твоего имени шархнутся даже лошади, – сказала хозяйка. – Я понимаю, тебе оно дорого. Другое для тебя – что куриное оперенье для павлина. Но с таким именем, как говорится, у нас ни туды, ни сюды, каюк – замуж не выскочишь, на работу не возьмут. Гиена! Бррр!..

– Я не Гиена, а Хена, – защищалась мама, еле сдерживая раздражение. Не Хариной же мыкаться с этим именем, не ей, стало быть его переделывать на свой лад. За кров и радушие – низкий поклон до земли... Но в душу лезть – это никому не позволено.

– Ладно, ладно, – пригасила её гневливость Харина. – Я тебе

только добра желаю. Не знаю, как там у вас, а тут имя как пропуск. Без пропуска – ни шагу. Хена? Сроду о таком не слышала?

– До войны я и про ваши имена не слышала, – удивляясь собственной дерзости, ответила мама, снова раздувая ноздри.

Что до замужества и работы, то мама сделала вид, будто хозяйка лишь про имя говорила. Видно, не хотела сердить Анну Пантелеймоновну. У каждого, мол, свои бзики. Харина приняла маму как сестру родную, всю мебель в хате переставила, всё передвинула; сама с дочерью на тёмную половину перебралась, за ситцевую ширму с вылинявшими от стирки цветами; перевесила с одной стены на другую любительскую фотографию, где она в обнимку со своим Иваном в Крыму на фоне какой-то исторической достопримечательности – высохшего фонтана с наядами; а для нас отвела всю горницу с застекленными оконцами, выбила из дивана с плюшевой спинкой и скрипучими пружинами пыль, сменила простыни и наволочки: мол, на новом месте приснись жених невесте! Что с того, что из-под потёртого плюша клопы всю ночь лезли и до рассвета еврейскую кровь пили? Зато на диване было просторно, и сны на нём хорошие снились, довоенные – бабушка, ошипывающая белого, как ангела, гуся; отец на берегу Вилии с бамбуковой удочкой в руке... Благодать, и только! Разве сравнишь светёлку с беззаконной теплушкой, плюшевый диван со скрипучими нарами, а густую степную тишину с роковым стуком колес уходящего в ночной мрак товарняка?

– Даже среди басурман такого имени не сыщешь. Где это слышано, чтобы человека гиеной звали?

– Не гиеной, а Хеной, – снова вспыхнула мама.

– Для русского уха что гиена, что Хена – один чёрт! Ты хоть знаешь, что за зверь гиена? – не унималась хозяйка.

– Не знаю.

Я боялся, что мама вконец потеряет самообладание, возьмет наши пожитки и уйдет от Хариной куда глаза глядят – пусть не к русским, пусть к казахам. Туда, где никто не станет её попрекать прежним именем. Живет же Лёвка Гиндин из Ленинграда с мамой-музыкантшей у старого охотника Бахыта – отца объездчика Кайербека. Бахыту не важно, как зовут жилицу: Розалией или Фаиной. Главное, чтоб ему за постой платили, рассчитывались за крышу над головой не слезами, а рублями или драгоценностями.

– Гиена – это тот же шакал, только женского рода, – как ни в чём не бывало продолжала хозяйка. – Ты хочешь, чтобы тебя все в колхозе по-шакальи кликали?

– Я Хена, а не гиена, – упорствовала мама, но Харинагнула своё.

– Воля твоя... – смирилась Анна Пантелеймоновна. – Но я уж, с твоего позволения, с сегодняшнего дня буду тебя Геней или Женей звать... Женей с полной жменей. – И краешком губ улыбнулась.

Мама не сдавалась:

– У меня справка. Из эвакуопункта. Там записано – Хена.

– Подумаешь – справка! Да я попрошу Нурсултанчика – он тебе вмиг другую выправит. Любое имя выпишет... На выбор – хошь

Татьяна, хошь Полина, хошь Надежда, хошь Любовь. Стоит мне только моргнуть... У него зимой снега не выпросишь, а на имена он не скупится. Ты зря восстаешь против всех наших правил. Когда вы после войны в свою Литву вернетесь, всё на прежние места станет – сможешь называться так, как родители нарекли, как муж звал. Между прочим, живешь у меня четвёртый месяц, а где твой обретается, я так и не знаю – жив ли, в разводе ли с тобой? Или, может, его как моего... – Харина поперхнулась словом «убили».

– Воюет.

– Ну и радуйся. Раз воюет, значит, жив, – оживилась хозяйка. – Мой уже отвоевался. На самой границе с немцами служил... Не то в Литве, не то в Латвии... Река Неман – это ваша река?

– Наша.

Харина, словно удавкой, обвила косой смуглую шею и тяжело вздохнула.

– А почему твой не пишет?

– Может, пишет. Но писем нет. Поезд из Ярославля шёл долго. В теплушку их не приносили. И сюда, наверно, не придут.

Мама заглушила дрожь в голосе и надолго замолкла.

От бойкости и прыти хозяйки не осталась и следа. Она не сводила глаз с беженки, а та не знала, куда девать свои руки, свою тревогу и своё негодное имя.

– Но ты не отчаивайся, Женя. Если номер полевой почты знаешь, черкни отсюда. Напиши: так, мол, и так, и свой адрес: колхоз «Тонкарес». Южно-Казахстанская область, Яблонева улица, одиннадцать, Анне Пантелеймоновне Хариной для Жени.

– Для Хены, – поправила мама.

– Поп своё, чёрт своё. Хочешь, чтобы ответ заплутал, напиши – Хене, хочешь, чтобы доставили – Хариной А. П. Меня в округе все знают.

– Ладно... Пусть будет Хариной А. П. Лишь бы пришло. – Мама готова была согласиться на любое имя. Только бы отец отозвался, только бы написал хоть два слова. Столько прожили вместе и никогда друг другу писем не писали. Зачем писать, если разлука тебе не грозит, и всё, что надо – рядом: и колыбель, и кладбище.

– Вот это правильное решение, – встрепенулась тётя Аня. – Вы друг дружку как хотите называйте, хоть по-еврейски, хоть по-литовски, а нам уж позвольте вас по-нашенски величать...

И заторопилась – скрылась за ширму, надела голубое платье в белый горошек; посмотрелась в тусклое настенное зеркало, кренделем закрутила на затылке косу и крикнула:

– Зойка, вставай! Пора Гришу в мектеп определить! Хватит парню баклуши бить и Бахытовому ишаку целыми днями хвост подкручивать. Кто, Зойка, сказал: «Учиться, учиться и учиться»?

– Гюльнара Садыковна, – выпалила та и смачно зевнула.

– Ленин, дура! – беззлобно сказала тётя Аня. – Попросим, чтобы Гюльнара вас за одну парту посадила... Только смотри – не втрескайся в него. Ты у меня ведь влюбчивая. И в кого бы это?

Зойка не откликнулась. Только слышно было, как она неторопливо и неуклюже борется со сном – взбивает подушки, слезает с

кровати, шлёпает рваными тапочками, как будто ступает по воде.

– А Лёвка? – пропищала Зойка. – Куда его?

– Лёвка с каким-нибудь казашонком сядет. Или с этой, у которой мама продавщица...

– С Бэллой из Борисова, – подсказала Зойка. – Я согласна. А то Лёвка все время под юбку лезет да ещё обзывается... Тычет пальцем и на весь класс орёт: «Харя!»

– И ты терпишь?

– Чет. Только полезет, как смажу по руке: «Гнида, убери лапу!»

– Видно, слабовато бьешь... Сегодня он под юбку лапой, а завтра ему, глядишь, вздумается туда ещё кое-чем... – резанула тётя Аня. – Ягоду-малину крапива сторожит, а нас, баб, от мужиков – строгость. Ладно, давай пошевеливайся, засоня... Поедим и – айда.

– А ты, мама? – забеспокоился я.

– Твоя мама, Гриша, за хозяйку останется, обед для всех сварит, пока есть из чего варить. Борщ по-украински любишь?

Разве скажешь «нет» в чужом доме, где не то что похлёбка – ложка, и та не твоя?

Мы быстро позавтракали и втроём отправились в школу – мектеп.

То была странная школа. Учёба в её четырех тесных классах, увешанных жухлыми, как трава в засуху, портретами Сталина и плакатами, благодарившими вождя и учителя за «счастливое детство», проходила в основном по-казахски. Русских учеников была только горстка; старшеклассников из колхоза «Тонкарес» каждый день возили на раздрыганном «газике» в расположенное в двадцати километрах село, названное в честь Первого съезда Ленинского комсомола, где жили спецпереселенцы – раскулаченные в двадцать девятом году украинцы, ссыльные донские казаки, служившие в гражданскую войну в войсках генерала Деникина.

В мектепе, куда меня привела тётя Аня, было всего два класса. В каждом из них на дополнительных «русских партах» томились от скуки такие, как я и Зойка Харина. Была и парочка-другая новичков – «выковыранных» из Белоруссии и блокадного Ленинграда. Среди них выделялся не по годам рослый, не похожий на еврея, рыжеволосый квартирант старого Бахыта Лёвка Гиндин, знания которого повергали в почтительный ужас не только его однокашников, но и Гюльнару Жунусову, которая совмещала учительскую должность с директорской. Гюльнара Садыковна, тоненькая, быстро-окая, с затейливым хохолком пугливой ночной птицы на голове, преподавала, как оказалось, все предметы, начиная от языка и литературы и кончая географией. Проводила она с нами и уроки пения, и физкультуры.

Тётя Аня торопилась на работу в колхозную контору и, видно, потому, должно быть, постаралась не затягивать дело и сбыть меня побыстрее, как хромого телка на местечковом рынке.

– Познакомься, – сказала она Жунусовой. – Гриша. Очень умный и послушный мальчик. Кончил четыре класса еврейской школы. Полгода где-то под Ярославлем учился... в русской семилетке. По-нашему калякает совсем неплохо. Лучше, чем Нурсултан.

Тётя Аня явно преувеличивала мои способности.

– Еврейская школа, – с какой-то странной торжественностью произнесла директриса, сморщив своё круглое, словно тушью выведенное лицо. – Это, извините, где? В каком, Анна Пантелеймоновна, городе и республике?

– В Литве, которую немцы захватили, – уточнила Харина.

– Ах, в Литве. Но тут у нас еврейскому не учат.

– А зачем ему еврейский? На еврейском в ауле говорит только его мама и мой помощник Ицик. Пусть Гриша больше по-русски говорит. С русским нигде не пропадёшь, – промолвила Харина и, помахав мне и Зойке рукой, павой выплыла за дверь.

– Гюльнара Садыковна, – вдруг встрепенулась хозяйская дочка. – Посадите меня с Гришей, потому что Гиндин всё время нехорошими словами обзывается и лезет куда не надо...

– А куда не надо?.. – заинтересовалась директриса.

– Я вам этого не могу сказать... потом... – Зойка опустила глаза, стараясь не смотреть на Лёвку.

– Хорошо... – пробормотала директриса. – Гиндин, будь добр, переседай на предпоследнюю парту... – А ты, Гриша, – обратилась она ко мне, – займи-ка его место.

Весь свой первый урок в мектепе я только и делал, что оглядывался на сосланного на пустую парту Лёвку или пялился на Зойку, на её лицо, на пшеничные косички, на выпиравшие из-под ситца грушки, но она отводила от меня глаза и смотрела то на Сталина (наша парта стояла под его портретом), то на директрису.

– Ну, что ты на меня смотришь? – не выдержала Зойка. – Не видел, что ли?

– А я не смотрю, – соврал я.

– Смотри на Гюльнару... на доску... на Мамлакат...

Легко сказать – смотри на Гюльнару, когда взгляд ни на ком – кроме Зойки, – не может остановиться. Даже на Мамлакат, сидящую на державных коленях Сталина.

До того, как немцы напали на Литву, в Йонаве – яблоневом местечке над тихой Вилией – Сталина и колченогого могильщика Авремеле знал и стар и млад. В еврейской школе портреты «отца и учителя всех народов» и «друга детей всей планеты» висели в каждом классе, и я уже там на них насмотрелся вдоволь. Правда, тогда никто из моих однокашников о своём «счастливом детстве» ещё как бы и не догадывался – видно, потому, что эти портреты Сталина с Мамлакат на коленях и с лозунгом на идише в школу вовремя не успели привезти.

Наш классный руководитель Хаим Бальсер от Сталина был в полном восторге и называл его избавителем человечества и евреев от бед. Хвалил вождя и мой отец, но вполголоса поругивал московских портных, которые вместо того, чтобы скрасить изъяны фигуры Сталина, в сшитых кителях и галифе их лишь подчеркивали.

– Харина, перестань, пожалуйста, болтать. Ты мешаешь Грише слушать, – возвысила голос Гюльнара Садыковна.

Зойка, ей-богу, мне нисколько не мешала. Вряд ли она мешала и другим ребятам, ибо галдел весь класс, кроме «друга детей всей планеты» на большом не застекленном портрете, приклеен-

ном к стене безотказным столярным клеем. На уроках всегда было шумно – ученики шушукались, судачили, ёрзали на партах. Мальчишки, держась за портки, то и дело хлопали дверьми, без всякого на то разрешения выбегали во двор (якобы по большой нужде); их массовое дезертирство из храма знаний в нужник возмущало Гюльнару Садыковну, но она мирилась с этим и, напрягая свой далеко не богатырский голос, что-то втолковывала сородичам-казахам, вызывала их к доске, пристрастно допрашивала, задавала домашние задания, а затем четверть часа занималась с теми, кто говорил по-русски, – с непоседой-Зойкой, лупоглазой Бэллой Варшавской из Борисова, с рыжим Гиндиным и со мной.

Зойку Гюльнара Садыковна жалела потому, что та была единственной ученицей, у которой на фронте погиб отец. Ей Жунусова из чувства патриотизма всегда завышала отметки (ниже тройки не ставила), прощала шалости и никогда из-за них на родительских собраниях не выговаривала тётке Ане.

Ко мне директриса относилась с какой-то настороженностью, как к представителю республики, которая только год тому назад сбросила иго капиталистов и добровольно вступила в СССР.

– Выходит, ты на самом деле еврей? – не раз смущенно спрашивала меня Жунусова.

Я недоуменно смотрел на неё и вежливо отвечал:

– Выходит, еврей. А разве бывают и ненастоящие?

Гюльнара Садыковна поправляла птичий хохолок на голове и, замечая скороговоркой своё смущение, продолжала:

– Конечно, конечно... А Гиндин? А Варшавская?

– По-моему, они тоже настоящие.

– Почему же Лёва говорит, что он русский? – допытывалась у меня, как на экзамене, директриса.

– Откуда мне знать.

– Послушай, может, ты всему классу расскажешь?

– О чём?

– О евреях. Откуда они взялись... как называется их страна... Это ж так интересно... Мы, казахи, например, степняки... отсюда... в этой местности веками жили наши предки.

– А моя бабушка говорила, что все люди на земле пошли от евреев, – изнурённый вопросами, уверял я её.

– Все люди? От евреев? – воскликнула Гюльнара Садыковна, и её дикие глаза округлились от ужаса. – И казахи?

– Все-все...

Мой ответ ошеломил её. Неужели все люди и впрямь пошли от евреев – и председатель колхоза Нурсултан, и старик Бахыт со своим беркутом, и сам товарищ Сталин?... Не может быть!..

И хотя Жунусова об этом меня больше не спрашивала, тем не менее при ней я всякий раз испытывал что-то похожее на оторопь – а вдруг на губах у Гюльнары Садыковны снова бутоном распустится еврейский вопрос.

После уроков Гюльнара Садыковна завела меня в учительскую, где, кроме вездесущего Сталина на стене, ни одной живой души не было.

Она открыла дверцы старого шкафа, за стёклами которого в полумраке на глобусе пылились все страны мира, в том числе и далёкая, захваченная немцами Литва. Жунусова достала из его затхлого чрева стопку тетрадей в клеточку и в линейку, непочатый, покрытый той же вечной пылью пузырьёк с чернилами, две потемневшие от старости ручки с затупившимися кошачьими коготками, потрёпанный учебник по арифметике без обложки, «Родную речь» (русскую, конечно) и протянула мне, новичку. Гюльнара Садыковна попросила прощения за то, что покамест, увы, не может подарить мне ранец – последний, мол, достался Бэлле Варшавской из Борисова, но пообещала, что непременно привезет из Джувалинска новехонький, с застёжкой и наплечными ремешками.

Я поблагодарил её и двинулся было к двери – напротив школы на большой коряге задумчиво сидела Зойка, – но Гюльнара Садыковна задержала меня на выходе.

– Мама твоя где-нибудь работает?

– Нет, – сказал я.

– Как же так? – обратилась она не то ко мне, не то к самой себе, не то к товарищу Сталину на стене. – Сейчас без работы пропадёшь или в трудармию загремишь. Надо для твоей мамы что-то придумать. Передай ей: пусть на следующей неделе зайдёт.

– Чё так долго? – Зойка поднялась с коряги и направилась мне навстречу.

– Гюльнара задержала, – обрадовался я. Значит, Зойка дожидалась меня, а не Лёвку.

– Лёвка сказал, что побьет тебя, если на другую парту не пересядешь, – прожужжала Зойка. – Драться-то хоть ты умеешь?

– Не-е, – честно признался я.

– Научись. Мама говорит, что каждый мужчина должен уметь драться. Кто не умеет, тот размазня...

– Раз надо, научусь, – пообещал я нетвёрдо.

– Мой папа умел. Он был отчаянный – маму за него не отдавали, так он выкрал её и к себе в Новохопёрск привёз. На лошади. Братья мамы – в погоню! Гнались, но не догнали – слабаки!

Домой мы шли огородами молча, изредка выдергивали из тёплой почвы сладкую морковку, при наклонах ненароком касаясь друг друга головами, и то ли от этого мимолётного прикосновения, то ли от вкуса этой немойтой, сладкой морковки у меня по телу разливалась какая-то теплынь и праздничная приподнятость, и думал я не об угрозах Лёвки Гиндина, а о том, чтоб эти огороды не кончались, а тянулись и тянулись. А драться я научусь. Это уж точно! Только вот насчёт того, чтобы невесту украсть и на лошади во весь опор мчаться...

– Садитесь, дети, к столу, – сказала мама, когда мы вошли в хату.

Я сел первым.

– Руки мыл?

– Хм, – буркнул я.

– Беги к колодцу.

Бадья, покачиваясь, медленно, с жалобным скрипом поднималась вверх, я изо всех сил крутил влажный валёк и смотрел поверх избы охотника Бахыта на дымящиеся отроги Алатау, где в синем

мареве по-хозяйски парил не то взалкавший крови орёл, не то коршун, зорко и неумолимо высматривавший свою дневную добычу; легкие, ажурные облака неторопливо плыли по небу на запад – может, в сторону фронта, к моему отцу, а может, и ещё дальше – в Литву, в заметённую листьями Йонаву, на покинутое еврейское кладбище, к моей бабушке Рохе и к деду Довиду, которые ждали от нас привета (бабушка говорила, что мёртвые в разлуке ждут привета с таким же нетерпением, как и живые) от своего сына Шлейме, от невестки Хены и внука – бывшего оленя Гирша – Григория, уже не скачущего по долинам Иудеи, а бредущего по выбитому тракторами, загаженному ишаками и собаками аульскому просёлку.

– Что это ты так долго? – закричала мама из раскрытого окна. – Я уже думала, что в колодец свалился...

– Иду, иду... – отозвался я, задирая голову к отутюженному солнечными лучами небу, хотя мне ещё очень хотелось побыть наедине с его удивительной синью.

Разве скажешь маме, что можно наесться не только постным украинским борщом, но и пушистыми облаками?

Разве скажешь?

А может, и не надо.

Не надо.

Главное, не забыть бы сказать ей про работу... Не забыть бы...

2

– Вставайте, чертенята! Некогда мне с вами возиться! – ни свет ни заря будила меня и Зойку тётя Аня, пахнувшая колодезной свежестью, как одеколоном.

– Хватит спать! Кто рано встаёт, тому Бог подаёт...

На допотопный будильник, привезённый в аул еще из-под Воронежа, из Новохопёрска, и ночами напролёт дежуривший у изголовья кровати, она полагаться не хотела – дежурный то и дело бессовестно подводил её: либо принимался не вовремя и зловеще трещать, пугая во тьме неугомонных добычиц-мышей и соседа – старика Бахыта, либо вообще наотрез отказывался звонить.

Ещё менее надёжен, чем будильник, был старый петух с багровым, как свежее малиновое варенье, гребнем; степенный, с чинной поступью и не по-деревенски изысканными манерами. Кукарекал он не каждое утро, а через день, как будто от своего залиvistого кукареканья желанного удовольствия не получал, а только зря надрывал глотку. Кукарекнет, бывало, разок-другой для прочистки горла или для напоминания хохлаткам о том, кто хозяин в курятнике, и замолкнет.

– А ну-ка, Гриша, помоги мне вытащить мою засоню из постели, плесни-ка на неё холодной водицы! – для острастки дочери воскликнула тётя Аня. – Столько дрыхать... Нет чтобы со старших пример брать... Твоя мама вон когда ушла...

Мама, которую Гюльнара Садыковна устроила в школу уборщицей (попробуй, откажись от работы, если не говоришь по-

казахски и маешься от разлуки и от разных хворей, а, её, этой работы в ауле днём с огнём не сыщешь) уходила гораздо раньше, чем тётя Аня, когда в небе над крутыми отрогами Алатау ещё ярко светился серебряный, оброненный ангелами-кочевниками, безмолвный и неправдоподобно близкий бубен казахской луны.

Первое время мама, казалось, за ночь вообще не смыкала глаз – боялась проспать. Я просыпался вместе с ней и, ворочаясь с боку на бок на продавленном диване, долго и боязно прислушивался к тому, как она натягивает на себя чужую, с плеча Хариной, кофту; шлёпает поношенными туфлями, купленными перед самой войной в Литве в фирменном обувном магазине Фейгельмана; как осторожно прикрывает скрипучие двери и как её потом недобрым, отрывистым лаем до самой школы провожают несговорчивые казахские собаки. «Собака – не еврейский зверь» – всякий раз, перед уходом мамы на работу, вылупливались в темноте слова бабушки Рохи, и сердце моё замирало от тоски и сочувствия.

Мама принималась за работу с самой ранней рани, благо в степи рассветало быстро (рассвет обрушивался, как оползень – мощно и неудержимо). До начала уроков она должна была всё привести в порядок – протереть парты, подмести и помыть в классах полы, вымыть окна. Особенно трудно ей приходилось зимой, в тёмную пору года, когда электричество из районной подстанции в аул поступало скудно, с большими перебоями.

Работала мама бесплатно – денежное жалованье никому в колхозе не выдавали. За работу и коренным жителям, и пришлым начисляли загадочные яловые трудодни, за которые по распоряжению председателя колхоза «Тонкарес» Нурсултана Абаевича Джабаева каждый работник в конце года получал не рублями, а натурой – картошкой второго сорта, мерой сорной ржи или подгнившей свеклой, не пригодной для переработки на областном сахарозаводе.

Трудодни начисляли тётя Аня, которая до войны с отличием закончила в Алма-Ате финансовый техникум, и её помощник – тихий, высохший, как саксаул, еврей – беженец из Вильнюса по имени Ицик, попавший в предгорный «Тонкарес» на полгода раньше, чем мы, и ни с кем, кроме Хариной, в колхозе не водившийся.

– Такого бухгалтера свет не видывал! – нахваливала Ицика тётя Аня. – Он, наверно, уже во чреве матери счётами щёлкал!

Целыми днями они оба колдовали в конторе над этими таинственными трудоднями, но Харина не раз предупреждала маму, чтобы та не очень-то обольщалась своими будущими заработками – людям, мол, и до войны доставались крохи, а сейчас, когда только и слышишь: «Всё – для фронта», такими хлебами и бедолаговоробья до весны не прокормишь.

– Вставайте, чертенята! – снова прикрикнула тётя Аня на темноту, но темнота не откликнулась. – Эй, вы, хватит притворяться! Зойка!.. Гриша!.. Отца на вас нет. Вытянул бы по тёплым ягодицам ремнём, тут же, притворщики, вскочили бы с постели... Картошка нарезана, масло уже в сковороде, жарьте и ешьте... Только хату не подпалите, – наставляла она темноту. –

Простокваша на полочке в крынке... Ну я, ленивцы, пошла.

Шаги.

Скрип двери.

Кашель.

И снова тишина – удивительная, звенящая в ушах.

Зойка не шевелится.

Не двигаюсь и я, лежу с залепленными неотоснившимся сном глазами и, потягиваясь под тонким, пропахшим чужими тайнами одеялом, спростонья ловлю первые, отчётливые, как зарубки на дереве, звуки за окнами.

– И-а-а!.. И-а-а!..

Это протяжно, словно не из хлева, а с того света, напомнил Господу Богу о своём безотрадном существовании ишак охотника Бахыта, у которого квартирует рыжеволосый Лёвка Гиндин с мамой.

– Цок-цок-цок.

Это Кайербек вывел из стойла во двор свою Молнию – красавицу-кобылицу. Сейчас он упрётся ей в живот, подтянет подпругу, возьмет камчу – короткий и хлесткий кнут, сплетённый не то из бычьей кожи, не то из медной проволоки, наматает его, как драгоценный браслет, на мускулистую правую руку, легко и уверенно заберётся в обтянутое тёмным, цвета запекшейся крови, мехом седло и помчится во весь опор в поля. Обездчик каждый день облетает их, как беркут небо. Кайербек и сам на беркута похож – настороженный, зоркий, лохматый, глаза узкие, ненасытные. Ещё до восхода, до того, как солнце позолотит крыши аула и отроги Алатау, он должен обскакать все свои владения – и кукурузные поля, и колосающуюся на ветру рожь, и бахчи. Кайербек сторожит колхозное богатство от воров и расхитителей. И, говорят, лучшего стражника, чем сын старого охотника Бахыта, не то что в колхозе – во всём Джувалинском районе не сыщешь. Пока обездчик и его Молния кружат по окрестностям, ни один колосок не пропадет, ни один початок тунеядцу-бродяге не достанется, никто ни одним арбузом не полакомится. Если уж Кайербек кого-нибудь заарканит, то не только всё украденное отберёт, но и душу из вора вытрясет. Недаром же его в тылу оставили. Сам районный военком в «Тонкарес» пожаловал, шестьдесят километров по степи свой «виллис» гнал, чтобы с Кайербеком за скорую победу над Германией выпить. Обездчик и тут мастак. Пьет и не хмелеет. Выпили они с военкомом настоящую на можжевельнике водку, закусили бараниной (по этому случаю барашка специально зарезали) и наутро ударили по рукам:

– Твой фронт, Кайербек, тут, в «Тонканесе». Не давай вредителям и врагам родины спуску!

Обездчик и не давал. Врагами родины были не только его односельчане, но и животные.

Забредёт какой-нибудь неразумный телок в рожь – обездчик своей безжалостной плёткой так исполосует беднягу, что тот потом смертным мыком целый день в хлеву мычит, аж на дальних подступах к Алатау слышно.

Одно имя Кайербека на всех страх нагоняет. Даже председатель колхоза – могущественный и непререкаемый Нурсултан Джабаев, у которого, как говорит тётя Аня, три жены и одна любовница, побаивается его. Лучше, мол, с ним не связываться. Кайербек не только кунак районного военкома, но и с начальником энкаведе запанибрата. Нурсултан Абаевич сторонится Кайербека и на самоуправство объездчика смотрит сквозь пальцы. Только Анна Харина перед ним не тушуетсЯ и страха никакого не испытывает. Будь на её месте другая, он бы своего позора никогда не простил! Ещё бы – такому герою баба зад кипятком ошпарила... Может, тётя Аня и зря не боится... Ведь сын старика Бахыта не только сторожит от расхитителей поля: он и добровольный милиционер (что с того, что без мундира и без погон) – случись что, в один момент арестует; он и следователь – при надобности на месте преступления допросит; он и народный судья – сам приговор вынесет; он и тюремщик – в исполнение его приведёт, заломит за спину руки и тут же в колхозную холодную препроводит.

Зойка эту холодную мне уже показывала. То был самый что ни на есть обыкновенный коровник, громоздившийся на самом выезде из аула, недалеко от кургана, где хоронили павшую скотину; без окон, с железным засовом и пудовым амбарным замком на дверях. Перед отправкой правонарушителей в район, в следственный изолятор джувалинской милиции их до первой попутки – телеги или грузовика – сутки-другие держали взаперти вместе с буренками. Больше всего задержанных бывало осенью, после уборки урожая, когда число хищений колхозного имущества многократно увеличивалось. В тюрьму Кайербека попадали и уклонявшиеся от призыва в армию, а то и просто дезертиры. В отличие от воров и расхитителей их связывали, и сердобольные коровы тыкались в них своими тёплыми, добродетельными мордами и, жалеючи, облизывали своими шершавыми, натруженными языками.

– Гриша! Ты спишь?

Голос Зойки звучит неожиданно бодро. Она тут же им, как задачу со школьной доски, бесследно стирает всесильного Кайербека и его верную спутницу Молнию, пустившуюся по бесконечной степи в погоню за расхитителями, и его камчу из гибкой медной проволоки, и колхозную тюрьму, устроенную в коровнике.

– Нет, – отвечаю я Зойке с такой беззастенчивой радостью, будто первый раз в жизни проснулся. – А ты?

– Сплю... – шепчет она и заливается смехом.

Она смеется, а мне от её смеха так хорошо, так хорошо, что просто плакать хочется!

– А в школу?

– Может, сегодня не пойдем... может, пропустим?

Я слышу, как она в маминых сандалиях затопала к окошку, как распахнула его, как громко вдохнула прохладный утренний воздух.

– Нельзя, – борюсь я с соблазном остаться с ней наедине в хате. Я еще ни разу не оставался с ней наедине. Одно дело под открытым небом, где каждая пташка, каждое деревце, каждый жучок с тебя глаз не сводит, другое дело – дома.

– Можно. Тьма-то какая...

Зойка одевается и, не снимая сандалий, бредёт мимо клоповника – дивана с плюшевой спинкой на крохотную кухню, отгороженную от горницы марлевой занавеской.

– Я маме обещал помочь... воды натаскать... Сердце у неё...

Ещё миг, и моё мужество иссякнет, и я забуду про маму, которой надо помочь, и останусь с Зойкой.

Но у Зойки в голове то тьма-тьмущая, то солнце всю светит.

– У всех сердце, – говорит она таким тоном, словно посвящает меня в великую тайну. – И у тебя, и у меня. Не веришь, так послушай, – Зойка выглядывает из-за занавески и подбоченивается, как взрослая.

– Что послушать? – не отрывая от неё глаз, бормочу я.

– Моё сердце.

Зойка выходит из кухни, приближается ко мне и принимается бить себя кулачком в грудь.

– Нагни голову и послушай!

Она стоит передо мной, светловолосая, голубоглазая, и, дергая свои тонкие, как ржаные колосья, косички, ждёт, когда я склоню к ней свою кудлатую голову.

На сковороде домовито шипит подсолнечное масло.

Из кухни несёт духом жареной картошки. В распахнутое окно сочится заря, покрывая давно не беленные стены и потолок здоровым румянцем.

В конуре, приветствуя наступление утра, сулящего лакомые объёдки с хозяйского стола, незло, почти застенчиво гавкает Рыжик – полуслепая дворняга Хариной.

– Ну? – спрашивает Зойка. – Ты долго будешь торчать, как столб?

– Слышно и отсюда...

– Что слышно? – пучит она свои голубые глаза.

– Как оно стучит, – оправдываю я свою робость. А вдруг в хату войдет тётя Аня... А вдруг...

– Зачем ты, Гриша, врешь? Ты же не Лёвка Гиндин. Не нагнулся, не послушал, а талдычишь: стучит... стучит... – корит меня Зойка и вдруг решительно (вылитая тётя Аня!) подходит ко мне, выпячивает грудь и как ни в чём не бывало начинает меня искушать.

– Чем врать, лучше ухо приложи.

– Куда?

– Хватит дурачка строить – не знаешь, что ли, где у человека сердце? Сюда, – ворчит Зойка и с великодушным презрением постукивает себя кулачком по платьицу. – Сперва ты моё послушай, а потом я твоё. Посмотрим, чьё стучит веселей.

Я отряхиваю с себя оторопь, как выкупанный щенок воду, нагибаю голову, прикладываю правое ухо к Зойкиной груди, аккуратно к тому месту, где под дешевым ситцем созревают две уже округлившиеся грушки, и чувствую, как меня вдруг обдаёт странным жаром, как вспыхивают мои волосы, воспаляется лицо, словно под Зойкиным платьицем созревают не грушки-дички, а прячется какой-то невидимый глазу костерок: прикоснись и обожжёт....

– Слышишь? – допытывается у меня Зойка.

– Слышу. Нормально стучит... Весело. Я бы в школу не ходил, а вместо этого... а вместо этого...

– Ты чего заикаешься, как мамина пластинка? Что вместо этого?

– Слушал бы твоё сердце...

– Весь день? Ну ты, Гриша, и скажешь, – краснеет Зойка и внезапно отстраняется. – Весь день сердце слушать?! Надоест.

– Не надоест, – говорю я и хвастливо, колесом выпячиваю собственную грудь. – Теперь ты послушай моё...

Но Зойка вдруг всплёскивает руками и сломя голову бросается на кухню.

– Ой, картошка пригорела! – вскрикивает она. – Будешь её с простоквашей кушать?

– С простоквашей, – отвечаю я и, как мама, раздуваю от обиды ноздри. Да и как было не обидеться на Зойку, если она отвергла моё сердце. И ради чего? Ради картошки. Да по мне пусть бы эта картошка вместе со сковородой сгорела!

– Садись за стол. Сейчас всё принесу. Небось, от голода уже все кишки у бедненького свело?

Зойкино хозяйничанье напоминало мне старую игру «в маму и папу», в которую я и мои сверстники охотно играли ещё там, на родине, в яблонево-й Ионаве, где-нибудь на песчаном откосе над богобоязненной Вилией. Но сейчас в ней, в этой незамысловатой сиротской игре, в этом ещё целомудренном, но уже не безгрешном следовании взрослым, в невольном подражании их привычкам было что-то настораживающее, и объяснялось это копирование не озорством, а новым опытом – безотцовщиной, насильственными переменами в жизни: ведь и я, и Зойка уже успели вдоволь хлебнуть лиха – она в этом Богом забытом ауле, а я под бомбежками на беженских дорогах Литвы, в телячьих вагонах, битком набитых не скотом, а голодными людьми, в злых и угрюмых очередях за пайкой хлеба со спасительной кружкой кипятка или – чтобы справиться нужду – к зловонным сортирам на узловых станциях.

– Ешь, – поторопила меня Зойка. – Ты же обещал маме помочь.

– Обещал, обещал... – повторял я, рассеянно подцепляя вилкой слипшиеся ломтики картошки. Но в моих ушах почему-то всё еще продолжало тикать Зойкино сердце. Казалось, оно вот-вот выпрыгнет из её груди, перелетит ко мне, и у меня под рубашкой станет одним сердцем больше.

Ещё одним сердцем стало бы больше и в груди у Зойки. Если бы она чуть пригасила старый примус, если бы картошка не пригорела, если бы я не пообещал маме натаскать воды, если бы...

До школы через огороды было рукой подать.

В школьном дворе, у коновязи, нас с Зойкой первым встретил буланый Шамиля, мужа Гюльнары Садыковны. Конь спокойно прядал ушами, и они колыхались, как лопухи на ветру.

Директриса с Шамилем, ссыльным чеченцем, жили не в «Тонка-каrese», а в соседнем селе, в двадцати километрах от колхоза. Шамиль, по её словам, не раз обращался в военкомат, пытаясь

добровольцем отправиться на фронт, но никого из сосланных в Казахстан в армию не брали. Он был лихой наездник и частенько на своём ухоженном, как бы отполированном рысакe привозил жену в школу. Иногда Жунусова и сама вскакивала в седло и пускалась вскачь по затаившейся степи, распуская спустившихся с отрогов Алатау горных козлов, увенчанных царственными рогами.

В мектепе, куда мы с Зойкой вошли, кроме Гюльнары Садыковны и мамы, в столь ранний час никого не было.

– Что, по школе соскучились? – съязвила директриса. – Или бессонница доконала?

– Гриша обещал маме помочь... а я с ним за компанию... – ответила Зойка.

– Молодцы... – похвалила Жунусова. – Я о тебе, Гриша, классу расскажу.

– Что расскажете?

– Какой ты...

– Какой?..

Директриса испуганно глянула на меня и продолжала:

– Славный. Разве не приятно человеку, когда его хвалят?..

– Приятно, – отозвалась за меня Зойка. – Кому приятно, когда ругают? Никому.

Я промолчал.

– От похвалы даже у кошки хвостик крендельком... Ты что молчишь? Или тебе, может, за маму стыдно? Но разве там... в Литве... она полы не мыла? Пыль с полка не вытирала?

– Мыла, стирала, – сказал я. – Но дома всё по-другому. Как говорила моя бабушка, дома и пыль золотом блестит.

– Ишь ты какой! – то ли пожурила, то ли удивилась Жунусова.

Мне не было стыдно за маму, но я вовсе не жаждал, чтобы вся школа знала, что эта усталая, рано состарившаяся женщина в поношенном фартуке, с метлой в руке и есть моя мама.

Моё молчание раззадорило Гюльнару Садыковну, которую, видно, так и подмывало как можно больше узнать о нашем житье-бытье в Литве. Но у меня не было никакого желания ей отвечать. Как всякий еврей, я с детства больше любил спрашивать других, чем отвечать. Бабушка Роха и дед Довид учили, что если не так спросишь – беда, но если не так ответишь – пиши, дружок, пропало.

– Дома и пыль золотом блестит? – восторженно закатила директриса к небу свои глаза-вишенки. – И грязь серебром отливает? И на метелке чуть ли ни яблоки растут? Так, что ли?

– Угу, – набычился я, уловив в её словах не восторг, а насмешку.

Гюльнара Садыковна смутилась и с вымученной нежностью пропела:

– Интересно... Очень интересно, – произнесла она. – А где сейчас твоя бабушка? Осталась там... с немцами? Или...

– Немцы её не тронут. От немцев живые бегут. А мёртвые никого не боятся – они с Богом остаются.

Гюльнара Садыковна покосилась на меня, поправила птичий хохолок на голове и шмыгнула в учительскую.

Воспоминание о бабушке на какой-то миг привело меня на

кладбище, к надгробному камню, обсаженному молодыми туями, и я, оставив Зойку, под их шелест отправился на поиски мамы.

Нашёл я её в третьем классе, примыкавшем к учительской.

Я поздоровался с ней на идише и, приблизившись, неуклюже, одной рукой, обнял. Так её обнимал отец – одной рукой.

Мама вздрогнула и, чтобы не выдать своего волнения, замурлыкала какую-то песенку о полевых маргаритках.

– Что тебе, кецеле, снилось? («Что тебе, котик, снилось?») – спросила она.

– Забыл.

Я, конечно, хорошо помнил свой последний, несуразный сон. Мне снился лес, со всех сторон – деревья, без листьев и без птиц, вокруг ни одного зверька, только муравьи, несметные полчища муравьев и звёзды в небе, а я один, стою посреди леса, кричи не кричи, ни до кого не докричишься, муравьи снуют повсюду, взбираются по моей спине, как по сосновому стволу, вползают в рот, в уши, в глаза, я что есть мочи вскрикиваю: «Мама!» и, дрожа от ужаса, просыпаюсь...

Нет, не стану я ей рассказывать про этот свой дурацкий сон. Не стану. Расскажешь, и мама только расстроится, всё истолкует по-своему – мол, не суждено нам отсюда выбраться живыми...

В моих снах до сих пор всё было хорошо – в них не было ни товарняков, ни немцев, ни аула. В моих снах не оплакивали убитых, не разыскивали пропавших без вести, не получали похоронок – в них все были живы: и бабушка и отец, и швейная машинка «Зингер», и базар, и река Вилия... И вдруг лес, муравьи и звёзды, смахивающие на муравьев, ползущих по серому небу...

Мама стояла на табуретке и бережно, словно только что распеленутого младенца, сухой тряпкой вытирала запыленный портрет Сталина. Не было класса, где бы он не украшал собой стены. Его обещали застеклить и обрамить, но председателю Нурсултану никак не удавалось выбить в Джувалинске деньги на стекло нужного размера.

На фотографиях Сталин был изображен в самых разных позах и в разные годы своей революционной деятельности. С них, с фотографий, мама и начинала уборку. Помыть полы, протереть парты, надраить окна можно было абы как, но оставить пыль на легендарной царицынской тужурке, на знаменитых в целом свете усах, на маршальском мундире, на орденах и трибуне мавзолея, на белом платице счастливой девочки Мамлакат, сидящей у вождя на коленях, было бы тягчайшим преступлением. Гюльнара Садыковна для того, наверно, и взяла маму на работу, чтобы та каждый день суеверно начищала все плакаты и фотографии до блеска на тот случай, если из района нагрянет какая-нибудь важная государственная комиссия и учинит проверку. Портретов с милой Мамлакат на державных коленях было в классах особенно много, поскольку знаменитая пионерка была родом из Средней Азии и чем-то смахивала на Гюльнару Садыковну в детстве.

– Правда, похожа? – не раз допытывалась у мамы Гюльнара.

– Правда... – из чувства благодарности лъстиво отвечала ей уборщица.

– И мой Шамиль говорит, что я похожа... И Нурсултан Аббасович... Это, конечно, вздор, что директором меня лишь за эту схожесть и назначили. У меня на самом деле есть такая фотография, где меня в детстве ни за что не отличишь от Мамлакат. Когда-нибудь покажу! – И Гюльнара Садыковна, гордясь своим сходством со счастливицей-узбечкой, затопала к выходу.

Мама слезла с табуретки, присела на парту, отдышалась.

– Мы тебе картошки жареной на сковородке оставили... – пробормотал я, не зная с чего начать.

– Спасибо... А сами-то поели?

– Поели...

Я подавленно посмотрел на неё и вдруг сказал:

– Я, мам, наверно, брошу учиться...

– Это ещё что за новость?

– Скоро мне сколько стукнет? Тринадцать. Пойду работать. А ты, мам, дома сиди... Старик Бахыт за рубку табака хорошие условия предлагает... Его харчи... в придачу мешок пшеницы, два пуда картошки и полбарашка... когда зарежет...

– Откуда барашки взялись? У него только куры да ишак по двору бродят. Кого он зарежет?

Ощущение было такое, что мама не придавала никакого значения тому, о чём я говорил. Старый Бахыт... мешок пшеницы... два пуда картошки... полбарашка... Казалось, все эти обыденные слова, от которых зависела наша жизнь, обесмысливались, едва слетев с уст. Они отскакивали от мамы и больше – хоть сто раз их повторяй! – не возвращались, а если и возвращались, то как чужие, выхолощенные, не имеющие к ней ни малейшего отношения. В душе у неё жили другие, тайные и неприкосновенные слова, которые одновременно были для неё и утешением, и мукой, угнетали и дарили надежду, но их она благоразумно приберегала, редко выпуская на волю, где они могли либо скукожиться, либо подвергнуться смертельной опасности. Даже со мной мама не делилась ими, боясь обмануть меня или нечаянно причинить боль.

Между тем день разгорался, как сухие березовые поленья в печке.

В классе стайками и поодиночке стали собираться мои одноклассники-казашата. Они о чём-то бойко лопотали на своём языке, похожем на хриловатый клёкот беркута, но мама не обращала на них внимания и словно приросла к парте, словно сама была ученицей, которую вот-вот вызовут к доске и которой поставят двойку за неправильные ответы. Правильных и впрямь у неё не было.

Вопросов же было множество.

Как жить?

Где отец?

Что с нами будет?

Тревога за отца была самой острой. Жив ли он? Может, в русское село Берёзовка на Ярославщине на мамино имя уже и похоронку принесли... Так, мол, и так, ваш муж – рядовой Шлейме Ка-

нович – пал смертью храбрых в боях за Родину. Мама не понимала, о какой родине в этих похоронках говорится – то ли о прежней, Литве, то ли о теперешней. Кроме Йонавы, тихого местечка под Каунасом, у неё и у её мужа никакой другой родины не было. Та, которой они лишились, была единственная, как жизнь.

Мама кляла судьбу за то, что после того, как немцы стали бомбить шинный завод, всех беженцев из Прибалтики, расквартированных в близлежащих от Ярославля деревнях, вдруг собрали в кучу и спешно отправили за тридевять земель – кого на Урал, кого в Казахстан, а кого и дальше – на границу с Персией. Останься мама в Берёзовке, у неё, наверно, уже не было бы сомнений в том, вдова она или не вдова. Тут же, в этой глуши, в этой открытой суховеям могиле приходилось уповать только на Бога.

Звякнув пустым ведром, мама тяжело поднялась, перекинула, как винтовку, через плечо метлу и зашагала к выходу.

Не успела она выйти за дверь, как в класс вихрем влетел Лёвка Гиндин.

– Привет, – бросил он и не преминул съехидничать: – Оказывается, в нашем классе учится вся твоя семья! Поздравляю, Гирш.

Он был единственный, кто не называл меня Гришей. Особое удовольствие Лёвка испытывал от склонения на разные лады при Зойке моего подлинного имени: Гирш, Гирша, Гиршу, Гиршем и так далее...

Гиндин перед каждым встречным и поперечным выхвалялся своим городом – Ленинградом и родителями – мамой-музыкантшей и отцом – летчиком-испытателем. О них он рассказывал одну небылицу за другой. Зойке Лёвка своими рассказами просто голову задурил. Если верить ему, то сам товарищ Сталин в Москве, в Колонном зале слушал игру его мамы и потом, стоя, аплодировал.

Насчёт Сталина он, конечно, загнул. Розалия Соломоновна (так звали его маму) действительно была скрипачкой. В «Тонкарес» она привезла всё свое богатство – крохотулечку-скрипку и сложенную вчетверо цветную афишу, на которой была в длинном, как ксендзовская сутана, платье и со скрипкой, прижатой к плечу.

По вечерам, когда опускались сумерки, и кто-то, как коней в ночное, выпускал звёзды, Розалия Соломоновна выколупывала свою скрипку из чехла, словно из стручка, и при скудном свете коптилки принималась в тишине, в хате Бахыта играть, но теперь ей внимал не Сталин в Колонном зале, а старый казах, чуткий беркут на жердочке да одряхлевший ишак-меланхолик в сарае-развалюхе.

Благоговейно затихали и мы с Зойкой, наострив забитые за день поучениями Гюльнары уши. У тёти Ани на широко открытые глаза от игры Розалии Соломоновны наворачивались непрошенные слёзы, а у мамы мелкая дрожь секла губы.

На перемене мама отдала мне свой несъеденный завтрак – ломтик хлеба, луковицу и яичко, сваренное вкрутую, и предупредила:

– Не ищи меня, когда вернешься из школы, – сказала она. – Я по важному делу забегу к Розалии Соломоновне.

Я не мог взять в толк, зачем ей понадобилась Розалия Соломоновна, но спрашивать не стал. Мои расспросы только раздражали её. По правде говоря, мне самому не нравилось, когда кто-нибудь пытался проникнуть в мои тайны. Но мамино молчание и отрешенность ещё больше разжигали моё любопытство.

Я терялся в догадках: что может быть общего между Розалией Соломоновной и мамой? То, что ни у той, ни у другой нет мужа? То, что в одном ауле горе горькое мыкают? То, что и к одной, и к другой уже местные многоженцы сватаются? По рассказам Лёвки, его отец погиб еще до войны, на авиационном параде – поднял в небо новую модель истребителя, а она через минуту рухнула на землю... Сталин (опять Сталин!) якобы после его гибели прислал Розалии Соломоновне свои глубокие соболезнования и посмертно наградил отца Звездой Героя.

Когда я вернулся из школы, мамы дома ещё не было, и я решил дожидаться её на Бахытовом подворье.

По широкому подворью, заваленному сломанными, без спиц, тележными колёсами; ошмётками разодранной кошмы, в которой благополучно котились беспризорные кошки; отслужившими свой срок дырявыми бурдюками для кумыса, ещё пахнувшими сывороткой; ржавыми боронами и прогнившими досками, бесцельно бродили одуревшие от своей полуголодной свободы куры да ишак с запруженными неизбывной меланхолией глазами. Отгоняя коротким и хлётким, как плеть, хвостом назойливых навозных мух и слепней, он останавливался и принохивался к редким, выгоревшим на солнце кустикам травы и от укусов насекомых нет-нет да молодое и изящно взбрыкивал задними ногами.

На меня он всегда смотрел с заведомой нищенской благодарностью – авось угощу чем-нибудь вкусненьким или хотя бы сочувственно проведу по его красивой, как бы отпечатавшейся на неподвижной сини неба голове.

– Маму ищешь?

Я сразу узнал по голосу старого Бахыта.

– Она у Розы.

Бахыт выскользнул из-под навеса, где сушились табачные листья.

– Говорят и говорят, – протянул он с беззлобной укоризной и ткнул пальцем, как шилом, в окно своей хаты.

Сухопарый, коротконогий, постриженный наголо Бахыт выглядел молодо и боевито. Он не только удачно охотился в степи на лис и куниц, чей мех высоко ценился казахскими модниками, но преуспевал и как торговец куревом на базарах Чимкента и Андижана, где за хорошие деньги продавал свой смешанный с обыкновенным репьем табак. Продаст, бывало, мешок и живёт себе, не тужит целый год.

– Баба рот закроет, когда солнце сядет, – объяснил мне немногословный Бахыт.

Он вытащил из кармана полотняных штанов кисет с махоркой, ловко свернул козью ножку, сплюнул, сдул плевком прилипшую к высохшим губам былинку, чиркнул спичкой и смачно затянулся.

– Когда будем табак рубить?

– Не знаю.

– Нарубим, в мешочки сложим – на базар в Узбекистан поедем. Или в Аральск, в Россию. Табак и водка – товар вечный.

Выручила меня мама – вышла от Розалии Соломоновны, взяла за руку, повела за собой.

– Школа – хорошо, а базар лучше, – бросил он нам вдогонку и скрылся в сарае-развалюхе.

Я шёл за мамой, высвободив руку, и в горле у меня першило от махорочного дыма, от предчувствия какой-то беды, от собственной неприкаянности.

Перед моими глазами всю дорогу маячили не Розалия Соломоновна, не сухопарый, вкрадчивый, с повадками степной лисы Бахыт, а его простодушный, принимававшийся ко всему – к каждой травке, к каждому кусту, к небесной синеве – ишак, ждавший от всех не окриков, не поношения, не пинков, а ласки и понимания. В ту минуту и я чувствовал себя его братом, и сознание своего родства с ним меня не унижало. Разве есть в мире, думал я, хоть одно живое существо, которое не нуждалось бы в милости другого? Разве есть?

– Ты уроки сделал? – забеспокоилась мама.

– Сделаю... Ничего не задали... Надо выучить какой-то стишок Пушкина и написать сочинение о своей семье.

– Вот и пиши. О бабушке и дедушке, об отце, – она сглотнула комок... Когда тётя Аня придет с работы и заведет свой патефон, тогда уж ничего в голову не полезет.

И вправду, не полезет. От каждой пластинки Хариной, как от надгробья на кладбище, веяло разбитой любовью, вечной разлукой, а то и смертью.

– А что писать об отце?

Она задумалась, притулилась ко мне и тихо промолвила:

– Всё. Всё, что знаешь... О нём-то с Розалией Соломоновной мы как раз и говорили. Она обещала написать в Москву, главному военному начальнику. Может, ей он ответит. Ведь Сталин её слушал, даже в ладоши хлопал. Только тётя Аня ничего не должна знать.

– Почему? – не понял я.

– Потому что Хариной и Сталин не поможет. После похоронки уже некуда и незачем писать... Разве что Господу Богу. Но таких писем у Всевышнего – горы. Шлют и шлют. Тысячи! Миллионы, наверно! И в каждом письме Его спрашивают: «Где мой отец? мой сын? мой брат? моя сестра?» Да только ответов Он никому не пишет...

3

Мама не торопила Розалию Соломоновну и безропотно ждала, когда та напишет письмо в Москву, в самое осведомлённое обо всех солдатах – живых и мёртвых, пленных и пропавших без вести – учреждение, в Народный Комиссариат Оборона, но Гиндина

вдруг сама словно без вести пропала – то ли, замороченная собственными заботами, забыла о своём обещании, то ли переписывала прошение, стараясь составить его в таких выражениях, чтобы привыкшие ко всему столичные начальники растрогались до слёз, отложили в сторону другие свои дела и тут же бросились на поиски какого-то рядового, бывшего местечкового портного, своим молчанием сводящего с ума свою жену, уроженку независимой в недавнем прошлом Литвы, не имевшую никакого представления ни о Москве, ни о наркоматах, ни о Красной Армии, истекающей кровью под Москвой и Тулой. Может быть, Розалия Соломоновна просто-напросто не давала о себе знать по самой расхожей причине – неожиданно заболела и не смогла взяться за перо.

– Спроси у Лёвки, – сказала мама. – Мне самой справляться неудобно.

Если бы не тревога за отца, я Лёвку никогда ни о чём не стал бы спрашивать. С того дня, как тётя Аня привела меня в школу, и я занял место Гиндина за партой рядом с Зойкой, между нами возникла странная и непонятная неприязнь, порой выливавшаяся с его стороны в открытую враждебность. Я и сам не мог объяснить, почему он на меня так взъелся. Ведь пересадили меня не потому, что этого добивался я, а потому, что этого очень хотела тётя Аня, наслышанная о проделках Лёвки. Виданное ли дело – на уроках под юбку лезть да еще и обзывать. Куда, мол, смотрит эта растапа Гюльнара Садыковна?

Чувствуя свою безнаказанность и превосходство над другими, заносчивый и неукротимый Гиндин директрису и в грош не ставил. Не щадил он и однокашников: казахов, не чинясь, обзывал дикарями, а меня и жеманницу Бэллу Варшавскую – местечковыми оболтусами и дремучими неучами, слыхом не слыхавшими ни о петергофских фонтанах, ни о конях Клодта, ни об Эрмитаже.

Он выделялся среди нас не только своей весёлой наглостью, но и образованностью, был прекрасным рисовальщиком, готовился после десятилетки поступить в Ленинградский художественный институт и стать ваятелем, мог без труда вылепить из глины любую смешную фигурку. Старик Бахыт ходил по аулу и, теребя жидкую бородку-редьку, во всю нахваливал колдовской дар своего квартиранта, который – ну не чудо ли? – на жёрдочку к живому беркуту глиняного подсадил.

Сначала, когда на одной и той же раздрыганной телеге с несмазанными колёсами наши семьи только-только приехали из Джувалинска в «Тонкарес», мы с Лёвкой даже водили дружбу. В наших судьбах было много общего – война сорвала нас с насиженных мест, лишила домашнего тепла и уюта, забросила Бог весть куда; оба остались без отцов-кормильцев, оба были не русскими, не казахами, не чеченцами, а евреями.

Я искренне тянулся к Гиндину, старался во всём на него походить – по-солдатски, как и он, наголо стригся, чтобы не завелись вши; тайно дымил самокруткой на пустыре; по утрам таскал из курятника Бахыта тёплые яйца и, разбивая их о частокол, выпивал натошак. Я откровенно завидовал тому, как Гиндин свободно и

певуче говорит по-русски, как сыплет напропалую стихами и фамилиями великих людей – художников и полководцев. На нашу дружбу не могла нарадоваться и мама, не догадывавшаяся ни о курении, ни о воровстве, за которое сын Бахыта – объездчик Кайербек мог нас запросто упечь в тюрьму-коровник.

– Так и должно быть, – говорила мама. – Если еврей с евреем не будет заодно, то евреев и вовсе на свете не станет.

Мы следовали её завету: были с Лёвкой заодно.

Моя привязанность к нему с каждым днём крепла. Достоинства моего новоявленного друга не затмевались ни его заносчивостью, ни склонностью к зазнайству и вранью. Мне было с ним куда интересней, чем в школе с Гюльнаррой Садыковной, похожей на Мамлакат, и я только и делал, что всюду искал с Лёвкой встречи.

Чаще всего мы околачивались за Бахытовым сараем, на пустыре, где по вечерам, соорудив из засохших кукурузных стеблей ворота, гоняли ободранный мяч, когда-то подаренный в Алма-Ате погибшему мужу тёти Ани Ивану Харину за спортивные достижения на первенстве Казахстана по футболу среди колхозников. В нашем первенстве, кроме меня и Лёвки, изредка в качестве единственного зрителя принимал участие любознательный ишак Бахыта, который после игры смачно обгладывал обе «штанги».

Там, на пустыре, желая угодить своему другу, я повторил ему слово в слово то, что сказала мне о евреях мама.

Гиндин вытаращил на меня глаза, усмирил, как собачонку, мяч и сквозь зубы недовольно процедил;

– Евреи всех стран, соединяйтесь?

– Ну да, – промямлил я, не понимая его недовольства.

– Что ж. Если у вас, у евреев, другого выхода нет, будьте заодно! Соединяйтесь! С моей стороны никаких возражений.

– А разве ты?.. – боясь попасть впросак, не договорил я.

– Вот именно. Все почему-то думают, что я еврей, а я, Гирш, не еврей. Мама – армянка, а папа – чистокровный русский. Николай Анатольевич. – Он поддел носком мяч и стал им ловко жонглировать – запустит вверх, дождётся, когда тот снизится, и снова запустит. – По-еврейски я ни бум-бум... А имя мне по Толстому дали...

– По кому?

– По Толстому. Был такой граф с бородой... Лев Николаевич, миролюбиво произнёс Лёвка и, не сводя глаз с мяча, приказал: – Считай! В Ленинграде, в нашем дворе, на Пяти углах я перед войной свой собственный рекорд побил – сто раз подкинул и ни разу не уронил. Сто раз!

У Гиндина и впрямь здорово получалось – у него всё, за что бы он ни брался, получалось здорово.

– Сколько уже насчитал?

– Девятнадцать...

– Маловато, – вздохнул Лёвка. – Так вот, запомни навсегда: никакой я не еврей. В отличие от тебя, мой корешок целёхонький. Никто по нему ни ножиком, ни пилкой не прошёлся.

От неожиданности я сбился со счёта, но быстро сообразил, что

самолюбивому Гиндину не грех и подыграть и к предыдущей цифре на всякий случай прибавил ещё десятку:

– Двадцать девять.

– Отлично... Ты, я вижу, мне насчёт корешка не веришь. Хочешь – покажу?

– Верю, – выдавил я, не сводя глаз с Лёвкиных рук – неужто он и в самом деле начнёт расстегивать штаны?

Но Лёвка, озабоченный повторением своего личного рекорда в неблагоприятных условиях военного времени, был весь поглощён жонглированием.

– Считаешь? – спросил он.

– Да.

– Ну давай, давай.

Кожаный мяч то взлетал в голубизну, то, как привязанный, опускался на носок Гиндина; я стоял неподвижно, безостановочно шептал про себя бессмысленные цифры и думал не о том, врёт Гиндин про маму-армянку и про папу Николая Анатольевича или не врёт, скорее всего врёт, побьет свой личный рекорд или нет, а об этом сером, вытоптанном, как наша прежняя жизнь, пустыре, который по роковой случайности свёл вместе Рыбацкую улицу в моей Ионаве и улицу Пяти углов в его несравненном Ленинграде, о пустынном поле, где до нас никогда не ступала ни нога еврея, ни нога армянина, и мне почему-то стало жалко себя и Лёвки, и эта прилипчивая, проникающая под кожу жалость дёгтем чернила голубое небо, сжимала сердце, превращая его в подпрыгивающий в груди ободранный войной мячик, и, вопреки всему, не столько отталкивала меня от Гиндина, сколько печально сближала.

– Спроси у Лёвки, – не давала мне покоя мама, которая по-прежнему была убеждена в том, что он, как всякий еврей, должен быть непременно заодно с нами.

Меня самого заботило, написала ли Розалия Соломоновна письмо в Москву. Наверно, потому я, вернувшись с пустыря домой, и не стал разочаровывать маму – подрывать её веру во всеильное еврейское единство.

От маминых просьб и вопросов, от её усталого взгляда, от её старого, неглаженного платья и даже от походки, как всегда, веял тихой, неброской печалью.

Ей не терпелось, чтобы письмо поскорей отправили в Наркомат Обороны, чтобы там, в Москве, его поскорей прочли и прислали ответ, желательно, хороший. Однако что бы ни случилось с отцом она должна знать правду. Неизвестность страшила её и угнетала. Мне же казалось, что торопиться нечего – в столицу, наверно, каждый день приходят почтовые поезда с такими письмами-прошениями. Пока все их разберешь, глядишь, и война кончится. Разве лучше знать, чем не знать? Ведь пока ничего не знаешь – надеешься. Надежда, пусть и напрасная, слаще горькой правды. Велика ли радость убедиться в том, чего меньше всего ждешь и больше всего страшишься...

Я не сомневался в том, что отсюда, из этой наглухо захлопнутой степными сквозняками ковыльной западни, письма никогда

никуда не доходят; мне чудилось, что они улечтучиваются по дороге, что их зимой заметают метели, а по весне все – до единой – строчки тают, как снег на вековых курганах, и вылезшие из своих нор простодушные тушканчики, изнывающие от жажды, тычутся в них мордочками, слизывая всё до последней точки; я был уверен, что, если хорошенько приглядеться, то в весенний паводок при свете дня можно на поверхности различить даже разрозненные, извивающиеся, как песчари, предложения.

Не было у меня никаких сомнений и в том, что почтальоны и сюда никому ниоткуда писем не приносят. За время проживания в ауле – а прошло почти полгода – я ни одного письмоносца в глаза не видел. Почту чаще всего доставляли в колхоз с оказией, когда в округе набирали в армию новобранцев, или когда кто-нибудь из начальства возвращался со съезда хлеборобов или областного совещания восвояси. Каждая весть, добрая или дурная, добиралась до «Тонкареса» с большим опозданием. Похоронку на Ивана привез из Джувалинска председатель Нурсултан Абаевич. Поехал на какой-то праздник урожая и под расписку взял ее в военкомате. Он долго, очень долго не отдавал Хариной это страшное извещение, прятал его в колхозном сейфе, в том самом, где хранил почётные грамоты за ударный труд, пожелтевшие квитанции о выполнении плана по поставкам зерна, партвзносы и свой партийный билет. Тётя Аня не могла простить Нурсултану этого утаивания – перестала с ним разговаривать. Говорят, Джабаев просил у неё прощения. Но, по-моему, он поступил правильно – не хотел, чтобы Харина, которую он обожал, рвала на себе волосы. Её волосы, видно, были Нурсултану Абаевичу дороже, чем правда. И я бы на его месте не отдал похоронку. И я не хочу, чтобы мама рвала на себе волосы, и мне они дороже, чем правда. Меньше знаешь, спокойней спишь. Пусть спит спокойно. Пусть пока видит отца во сне. Может, Бог даст, и наяву увидит.

– Хорошо, – сказал я. – Обязательно спрошу, написала ли Розалия Соломоновна письмо. Встречу Лёвку в школе и спрошу.

Она попыталась улыбнуться, но глаза её вдруг подозрительно засверкали и по бороздкам на щеках, распаханным страдальческой улыбкой, потекли слёзы. Она не вытирала их, и спустившийся с отрогов Алатау в долину ветер сушил на бледном лице зазевавшиеся, не успевшие скатиться капли.

Лёвка в школу почему-то не приходил, и у меня не оставалось другого выхода, как только подкараулить его у Бахытовой хаты.

День уже клонился к вечеру, когда я увидел своего одноклассника. Перебирая, как аист, своими тонкими, длинными ногами, обутиными в довоенные «сорокоходовские» ботинки, Гиндин широко и уверенно шагал по разбросанному во дворе хламу.

– Здравствуй, – сказал я.

– Здравствуй, здравствуй, – выплюнул он, как лузгу, своё приветствие и напрямик направился к нужнику.

Видно, приспичило, подумал я и пустился за ним вдогонку. – Что-то в последнее время скрипки не слышно? – начал я издалека.

– На музыку потянуло?

– Да.

– А ты хоть разбираешься, где скрипка, а где балалайка?

– Вроде разбираюсь.

– Неужто? – захихикал Гиндин и, расстёгивая на ходу потёртые штаны с накладными карманами, добавил: – По...ть по-людски не дадут.

Попотчевав меня ругательством и милостиво предложив послушать в его исполнении концерт для задницы с оркестром, Лёвка скрылся за скрипучей дверью деревянной отхожей, из которой валил густой и устойчивый смрад.

Пока Лёвка справлял нужду, я крутился около высохшей будки. В её стенах зияли большие щели, кое-где законопаченные от сквозняков клоками овечьей шерсти; крышу заменял полусгнивший лист фанеры; чуть поодаль росли высокие лопухи, которыми, за отсутствием бумаги, жильцы и случайные прохожие охотно и успешно пользовались.

Наконец, дверь нужника скрипнула, и Лёвка, придерживая штаны, направился к лопухам.

– Твоя мама обещала, что письмо в Москву напишет. Ты об этом ничего не знаешь? – бросился я с головой в омут в надежде на то, что удастся выудить у Лёвки какую-нибудь новость.

– Подтереться спокойно не дадут, – брезгливо произнес мой однокашник и, не обращая на меня никакого внимания, деловито зашуршал лопухами.

– Может, Розалия Соломоновна заболела?

– Во-первых, к твоему сведению, не Соломоновна, а Согомоновна. Дедушку по-армянски звали Согомон, а не Соломон.

Согомоновна так Согомоновна. Стоит ли из-за одной буковки огород городить...

– Во-вторых, некогда мне с тобой ласы точить. У мамы приступ гипертонии... – насупил Лёвка, застегнул ремень, сплюнул сквозь зубы и двинулся к Бахытовой хате.

– Что, что у Розалии Со... Согомоновны? – спохватился я.

– Гипертония... – повторил он и скрылся.

Гипертония? Сроду не слышал о такой болезни. О чахотке и брюшном тифе слышал, о воспалении лёгких и ветрянке – тоже, а вот о гипертонии – нет. Не слышала о ней и мама. Никто толком не знал, что это за напасть.

– Надо держаться от неё подальше, чтобы не заразиться, – сказала тётя Аня. – Может, это на учёном языке – сыпняк?

– А если человеку помощь нужна? – робко возразила мама.

Лёвка никому о болезни Розалии Соломоновны не рассказывал. Он, бывало, целыми днями не появлялся в школе – оставался дома и ухаживал за больной или помогал по хозяйству старику Бахыту, который от всех болезней знал только одно-единственное средство – баранье сало: что бы ни болело, натри – и наутро хворь как рукой снимет.

Гипертония? Что же это за напасть, ломал я голову. Может, пустяк, а может, смертельная хворь. С кем тогда останется Лёвка?

Доктора в ауле не было – спрашивать было не у кого.

Ни председатель Нурсултан Абаевич, ни даже мама Бэллы Варшавской, продавщица продовольственного магазина из Борисова, ничего не знали о такой болезни. Все слова, которые жили в мазанках, на подворьях, в конторе и в школе, были просты и понятны, как утренний крик петуха или ржание кайербековой кобылицы. Подобно знакомым злакам и цветам, в «Тонкаресе» произрастали только старые сорта слов, новых тут не высаживали и не выводили, иногда, правда, они залетали в аул невесть откуда, но не приживались, увядали на корню, ибо здешние жители вполне обходились теми, которые без окучивания и полива, без прополки и удобрений испокон веков росли в этих глухих местах.

Не знала, что такое гипертония, и сердобольная Гюльнара Садыковна.

– У неё, отец, что болит? – допытывалась она у Бахыта.

– Голова. Шибко болит, как у твоего Шамиля от самогонки...

Жунусова с большим уважением относилась к Розалии Соломоновне. Она дважды устроила её выступления в школе – в праздник Первомая и в начале нового учебного года. Замерев от счастья, как Мамлакат на сталинских коленях, Гюльнара Садыковна именинницей сидела в первом ряду и слушала её игру.

– Иоганн Себастьян Бах, – торжественно объявляла беженка детям, замороженным скорее её дивным концертным платьем, чем скрипкой.

Казашата гулко и дружно хлопали в смуглые ладоши, как степные птицы крылами.

– Моцарт. Этюд... – бросала в зал Розалия Соломоновна.

Или:

– Чайковский. Танец маленьких лебедей.

После каждого концерта счастливая Гюльнара Садыковна не только отвозила в колхоз имени Первого съезда комсомола полные пригоршни восторга своему верному Шамилю, но и умудрялась выцыганить у Нурсултана Абаевича для Розалии Соломоновны вознаграждение – килограмм сливочного масла, плетёную корзину яиц, баночку мёда и кулёк муки грубого помола.

Жунусова уверяла всех, что пригласит товарищ Гиндину и на Октябрьские праздники – только бы та поскорей избавилась от болезни. Стыдясь своей назойливости, директриса справлялась о состоянии Лёвкиной матери не у Гиндина, а у Бахыта – Лёвке она как бы предоставила каникулы вне очереди, заданий на дом ему не задавала и не ругала за прогулы. Да и как его было ругать, если Лёвка в мектепе учился на два класса ниже, чем в ленинградской десятилетке, и получал одни пятерки. Он мог, чего доброго, в любой момент открыть классный журнал, спросить у дежурного, кто отсутствует, выйти к доске и, окинув класс строгим, высокомерным взглядом, без всякой подсказки, с блеском провести за Гюльнару Садыковну какой угодно урок.

Лёвка был особенно силен в русской литературе и в географии. Стремясь щегольнуть своими знаниями перед Зойкой и Галией, самой красивой казашкой в классе, он ни с того, ни с сего выходил к доске, вскидывал свою остриженную наголо голову и либо при-

нимался громко декламировать стихи про какого-то медного всадника и про ужасное наводнение, чуть не смывшее его родной город, построенный на берегу Невы царём Петром Первым; либо начинал на перемене беспощадно экзаменовывать весь класс – требовать, чтобы ему называли столицы или главные реки тех стран, о которых никто из его одноклассников и ведать не ведал.

– Столица Перу! – заранее предвкушая победу, вперял он горячий взгляд игрока в меня или в пугливую Бэллу Варшавскую.

Бэлла моргала своими длинными, как крылышки водомерки, ресницами и надувала губки.

– Столица Перу! – громовым голосом повторял Лёвка, прибавив с презрительным великодушием минуту на размышление. Я хлопал ушами и многозначительно отмалчивался.

– Лима! – выдержав паузу, сокрушал экзаменатор наше молчание. – Главная река Бразилии!

Гробовое молчание.

– Амазонка, дундуки!

Болезнь Розалии Соломоновны на время приостановила его географические опыты над нами. Расстроенный, он сиднем сидел у постели больной и на тетрадных страницах рисовал то продолговатый череп Бахыта, поросший по бокам венчиком волос; то его задумчивого ишака; то заснеженные отроги Алатау.

Не меньше, чем Лёвку, злополучная хворь соседки расстроила мою маму. И вовсе не потому, что на неопределённый срок откладывалось отправление письма, хотя задержка её и огорчала, а потому, что мама не знала, чем же ей, расхворавшейся, помочь.

На все вопросы «домашний доктор» Бахыт, не выпускавший изо рта трубку, однообразно, с ускользящей улыбкой на прокопченных на солнечном мангале скулах отвечал:

– Роза – баба хорошая, только башка у ней плохая, шибко плохая.

Как человек торговый, не стеснявшийся даже у родного сына Кайербекка брать деньги за кисет махорки или лисью шкурку для шапки-ушанки, он не любил, когда кто-нибудь шастал по его подворью, хотя с подворья, кроме ишака, нечего было увести. Чужаков – «выковырянных», не «выковырянных» – старик не жаловал, на порог пускал редко. Что за прок в безденежных болтунах? Пришли, наследили, и поминай как звали. Его дом – не нужник, не свалка жалоб на жизнь. Нечего с чужим дерьмом возиться, когда сидишь по уши в собственном...

В отличие от тёти Ани, не взявшей у жильцов за постой ни копейки (нам и платить-то было нечем), старик Бахыт от Гиндиных сразу потребовал плату, и Розалия Соломоновна, по её признанию, не стала с ним спорить и объяснять, что они не дачники, а беженцы, что подселила их к нему беда и что, видимо, само государство («Вот направление от Энгельса Орозалиева из Джувалинска») за всё с хозяевами и рассчитается, но Бахыт и слышать не хотел ни об Энгельсе Орозалиеве, ни о государстве, рассчитывающемся с хозяевами за постояльцев; он жил не в чётко обозначенном в календарях, а в условном, сыром, как невыделанная кожа, наспех обустроенном предками времени, в котором веками

мало что менялось – прежними остались и небо, и отроги Алатау, и степь, и беркут на жердочке, и обычаи, и пища; так вот, Розалия Соломоновна из этих соображений не стала объяснять Бахыту то, что растолковать невозможно, достала из замшевой сумочки золотую брошь и протянула старому охотнику, выжидательно-угрюмо смотревшему на беженку из-под выцветших бровей, которые шелкопрядами застыли над морщинистой переносицей.

Старик Бахыт долго вертел в руке брошь, рассматривал её на свету, восхищенно причмокивал языком, пока, наконец, не сказал Гиндиной:

– Живите.

Мама относилась к Розалии Соломоновне с откровенным, жалостливым почтением, но сблизиться с ней не пыталась – слишком велика была разница между ними буквально во всём, кроме выпавших на их долю испытаний, – и потому всегда держалась как бы в сторонке, боясь столкнуться с вежливым равнодушием соседки, с неискренним, наигранным интересом к своей особе.

В конце концов, заслуживала ли она такого внимания? По сравнению с Розалией Соломоновной мама была обыкновенной местечковой бабой, внучкой и дочкой простолюдинов-сапожников; её жизнь протекала не на сцене, не на глазах у восхищенной публики, под гром аплодисментов, а среди грохота посуды и стука сапожничьего молотка, среди запахов дорожной грязи на подошвах и дешёвой ваксы; не было в этой жизни ни золотых украшений, ни аплодисментов; мама нигде и никогда не училась, работала прислугой, по-русски не то что письмеца написать – подписываться не умела, выводила свою фамилию каракулями на идише. Но чего в ней было в избытке, так это сострадания и сочувствия, которыми она всегда спешила поделиться с другими, она была готова в любую минуту убаюкать чужую беду и нянчить, нянчить, нянчить свои и чужие надежды.

– Доктору бы её показать, – сказала мама хмурой и усталой тётке Ане, когда та под вечер вернулась с работы.

– Ты, Женечка, тут про докторов забудь... Это тебе не Литва и не колыбель революции – Ленинград, – отрезала хозяйка. – Никакой лекарь тебе не поможет, если сама себе не поможешь. Обливайся утречком холодной водой, ни о чём, кроме себя, не думай, и чёрт тебя не возьмет. Жизнь, как сказал один искалеченный герой-комсомолец, даётся только раз, и надо её прожить хорошо!

Тётя Аня была не в духе – говорила резко, почти грубо. Чтобы не усугублять её дурного настроения, мама в знак согласия вяло кивала головой.

– Был бы под боком мужик, вмиг бы выздоровела, – то ли о себе, то ли о соседке сказала Харина. – Скажи честно, тебе, Женечка, мужика не хочется?

Мама потупила глаза: такое да ещё при детях!

– А мне хочется! Очень! Это лекарство ни за какие деньги не купишь. Куда ни глянь – дрянь вроде Кайербека или этого многожёнца Нурсултанчика. Эх, будь со мной мой Иван, пусть увечный... – Она вдруг осеклась и подозрительно засопела носом.

О погибшем муже тётя Аня вслух вспоминала редко. Каждое воспоминание причиняло ей боль и оборачивалось долгим и тягостным молчанием. Так молчат на кладбище, когда, словно подстреленные утки в камыш, падают с прихлопом на крышку гроба комья свежей глины.

– Больница в шестидесяти верстах отсюда... в Джувалинске... Если выехать в степь на рассвете и нигде по пути не делать передыху, то к вечеру телега, пожалуй, и дотарахтит до неё.

Маму так и подмывало спросить, что же вынудило Хариных забраться в такую глушь, покинуть свою Россию, сиреневый Новохопёрск, но что-то всё время её останавливало. Наверно, беда вынудила. Она куда угодно путёвку выпишет.

Тётя Аня подошла к приземистому буфету с облупленной масляной краской, открыла дверцу, достала бутылку непечатой водки, краем фартука смахнула с нее пыль, извлекла четыре рюмочки, поставила их, как поминальные свечи, на стол, застеленный чистой скатертью, и, сухо откашлявшись, печально объявила:

– Помянем Ванечку... – Она вдруг задохнулась словами, снова зашмыгала носом, зажала по-мужски в кулак бутылку, открыла и так же тихо и печально произнесла: – Принеси, Зочка, малосольных огурчиков... они в банке... хлеб на полочке в хлебнице, в той, что папа из лозы сплёл. Коли закуски не хватит, закусим Шульженко и Лещенко... Ты, Гриша, рановато уселся. Сядь, пожалуйста, сюда... Тот стул занят. На нём дядя Иван сидит... – Тётя Аня вздохнула и метнула взгляд на стену, с которой беспечно улыбался молодой мужчина в гимнастерке с двумя кубарями в петлицах.

Ни я, ни мама никогда водки не пили. В доме алкоголь не держали. Только на Пасху дед Довид, бывало, разливал в высокие бокалы на тонкой ножке медовую настойку и, молодея от причастности к исходу евреев-рабов из Египта, медленно и упоённо рассказывал на идише о том, как они, перехитрив фараона, вырвались из постылой неволи и как сорок лет бродили по пустыне, прежде чем прийти свободными в свою страну...

Мама не сводила глаз с пустого стула, на котором до войны восседал глава семейства – Иван Харин, перебравшийся в тридцать седьмом году вместе с женой и пятилетней дочкой в этот нищенский, нерусский аул, и думала о своём замолкшем солдате: жив ли, суждено ли им когда-нибудь ещё свидеться или придётся по убитому мужу по-вдовьи править поминки в чужом доме за чужим столом.

– Выпьем и завьем горе верёвочкой, – подбодрила маму тётя Аня, нарезала огурчики, пододвинула хлеб и подняла рюмку.

– Выпьем! – воскликнула мама и, осмелев то ли от сочувствия к хозяйке, то ли от охватившего отчаяния, добавила: – За всех, кто пока не вернулся, но может, Бог даст, ещё вернётся.

Наступившее молчание нарушалось только хрустом огурчиков и сопением Зойки.

Тётя Аня снова налила в рюмки водки, опрокинула свою согнутой в локте рукой, по-мужски вытерла чувственные губы и подстегнула маму:

– А ты чего бастовать вздумала? Или ваш Бог больше не велит?

– Когда Богу плохо или хорошо, и Он, наверно, не отказывается пригубить, – вымученной улыбкой ответила мама.

– А, по-твоему, Бог есть?

– Есть.

– Враки! Никакого Бога нет! Ни вашего, ни нашего! – ошетинилась Харина. – Если Он есть, зачем Ему, скажи, вдовы понадобились, сироты, калеки? Зачем Ему, Женечка, наши слёзы?

– Мам, – вмешалась в разговор напуганная Зойка и вдруг предложила: – Может, Розалию Соломоновну и Лёвку позовём... Ведь и у них папа...

Её предложение всех огорошило. Лёвка и так, и эдак её честит, в классе при всех под юбку лезет, а ей хоть бы хны. Мне бы от неё за такое ещё как влетело. А Гиндин – везунчик. Ему, нахалу, всё с рук сходит.

– Розалия Соломоновна больна, – напомнила тётя Аня. – Она вряд ли придёт. А Лёвке одному что у нас делать?

– Пригласить же можно, – не сдавалась Зойка. – Я схожу, а? – обратилась она ко всем.

– Пусть сходит, – заступилась за неё моя мама, больше всех заинтересованная в том, чтобы Розалия Соломоновна пришла. Придёт и, может, обнадёжит – шепнёт что-нибудь про письмо в Москву.

– Ладно. Сбегай! Водки на всех хватит, – разрешила тётя Аня, и Зойка, пританцовывая от радости, кинулась к двери.

От её приплясывания у меня вдруг защемило в груди, и я тут же, за столом, дал себе слово к зимним каникулам выучить наизусть как можно больше русских стихов – и про медного всадника и про наводнение, чуть не погубившее Ленинград; я решил завтра же у Гюльнары Садыковны, которая нас и географии учит, попросить карту мира и вызубрить названия всех столиц на земле. Не такой уж я дундук, чтобы не запомнить какую-нибудь Лиму или Каракас! И картавить перестану – с утра до вечера буду во рту злополучную букву «р» перекачивать, пока не научусь каркать, как ворона.

Единственное, чего мне сделать, наверно, не удастся, так это росту прибавить – Лёвка вымахал почти под потолок, да и Зойка, кажется, за полгода подтянулась, а у меня с ростом заминочка вышла.

Пока Зойка бегала к Гиндиным, тётя Аня придвинула к столу кухонную табуретку, застеленную клеёнкой, и треногий стульчик.

Я стоял у стола и, как когда-то бабочек, ловил каждый звук во дворе. Но ничьих шагов не было слышно.

Я просил Бога – я всегда его просил, когда никто, кроме Него, не мог мне помочь, – чтобы пришли только Зойка и Розалия Соломоновна, а Лёвка остался с Бахытом. Старик вечно рылся в вещах квартирантки – то ли искал ещё одну брошь, то ли проверял, не пропало ли чего-нибудь у него самого.

За окном что есть мочи таял на молодую луну Рыжик. Он лениво позвякивал цепью, к которой относился не как к осточертевшему бременю, а как к награде за долголетнюю верную службу. Из-

за старости он плохо видел и лаял наобум, скорей из верности, чем по необходимости. Чем старательней лай, тем щедрее хозяин и сытней пища. Как уверяла тётя Аня, по возрасту Рыжик уже давно должен был испустить дух, но смерть, видно, из гордости брезговала дворнягой, не желая тратить на неё время.

Протяжно и обиженно мычала отбившаяся от стада корова, и её заунывное мычание тревожило первозданную тишину.

Зойка вернулась одна. Лицо её было отрешенным и грустным.

– Не придут? – спросила Харина.

– Не-е, – подтвердила дочка. – У Розалии Соломоновны голова болит, а Лёвка письмо пишет.

– Письмо? – оживилась мама. – Кому?

– Говорит, Сталину... Он все время ему пишет... и когда в Ленинграде жил, писал, и сейчас...

– Глупости, – одернула Зойку тётя Аня.

– Честное пионерское, – поклялась упрямица. – Он мне сам его показывал... и даже читал... Просит, чтоб его и маму перевели отсюда в большой город, такой, как Ташкент или Алма-Ата, где есть музыкальная школа, публика, цветы и аплодисменты и где...

– Будем, Зойка, Лёвкины байки слушать или ещё раз отца добрым словом помянем? – сердито перебила её тётя Аня.

Все молча, как по уговору, повернулись к улыбающемуся на стене командиру Красной Армии, а Харина негромко, нарочито буднично произнесла:

– За тебя, Ванечка! За встречу!

И первая, не морщась, осушила рюмку

Зойка, мама и я только лизнули горькую, виновато глянув на стену, и мне вдруг показалось, что красный командир с двумя кубарями в петлицах улыбнулся шире, чем обычно, и луч его улыбки на сей раз упал не на тётю Аню и даже не на Зойку, а на нас с мамой, смущённых и подавленных необычным тостом. В самом деле: разве за мёртвых, за встречу с ними можно пить? Разговаривать – пожалуйста (бабушка Роха при мне с ними на кладбище всегда вела долгие беседы, рассказывала им о том, кто после их смерти женился в местечке, кто развёлся, у кого родились внук или внучка, кто уехал в Америку и кто в Палестину). Но произносить здравицу за усопших?

Тётя Аня снова взяла бутылку, снова наполнила свою рюмку и, косясь на перепоясанного портупеей Ивана, на его франтовато заломленную пилотку, продолжала:

– Прости, Ванечка, не познакомила тебя с Женечкой и её сыном Гришей. Они из Литвы, где ты, кажется, служил. Уже полгода, как у нас живут, а я не удосужилась их познакомить с тобой... Хорошие люди, хотя и евреи... Я все время думала, что евреи где-то то ли в Индии, то ли в Африке живут... А я, Ванечка, оказывается, мал-мал ошибку давал – они живут в Литве... в Ленинграде... в Белоруссии. Когда война закончится, мы поедem к ним в гости... В ихнюю Литву, как ездили в Крым, к морю... У них там тоже есть море... Балтийское называется.

Тётя Аня была слегка пьяна, говорила тягуче-медленно, словно каждое слово вытягивала, как занозу.

Мама слушала и ёжилась, а мы с Зойкой испуганно переглядывались и лузгали прошлогодние семечки.

Тётя Аня с каким-то тихим остервенением наливала себе одну рюмку за другой и всё больше хмелела – к закуске она почти не притрагивалась, только изредка, как перо в чернильницу, макала хлебную корочку в огуречный рассол и совестила непьющую квартирантку:

– А ты чего, Женечка, не пьешь? Коли не хочешь за моего, так за своего дёрни... Клопов у нас в России керосином морят, а печаль – водкой. А у вас там, в Литве, чем?

– У нас дома клопов, слава Богу, не было, – невпопад ответила мама.

– А печали?

– У кого её не бывает...

– Сколько у нас бывает, столько нигде не бывает. В печали зачатые, мы всю жизнь живём в печали и от печали в одиночку умираем. Выпьём!

Она чокнулась с мамой и обняла её.

Водка обожгла непривыкшее к крепким напиткам мамино горло, неспешно потекла вниз, не в желудок, а куда-то к наболевшему сердцу, к которому вдруг на короткий миг прихлынула небывалая дотоле теплынь. Мама благодарно и настороженно смотрела на захмелевшую тётю Аню – не дай Бог, заставит еще раз к рюмке приложиться! – переводила затуманенный взгляд на Ивана, улыбающегося не со стены, а из вечности.

– Хорошая фотография, – сказала мама и впервые назвала хозяйку по имени. – А у меня, Аня, никакой от моего не осталось. В чем стояли, в том и убежали...

4

Время шло, но здоровье Розалии Соломоновны не улучшалось, а с каждым днём ухудшалось. Бывали дни, когда она почти не вставала с постели, а если и вставала, то только для того, чтобы в сопровождении неотлучного, пришибленного её болезнью Лёвки, шатаясь, добраться до отхожего места.

– Зачем мучаешься? Возьми ведро и делай в сенях! – сжалившись над квартиранткой, неожиданно посоветовал суровый Бахыт, не отличавшийся особым человеколюбием, но всё-таки втихомолку просивший Аллаха, чтобы тот исцелил жилищу. Что за прок в мёртвых? Мёртвые за постой не платят. Выживет Розалия Соломоновна – будет платить, а помрёт, и прощай доход. – Пускай Лёвка ведро в будку носит, а потом в арыке моет и песочком натирает. Зачем мучиться?

Но Гиндина не послушалась совета – только замотала точеной, как на старинных монетах, головой и поблагодарила его страдальческим взглядом.

Опираясь на выломанную Лёвкой в лозьяке палку, Розалия Соломоновна семенила на край захламленного двора, к потрепанному ветрами нужнику со скрипучей, как назло, не закрывающейся

дверью, возле которой всегда кучковались оголодавшие, Бог весть откуда забредшие куры.

На обратном пути Гиндина обычно делала короткую остановку – присаживалась на заросшее травой тележное колесо и впивалась болезненным взглядом в синее, свежее, как только что выжатое белье, небо, пытаясь то ли что-то дотоле невиданное разглядеть, то ли что-то неслышанное сверху услышать.

– Свежим воздухом немного подышу, – говорила она, как бы оправдываясь перед Лёвкой, которому её желание внушало скорее смутные опасения, чем радость. Тем более, что свежим воздухом на подворье Бахыта и не пахло. Пахло плесенью, огородной прелью, остывшими печными углями и обильными коровьими лепёхами, вразброс желтевшими на просёлке.

– Сиди, сиди, – подбадривал её Лёвка и, усаживаясь рядышком на дырявое, опрокинутое вверх дном ведро в рыжих плешинах ржавчины, устремлял свой взгляд на роскошную кроличью шапку Алатау или на небосвод – бескрайнее и непорочное подворье Господа Бога, откуда доносилось не суматошное кудахтаье кур, а тихое и благостное пение ангелов. В погожие дни Розалия Соломоновна и Лёвка молча просиживали во дворе до самых сумерек, которые светились молочно-восковой спелостью несметных звёзд и маслянистыми, как только-только вылупившиеся из скорлупы каштаны, зрачками ишака-меланхолика.

Иногда Розалия Соломоновна украдкой переводила прощальный взгляд с темнеющего неба на сына, и тогда Лёвка весь съеживался, его охватывал какой-то странный страх, липкий и колючий – казалось, вот-вот наступит день, и мама больше не поднимется с тележного колеса, навсегда застынет в своей отрешенно-задумчивой позе, обрастёт с ног до головы дикой травой, и только любознательный ишак Бахыта по весне будет приходить сюда и пощипывать первые завитушки зелени, оглашая окрестности своим самозабвенным криком.

– Ты уже, Лёв, взрослый, – как-то сказала Розалия Соломоновна сыну, примостившись на облюбованном колесе. – Если со мной что-нибудь вдруг...

– Глупости! – криком перебил её он, чувствуя, как страх облепывает его грудь и виски. Чтобы поскорей избавиться от этого страха, Лёвка по своему обыкновению ни с того, ни с сего принялся негромко и легкомысленно насвистывать себе под нос какой-то популярный марш.

– Перестань, – одёрнула его Розалия Соломоновна. – Ты безбожно фальшивишь.

– Когда ты перестанешь, тогда и я перестану.

Ему не хотелось слушать про смерть. Он и мысли не допускал, что с мамой может случиться что-то непоправимое, и он останется один, среди этих чужих, как бы только вчера перекочевавших из далекого и дремучего средневековья охотников и земледельцев, бесследно затеряется в этом зачуханном, насквозь проявленном бедностью и невежеством ауле, где и кладбища-то приличного нет – хоронят где попало. Чем больше Лёвка думал о своём предпола-

гаемом сиротстве, тем яростнее его мозг, истосковавшийся по иной, лучшей жизни, сопротивлялся таким безотрадным, хотя и не беспочвенным, предположениям.

— А что тебя так возмутило в моих словах? — недоуменно вопрошала Гиндина. — Ведь в жизни может произойти всякое. Когда-то и я, наивная дурочка, считала, что матери не умирают — все, мол, уходят, а матери живут вечно. Шла, помнится, в летний ливень за гробом и не верила, что там, под этой непроницаемой, последней земной крышей — она... самый близкий и дорогой человек на свете... Жаль, Лёв, очень и очень жаль, но так устроен мир: та, что косит, сильнее той, что плодоносит... Любовь еще ни разу не выигрывала у смерти.

— Жаль, — сказал Лёвка и отвернулся. Не хватало ещё при ней распустить нюни.

Болезнь мамы изменила Лёвку к лучшему: у него поубавилось самоуверенности и зазнайства, а его потребность в чьей-то поддержке и даже в защите проявилась, на удивление, куда более явно, чем прежде. Скрытный, замкнутый, он вдруг, пусть неохотно, пусть скупой, стал делиться со мной своими опасениями и тревогами.

— Слушай, — как бы между прочим спросил он у меня в какой-то вечер на Бахытовом пустыре, где мы оба каждую субботу до одури гоняли футбольный мяч, — что бы ты, скажи, делал, если бы твоя мама взяла и вдруг... умерла?

— Не знаю, — растерянно отвечал я.

— А я знаю, — сказал он, размазывая по лицу горячий и грязноватый пот.

— Что? — затаился я в испуге в ожидании ответа Лёвки.

— Сделал бы то же самое...

— Умер бы? — мои брови взмыли вверх, как вспугнутые кошкой воробы. — Да ну!..

— Не веришь?

Гиндин окатил меня царским презрением.

— Но ты же здоров... ничем, по-моему, не болеешь... Ведь кто не болеет, тот не умирает, — глубокомысленно заметил я.

Но моё глубокомыслие нисколько на Лёвку не подействовало.

— Смерть не спрашивает, здоров ты или нездоров... Хочешь умереть — милости просим. Она тебе, например, в стакан с чаем какого-нибудь яду подсыплет или вложит в твою руку финку, чтобы себя в сердце пырнул, — Лёвка ткнул себя в грудь. — Или возьмет и одним концом верёвки, как шарфом, обмотает твою шею, а другой крепко привяжет к крюку под потолком, вышибет из-под твоих ног табуретку, и повиснешь в воздухе, как гирлянда... Способов, дружочек, хоть отбавляй.

— А тебе... тебе не страшно? — выдавил я.

— Нет. Так мой дедушка Георгий, бывший полковник царской армии кончил... Узнал с вечера, что за ним придут, и утром удавился.

— Кто придёт? — вырвалось у меня.

— Тот, кто в таких случаях приходит, — бросил Гиндин. — Только смотри: про наш разговор никому...

— Никому, — поклялся я.

Хотя я и терялся в догадках, кто должен был явиться за его дедом-полковником, но доверие Лёвки польстило мне. Правда, его исповедь и страху на меня нагнала. Бывало, только гляну в его сторону, и тут же то финка примерещится, то верёвка, то яд, подсыпанный в чай...

Я успокаивал себя тем, что Лёвка – известный мастер привирать, что он ни с того ни с сего может играючи наплести с три короба: и про то, что он покончит с собой, и про самоубийцу-деда Георгия, и про Сталина, наградившего его отца Звездой героя. Он и раньше, до болезни Розалии Соломоновны, от нечего делать и от скуки придумывал всякие небылицы, легко и искусно смешивал ложь и правду, которая, в отличие от небывальщины, казалась ему отвратительной и нестерпимой; его бесконечные придумки, его истории, сочиненные с ошеломляющей легкостью и изобиловавшие невероятными событиями и обстоятельствами, расцветчивали постылые и однообразные, как коровьи лепёхи, будни и придавали жизни больший смысл, чем тот, каким она обладала.

В школе Гиндин почти не появлялся, и, озабоченная его долгим отсутствием, Гюльнара Садыковна, никого ни о чём не уведомляя, решила в один прекрасный день нагрнуть к Бахыту. О чём она говорила с Розалией Соломоновной, для всех осталось тайной, но ровно через неделю на подворье старого охотника спешился отчаянный Шамиль, который на своём отполированном рысаке привёз в седле, как сноп сжатой пшеницы, сухонького, морщинистого старика в потёртых полотняных штанах и в помятой фетровой шляпе. Щупленький, с аккуратно расчёсанной седой бородкой, в очках на горбатом носу, с дорожной сумкой в руке, он бабочкой-однодневкой впорхнул в Бахытову хату, вежливо попросил посторонних оставить его наедине с больной и, когда Бахыт и Лёвка, изумлённые нагловатой вежливостью гостя, нехотя выполнили его просьбу, направился к кровати, на которой молча лежала осунувшаяся Розалия Соломоновна.

– Какой строгий! – пожаловался во дворе чеченцу Бахыт, показывая замусоленной, еще незажжённой козьей ножкой на собственное жильё. – Скажи, кунак, кто и откуда этот почтенный аксакал?

– Лекарь и хиромант, – сказал Шамиль, указательным и средним пальцами, как глухонемой, изобразив смачную затяжку, и выцыганил у прижимистого Бахыта щепоть махорки.

– Кто, кто? – опешил старый охотник, протягивая мужу Гюльнары Садыковны битком набитый душистым табаком кожаный кисет.

– Прохазка Иржи Карелович. Лекарь и гадатель, – склеивая обильной слюной самокрутку, повторил Шамиль. – Он и лечит, и гадает...

– Еврей?

Вопрос был круто наперчен неприязнью.

– Нет. Чех.

– Чех-шмех, – прошамкал Бахыт, затаивший в душе обиду на вертихвостку Гюльнару и на её башибузука Шамиля: не предупредили хозяина о внезапном приезде гостя, этого целителя, который посмел выпроводить его, Рымбаева, из собственного дома.

– Не той ли он породы, что и ты?..

– Какой породы? – посасывая самокрутку и безмятежно следя за дымком, как за выющейся над головой ласточкой, поинтересовался не ожидавший подвоха чеченец.

– Сам знаешь какой... Враг народа.

И Бахыт мелко-мелко захихикал.

– Иржи Карелович наш с Гюльнаркой сосед, – спокойно объяснил Шамиль. – Когда-то в молодости был фельдшером... после революции случайно очутился в Сибири... В белом Чехословацком корпусе...

Бахыт понятия не имел ни о дореволюционной, ни о послереволюционной Сибири, ни о фельдшерах, ни о белом Чехословацком корпусе, но голову себе лишними вопросами не морочил. Лишний вопрос – лишняя морщина.

– Враг народа, значит, – буркнул он и выплюнул изо рта листики махорки, застрявшие между редкими зубами, похожими на прогнившие сапожные гвоздочки. Всех чужаков, хлынувших невесть откуда в Казахстан, где и без того дармоедов было полно, хитроумный Бахыт делил на два сорта – на врагов, сосланных в казахскую степь за всякие там преступления против власти, и на евреев, успевших вовремя улизнуть от кровопролитной войны и спрятаться от неё подальше. Такой расклад, суливший ему какие-то смутные преимущества, возвышал Бахыта, благодаренье Аллаху, не врага народа и не еврея, в собственных глазах, развязывал руки и позволял не миндальничать с чужаками. Тем более, что неприязнь к ним всячески подогревал своими речами и рассуждениями его бдительный сын – объездчик Кайербек, считавший всех пришлых, даже таких, как Иван Харин и его жена Анна, вредителями.

– Послушать тебя, Бахыт-ага, кроме тебя и твоего Кайербека, все – враги народа, – беззлобно огрызнулся чеченец.

– А что, разве Рымбаев врёт? – Бахыт иногда любил говорить о себе в третьем лице. Как бывалый охотник, он перед решающим выстрелом последний раз впился взглядом в цель и нажал на курок. – Понавезли сюда тысячи тысяч всяких. И во что степь превратили? В тюрьму.

– В этом не мы, Бахыт-ага, виноваты... Не мы. – И Шамиль тихо, неизвестно кому – то ли своему вышколенному рысаку, то ли молчаливому, сникшему Лёвке, то ли самому хозяину подворья – стал объяснять, что он, Шамиль, сюда по своей воле никогда бы не приехал и на Гюльнаре – как ни хороша она – не женился бы (Бахыт до того, как красавец-чеченец расписался с учительницей, ещё питал робкую надежду на то, что та не станет связывать свою судьбу с ссыльным, изменником родины, выйдет замуж за Кайербека), что никакой он не враг народа, а самый обыкновенный учитель математики, который до ссылки работал завучем в средней школе, в городе Назрани, где учил детей таблице умножения.

– Кстати, Бахыт-ага, ты хоть слышал, что это за таблица? Или прекрасно обходишься собственной: делишь чужое, умножаешь своё?

Старый охотник достал кисет, снова свернул козью ножку, сунул её в рот, чиркнул спичкой и, плясая на извивающийся, агонизирующий огонёк, тихо – тише, чем только что говорил Шамиль, – промолвил:

– Говоришь, это не вы виноваты... Тогда кто же, по-твоему?

– Он, – сказал ссыльный и провёл мизинцем по своим пышным ухоженным усам.

Бахыт сразу усёк, кого чеченец имеет ввиду, и быстро перевёл его жест на обычный язык:

– Сталин, что ли?

Шамиль испуганно заморгал глазами, непривычно крикнул и, пытаясь исправить свой промах, выдавил:

– Господь Бог.

– Бог? Но Бог не усатый, а бородатый.

– Ладно... – Шамиль долго не мог совладать со своей растерянностью. Надо же было, чёрт возьми, впустить усы! – Чем без толку препираться, лучше давай о девках поговорим. Приходи к нам, Бахыт-ага в клуб, у нас там по воскресеньям танцы. Иржи Карелович весь вечер на аккордеоне играет, – чеченец понемногу выровнял сломанный голос, и его речь, лишенная спадов и подъёмов, снова потекла гладко, словно они с Бахытом только что беседовали не о врагах народа и не о Сталине, а о сватовстве или отличниках художественной самодеятельности.

– Рымбаев не танцует, – твёрдо сказал старый охотник.

– Приходи, – не унимался Шамиль. – Мы тебе парочку подыщем... Хорошенькую украинку или ингушку... Есть у нас и немочки с Поволжья и даже гречаночки... Не вековать же тебе одному...

Бахыт слушал его, нетерпеливо оглядываясь на хату, но самозванец-лекарь, как нарочно, оттуда не торопился выходить – то ли лечил Розалию Соломоновну заговором, то ли гадал ей по руке, то ли просто рассказывал о своих злоключениях в молодости, когда служил фельдшером в Чехословацком корпусе в Сибири.

Переминался с ноги на ногу и Шамиль; беспокойно бил копытом его отполированный рысак, который недружелюбно косил перламутровым глазом на благодушного ишака, разгуливавшего вместо петуха с курами по унылому Бахытову подворью, – все ждали, когда из хаты выйдет лекарь и хиромант Иржи Карелович Прохазка.

Устроившись на частокоче, ждал чудодея и я, юный разведчик, как в шутку меня называла тётя Аня, которая после того, как ошпарила Кайербека, дала зарок никогда не переходить небезопасную для неё Бахытову границу, но всё-таки живо интересовалась тем, что там, за этой границей, происходит.

Болтая ногами, я делал вид, будто вышел во двор не подслушивать, а для того, чтобы только размяться и подышать воздухом.

Никто – ни пригорюнившийся Лёвка, ни черноглазый, недоверчивый Шамиль, ни Бахыт, куривший одну самокрутку за другой, – не обращали на меня внимания.

Я сидел на частокоче, прислушивался к разговору, и от всего услышанного не изощрённую в житейских передрягах душу охватывало знобкое смятение, а местечковый, не приученный к потрясениям и хитросплетениям новой жизни мозг – как ни тщился – не в состоянии был постичь, за какие, собственно, тяжкие проступки учителя математики Шамиля взяли и разлучили с его школой и родиной,

забрали накануне войны в сорок первом и сослали в незнакомый Казахстан. Что же он такое натворил? Разве те, кто учат детишек грамоте – чтению или счёту, – могут кому-то причинить вред? Я пытался представить себе такое в Йонаве: среди бела дня, на виду у всех учеников, прямо с урока ни за что, ни про что выводят нашего любимого классного руководителя Бальсера, увозят куда-то к чёрту на кулички и заставляют за тыщи вёрст от родного дома доить коров в хлюпающем от навозной жижи коровнике и возить на молокозавод тяжеленные бидоны. Пытался представить, но никак не мог.

Не укладывалось у меня в голове и всё то, что приключилось с этим фельдшером-аккордеонистом, напоминающим отцветший одуванчик: только дунь на него, и седины, обрамляющие под фетровой шляпой его пасторскую лысинку, тут же разлетятся пушинками во все стороны. В чём его вина? Почему вместо того, чтобы лечить больных, он по воскресеньям вынужден играть на танцах в колхозном клубе?

И уж совсем непонятно было, за что в этих снулых степных аулах всех новичков старожилы называли не иначе, как врагами народа. Бабушка Роха, например, врагами Израиля, как она цветисто выражалась, считала клопов и тараканов, которых безжалостно травила чем попало – кипятком, керосином, немецкой жидкостью, привезённой из Каунаса. Среди лютых врагов Израиля был только один-единственный человек в местечке – плотник Болеславас, горький пьяница и сквернослов, вопивший в подпитии на всю нашу Рыбацкую улицу: «Хриstopродавцы, вон из Литвы!». Когда я у домочадцев спрашивал, кто это такие, бабушка Роха с усмешкой односложно отвечала:

– Мы, миленький, мы.

Не знаю, как все остальные, но лично я никого в жизни не продал и никуда, ну, никуда из Литвы убраться не хотел...

Мне в Литве было хорошо.

В том обжитом, оставшемся за ледяными вершинами Алатау, в моём двенадцатилетнем мире, к счастью, правил не сквернослов Болеславас, а сама бабушка и Господь Бог. Там каждый день мне внушали, что без их ведома и благословения ни солнце не всходит, ни реки не текут, ни трава не зеленеет. Всё, что творилось на белом свете, происходило по их воле (Всевышний, и тот, видно, без помощи бабушки Рохи не очень справлялся). По их воле меня карали и миловали, выгоняли из дому и возвращали обратно...

По правде говоря, я и сейчас наперекор всему думал, что и тут, в этом колхозе, всеми делами правит не многожёнec-председатель Нурсултан Абаевич, а тоже Он, Господь Бог, хотя после смерти моей бабушки Рохи Вседержитель, конечно, осиротел и остался без помощницы. Я искренне верил, что Всевышний обязательно поможет Розалии Соломоновне выздороветь, и наверняка куда скорей, чем этот низкорослый, сухонький чех Прохазка. Ведь уж если обожаемый Лёвкой Сталин слушал Розалию Соломоновну и восхищался тем, как она играет на скрипке, то и Господь, наверно, не раз восторгался её замечательной игрой и оттуда, со своего небесного престола, аплодировал ей вместе со всеми ангелами.

Что с того, что на земле Его аплодисментов не слышно? Мало ли чего на земле не слышно?

Пока я думал о Боге, скрипнула дверь Бахытовой хаты, и из неё коlobberом выкатился Иржи Карелович, к которому первым подбежал не Лёвка, а искрящийся нетерпением Шамиль.

— Что, доктор, скажешь? — за всех спросил он Прохазку, самоchinно присвоив ему звание, о котором тот уже давно и мечтать перестал.

— Женщина нуждается в срочном стационарном лечении, — с грустью произнёс Иржи Карелович, продемонстрировав свои залежалые студенческие знания. — Есть опасность кровоизлияния, — добавил он, отыскал сочувственным взглядом Лёвку и подозвал к себе.

Гиндин медленно подошёл к фельдшеру-аккордеонисту.

— Сколько тебе? — спросил Прохазка.

— Четырнадцатый пошёл...

— Ты уже взрослый, — похвалил тот.

От комплимента Иржи Кареловича веяло прощальной лаской, и Лёвка, наверно, снова вспомнил о финке.

— Я с твоей мамой, — продолжал Иржи Карелович, повернувшись к Гиндину, — душу отвёл. Столько лет ни с кем, ей-Богу, ни с кем не говорил ни о Дворжаке, ни о Сметане. Господи, что это была за музыка! Что за музыка! Моя прабабушка Ганна была с ними знакома. Сметана, кажется, даже ухаживал за ней. Она меня и моего младшего брата Йошку через Карлов мост в Оперный театр водила... на его «Проданную невесту».

Прохазка вдруг забыл про всех: и про Розалию Соломоновну, которой грозило кровоизлияние в мозг; и про Лёвку, который испуганно пялился то на открытую дверь хаты, то на щебечущего лекаря и хироманта; и про Шамиля, который был больше озабочен своим промахом (намёком на Сталина), чем состоянием здоровья скрипачки; и про Бахыта, болотное молчанье которого только изредка нарушалось лягушачьим попыхиванием самокрутки.

— Что же, доктор, делать? — вернул наконец Иржи Кареловича с Карлова моста и из Оперного театра на захламленное Бахытово подворье Шамиль.

— Вопрос непростой, — вздохнул Прохазка и, ероша свои редкие седые волосы, скороговоркой принялся перечислять то, что сберёт в своей памяти с тех благословенных времён, когда он был студентом медицинского факультета Пражского университета. Из всех доступных в здешних условиях не аптечных средств, которые хоть как-то могли бы помочь бедной Розалии Соломоновне, он назвал отвар из таких диковинных трав, как боярышник, кровохлёбка, чемерица, пустырник, омёла. Их названия звучали непривычно витиевато и чуждо не только для слуха горожанина Лёвки, но и для выросшего в горном селении Шамиля и для Бахыта, ничего, кроме родного аула, до службы в конвойных войсках на дальнем Севере не видавшего.

— И всё? — разочарованно выдохнул Шамиль.

— Еще чесночок, — прибавил к этому перечню Иржи Карелович. — Неплох и отвар свекольный...

– Слава Богу! – воскликнул Шамиль. – Свеклы тут сколько хочешь... И чеснок в каждой хате найдется. Ведь найдётся, Бахытага? – желая подольститься к хозяину, промолвил чеченец.

– Для хорошего человека чесноку не жалко, – пробубнил старый охотник. – Только бы помог.

– Пиявки, конечно, лучше, – сказал Прохазка. – Отсосали бы кровь, и в сей момент бы ей полегалочко. Но где их сейчас возьмешь? Вокруг ни одного пруда. Одни высохшие арыки... Вот если бы их кто-нибудь из Джувалинска привёз...

Прохазка засуетился, нахлобучил помятую фетровую шляпу, перекинул через плечо свою дорожную сумку, направился было к рысаку, но возле Лёвки вдруг остановился, похлопал морщинистой рукой его по плечу и пробормотал:

– Держись, друже!

Шамиль подвёл к Иржи Кареловичу своего скакуна, помог ему усесться в седло и сам ловко вдел ногу в стремя.

– Я хотел бы вас ещё о чём-то спросить... – быстро заговорил Лёвка. – Можно?

Меня поразили бледность его лица и нерешительность. Никогда я не видел Гиндина таким беспомощным и с виду равнодушным. Казалось, всё, о чём только что говорил Иржи Карелович, не имело никакого отношения к его маме – ни эти травы с их причудливыми названиями, ни эти высасывающие кровь пиявки...

– Можно, можно, – вцепившись по-ребячьи в седло, зачистил сверху Прохазка.

– Она... не умрёт?..

– Не умрёт, мальчик.

– Меня Лёвкой зовут, – благодарно отозвался Гиндин.

– Не умрёт, Лёвка, – подтвердил Иржи Карелович и, когда в неприиспособленное для старости седло забрался Шамиль, заулыбался. – Мы с твоей мамой заключили договор. Как только она поправится, приедет в наш клуб и сыграет нам Сметану... Или Дворжака... И я снова... как в детстве... свободный и счастливый... пройду с прабабушкой Ганной по Карлову мосту...

Прохазка поперхнулся своими воспоминаниями, вытер крохотным кулачком слезящиеся глаза, Шамиль натянул поводья, и его послушный рысак молодцевато рванул вперёд, оставив позади воспрянувшего духом Лёвку, погруженного в молчание, как в трясины, Бахыта и юного разведчика, торчащего на частокле, словно глиняная крынка.

– Пиявки! – хмуро бросил вдогонку лихачу Шамилю Бахыт и не спеша направился мимо Лёвки к своей хате.

Не прошло и недели, как Гиндины остались одни.

К Бахыту, как это и бывало в конце короткого и безоблачного бабьего лета, прикатило районное начальство – военный комиссар и начальник отдела внутренних дел. Бывшего рядового Бахыта Рымбаева с ними, майором и подполковником, страстными любителями перепелиной охоты, свёл не кто-нибудь, а его сын-пролаза объездчик Кайербек. Старый Рымбаев был для них одновременно и прекрасным поводырем, и учителем, понаторевшим в охотничь-

ем промысле: он не только безошибочно знал места скопления этих чутких и девственно-пугливых птиц – убранные по осени бахчи, стерни на ячменных полях в ближних предгорьях, – но и не без умысла обучал высоких гостей, как, по его выражению, надо «руководить» своенравным беркутом.

Компания отправлялась на охоту с ночёвкой в степи, прихватив с собой снедь и водку. Бахыт горькой даже на Колыме не пил и перепелов не ел, всю добычу отдавал начальникам, которые потом выхвалялись перед своими подчиненными своей удачливостью.

Уехал Бахыт на рассвете, наказав страдавшей бессонницей Розалии Соломоновне никого в хату не пускать и, не сказав, куда и зачем едет, но по-старчески недовольному клёкоте беркута и по крику осёдланного, почуявшего запах далеких странствий ишака, жилища догадалась, что хозяин отправляется на охоту.

– Если бы ему, Женечка, самому нужны были лекарства, он бы их быстро раздобыл... пиявки, не пиявки – всё бы его дружки из-под земли достали и с фельдъегерем сюда доставили, – подытожила на следующий день за ужином все разговоры о Розалии Соломоновне тётя Аня. – Я с Нурсултаном поговорю. Его вызывают на бюро в Джувалинск. Там будет, наверно, и заврайздравом. Он у него что-нибудь от давления выклянчит... А пока давайте действовать сами. Сваришь ей, Женечка, свекольник... Чеснока туда крошишь...

Я слушал нашу хозяйку и чувствовал, как меня захлестывает какая-то благодарная и невыразимая грусть, мне было жалко всех на свете, и я с этой жалостью, подкрепленной нахлынувшими воспоминаниями, ничего не мог поделать; из неё, как из огромной и тёплой скорлупы, вылупливались столетние каштаны, шумевшие на ветру возле аптеки Левина, куда бабушка ходила со мной за глазными каплями; в аптеке было прохладно и устрашающе чисто, в ней дышалось свободно и легко, хотелось обязательно облачиться во всё белое – надеть белый халат, белую невесомую, как перистое облако, шапочку, и остаться жить среди этих пузырьков и склянок с микстурами, среди этих пакетиков и коробочек с порошками, среди этих застеклённых прилавков и полок, уставленных серебряными не обманными весами. У Левина по рецепту нашего местечкового доктора Рана можно было получить все лекарства за деньги и в долг. Выздоровеешь – отдашь, а не выздоровеешь – Господь Бог аптекаря за его доброту все равно когда-нибудь заплатит.

Моя жалость открывала стеклянную дверь с колокольчиком – динь-динь-динь, – осторожно входила в аптеку под каштанами, и аптекарь Левин, как будто только что спрыгнувший с облака, начинал рыться на полках и в выдвижных ящичках. Он пялился своими близорукими глазами на нееврейские названия лекарств и, стоя на стремянке, протягивал мне сверху и эту чемерицу, и этот пустырник, и эти пиявки...

– Это столько для твоей бабушки? – вопрошал он.

– Нет, – отвечала ему моя жалость. – Это для Розалии Соломоновны, скрипачки из Ленинграда. Ей сам Господь Бог аплодировал.

И аптекарь Левин, у которого жалости было не меньше, чем у

меня, провожая меня под трель дверного колокольчика до порога, сам напутственно вызванивал:

– Смотри – склянку по дороге не разбей!..

В моих жалостливых мыслях путь от аптеки Левина до Бахытовой хаты был короче иголки, и ничего на нём нельзя было разбить или рассыпать – ни склянку с пиявками, ни пустырник и чемерицу в белых кулёчках – всё, что несешь больному, непременно донесешь.

Но от варева, сдобренного чесноком, пользы было больше, чем от моей жалости.

Управившись в школе с полами и партами, мама, по совету нашей хозяйки – тётки Ани, сварила свекольник и в сумерках, боясь споткнуться о какую-нибудь рухлядь, понесла его в глиняном горшке Розалии Соломоновне. Будет у неё и завтра. Лёвка затопит печку и разогреет.

Я напросился тоже пойти к Гиндиным, и мама мне не отказала, решив, наверно, что так будет и проще, и теплей.

Щелкнул засов, Лёвка поздоровался с нами, и мы прошли в тёмные сени, заваленные, как двор, всяким барахлом, от которого шёл какой-то удушливый запах, как от тлеющего торфа.

Розалия Соломоновна и Лёвка жили в маленькой комнате, устланной шкурками зверьков, добытых безжалостным Бахытовым беркутом на охоте; под потолком висела засиженная мухами лампочка, похожая на яйцо трясогузки; голые стены украшала единственная фотография, вырванная из какого-то иллюстрированного журнала и почему-то изображавшая парад физкультурников на битком набитом стадионе, за шествием которых из ложи внимательно наблюдали Сталин и его верные, неспортивного вида соратники.

После нашего прихода Розалия Соломоновна словно преобразилась: медленно поднялась с постели; велела Лёвке принести вязаную кофту, которую привезла из Ленинграда и с тех пор ни разу не надевала; пригласила мою маму, стоявшую с горшком в руках, сесть за сколоченный из щербатых досок, накрытый выцветшей клеёнкой столик и, на ходу извиняясь за причинённые неудобства, направилась куда-то за посудой.

– Могла же мне сказать! – крикнул ей вслед Лёвка. – Ещё грохнешься в темноте.

Но Розалия Соломоновна не грохнулась.

Она ела свекольник медленно – в наступившей тишине было слышно, как она с какой-то ленцой и обреченностью зачерпывает ложкой своё лекарство.

– Я виновата перед вами, – сказала она моей маме, поев. – Так в Москву письмо насчёт вашего мужа и не написала.

– Ещё напишете, – утешила её моя мама. – Вы сейчас должны о себе думать...

– О себе – не умею... Чему человек не научился вначале, тому он – как его ни учи – и под конец не научится.

Голос Розалии Соломоновны звучал негромко, без всякого надрыва, с какой-то неприятной учительской назидательностью; иногда он замолкал, и тогда тишина в комнате сгущалась, как повидло, казалось, шаг шагнешь и увязнешь.

– Всё будет хорошо, всё будет хорошо, – бескорыстно приговаривала моя мама.

– У меня такой уверенности нет, – сказала Розалия Соломоновна. – Её у меня никогда не было... Только в одном человек может быть уверен.

– В чём? – простодушно спросила моя жизнелюбивая мама.

– В том, что умрёт.

– Мама! – вскрикнул Лёвка. Ему, видно, претила её откровенность, но Розалию Соломоновну уже трудно было остановить.

– Кто-нибудь из присутствующих со мной не согласен? – спросила она с вежливым презрением.

Все промолчали.

– Розалия Соломоновна... свекольника в горшочке на два дня... хватит и для Лёвы... – напонила моя мама и стала собираться.

– Спасибо... Спасибо... – встрепенулась скрипачка. – Куда вы спешите? Мы ведь как следует ещё не поговорили... посидите... – Гиндина была явно озадачена намерением гостьи уйти.

– Я завтра приду, – промолвила мама. – Покой лечит...

– Как говорил мой дед, лучше всего лечит могила...

Мы уходили от Лёвки с тяжёлым сердцем.

Назавтра мама пошла к Розалии Соломоновне одна.

Когда мама вернулась, я оторвался от листа, испещренного неподатливыми арифметическими задачками, и впери в неё измученный напрасными стараниями взгляд.

– Ей лучше?

– Может, чуточку... Но все равно говорит о том же... о своих детях.

– О детях?! У неё же только один – Лёвка...

– Лёвка и... скрипка... Послушаешь её и сразу не поймешь, кто из них ей дороже. «Не оставьте их на Бахыта, не оставьте!..» Она не отпускала, пока слова с меня не взяла... Я не выдержала и пообещала.

Я слушал её, разинув рот, и не верил своим ушам. Если Розалия Соломоновна и впрямь не выкарабкается из болезни, то Лёвка может стать моим старшим братом? Где же мы все будем жить? У тётки Ани? Два кавалера Зойки под одной крышей? Чепуха! Чушь собачья! Да Харина больше ни одного беженца на порог не пустит – спасибо, что ещё нас не выгнала.

– Будем с тобой молиться, – сказала мама.

– За что?

– За то, чтобы у тебя был отец, а у Лёвки и у скрипки – мама... Розалия Соломоновна... У Бога, говорят, закладывает уши, когда молишься только за себя. А когда и за других, Он растопыривает глаза и наостряет уши.

Может, оттого что мама говорила на идише и в голосе у неё журчало ничем не стесненное сострадание, а в глазах стояли молитвенные слёзы, Господь Бог, не давая им напрасно пролиться растопыривал глаза и наострял уши...

Михаил Зив

ЗАРИСОВКИ НА ПЛЕНЭРЕ

* * *

Среди растений, коим нет имен,
Токует внеземной магнитофон,
Ночные птицы путаются в кличках,
И жизни тьму прикуривает сон,
И пальцы просьбы путаются в спичках. —

В чужих обидах и чужих телах.
И море шумно пьется на паях
Неузнанного телонахождения,
Разучивая в сорных спорах трав
Любить иноязычные селенья.

Благоухают страшно города,
Томит работа, потчует вода
Отважных путешественников Свифта,
Где и любовь почти уже беда
И смертная понюшка эвкалипта —

Всей жизнью в безысходном языке,
Где легкие от боли налегке
Судьбу вдыхают с прахом мерзлых вотчин
На той земле, что держит на руке
Перед Очами не Отец, но Отчим.

* * *

День склоняется к концу,
Ходит краской по лицу,
С чем-то возится на кухне.
Как-то двор с домами пухнет
И спезит в листве слюнцу.

Телевизоры бубнят
По квартирам. Есть хотят
С перепугу домочадцы.
Ни за что нельзя ручаться,
Каждый шорох невпопад.

Вроде, тишь, – а кутерьма.
Столько нас – а всех нема!
Вроде, жизнь, – а столько муки!
И нализирует руки,
Руки-крюки в нашей скуке
Сквозняком с балкона тьма.

* * *

Сигнальная полночь. Война на разрыв.
И ночь Тель-Авива ретортой.
С шипением возится твой реактив
И ночь промышляет аортой.

Алхимик, готовишь гремучую смесь?
Сигналишь о некоем итоге?
О как непосильно безмолвие здесь,
А ты не попросишь подмоги.

Будь пришлым – в ладони огонь разломи.
Будь нежным – удвойся, утройся,
И, пав по-геройски в лежанку костями,
Единственной жизнью укройся.

Устройся навек, ни о чем не просив,
Запутавшись в собственных лапах.
Сигналит огнями Большой Тель-Авив,
Утоп в олеандровый запах.

* * *

Ну а он поет, тот атом,
Из пучин да без причин...
Так на севере крылатом
Тишину трамвай точил,

В толще вечного ликбеза
Пел на стыках, вился в мир, –
Весь из красного железа,
Только зов его – сапфир.

Может, суть-причина мира
Не его большой объем,
Не про то взыскует лира,
Меря локтем водоем.

Может, суть-причина мира –
Радость с жалостью вдвоем.

ЯФФА

Там, где синего кофе разлито арабское море,
И по скулам горы сонно бродят кустов желваки,
Под ресницами пальмы тенистое время егоря,
Карамельного Яффо в пыли набросали куски.

Проживая сандаль, ходит Гога на завтрак к Магоге,
И разинутый крик совмещает с окном тишина,
Овцепризнанный Бог отдыхает в мозгу синагоги,
Сероватого зноя стекает из камня слюна.

В голубиной тени и под слизистой смерти волшебной
Квохчет голубем гром, а внизу телепается краб,
И на рынке халвой и молвой, и холщовым молебном,
Наторевший на вечности, полдень скупает араб.

Перекинуть бы трап в овценокосную правду за сходство
Среди краденых джинсов в пестрявом, писклявом ряду,
Где сопящих мечетей трехтрубно плывет пароходство,
И рыдает изжога в фалафельном терпком чаду.

Где усопший фонтан – слепок выцветшей пригоршни в небе
Иль с копыта султана, пройдохи по нашим сердцам,
Словно влюбчивый серп, ятаган рассекает молебен,
И "узи" шелушится лузгой по горам, как пацан.

Набери телефон, позвони же в пастушечий офис,
Где в овчине любви изнывает от скуки полпред! –
Так матросится суша, в хамсиновой мгле папирорсы,
За кофейной душой все гоняется велосипед.

* * *

Время кажется большим,
Сердце кажется влюбленным, –
Так и пишутся в нажим
Цифры века удивленным.

Словно Божье Слово, мим
Взял и вылез вынес на подмостки
Гор, где ждет Иерусалим
Сбросить времени обноски.

Где вселенская беда –
Краткость полуподготовки –

То ли клацает вода,
То ли цыкают винтовки,

То ли цокают цикад,
Время щупая, копытца,
И целуются в ЦК
Мышцы лиц без права сбыться.

ОСЕНЬЮ

И в каждой собаке, что мчит по аллее
И пар оставляет от лая,
Другая собака внутри леденеет,
Себя по следам рассыпая.

И в каждом стволе – раздвоение стволье,
Как в зданьях – лишь косточка зданья,
И хочется веки прикрыть от безбожья
И горло спасти от незнанья.

За стылость, которой оцеплена суша,
Зеленые сияясь узлы шить
Пространства пустого – не видеть! не слушать!
Исчезнув – увидеть! услышать!

* * *

Я живу в Финикии, где пальмы вразбег,
Где хрустят небоскребы у неба в подсобке,
А меж пыльных дворов осыпается век,
И на квиш Аялон не кончаются пробки.

Я живу в Финикии по календарю,
По которому будто судьбу объегорю,
И не знаю, кому эту хитрость дарю,
И не ведаю, с кем я о море поспорю.

Я живу в Финикии у желтой реки,
Нет, у желтой пустыни, утопленной в Лете,
С отвращеньем читаю свои черепки,
Что сквозь нети в неловчем пройдут Интернете.

Так как принтер поет с полувздоха листа
На ненужном наречье забывчивой речи.
Я живу в Финикии. Еще до Него.
И беспомощно знаю, что все мы предтечи.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИНЫ

Пролетает самолет,
Бледный, рыбий свой живот
Проноса над крышей,
Переходит крыши вброд,
Как ревет, не слышит.

Как стаканы дребезжат,
Петухи вовсю бранят
Невиновных куриц
И мужчины тьмой басят
На плечах невольниц.

Самый маленький мужчин,
Выбегая из личин,
Выл в своей личинке. —
"Спи же, маленький мой чин, —
Смерть твоя в починке".

ВЕСЕННИЙ ИЕРУСАЛИМ

(избранные главы)

1

В любом клочке земли спеленут мощный план,
Но к ране каменной, лаская оттиск жаркий,
Приписан вдруг невзрачный Иордан
И поводом связующего дан
В слепительно разомкнутые арки,

Где овчие сохнутовы подарки
Глядят в гляделки окон Божьих дач,
Расположив по склонам иномарки
Победных вопиющих неудач,
И ходит харедим — он аист, а не грач, —
И арки пьют, ослепнув, холод маркий, —
В любом клочке земли спеленут мощный плач.

2

Какое заблужденье наяву!
Средь желтых гор какое заблужденье!
А, может быть, и я переплыву
Слепую точку телонахождения —

И зной, что холодеет налету,
И лед, что оплавляется средь камня,

И борющуюся немоту
С той синью – с той, что иссуше близка мне!

С той синью, что гудит от полноты
Времен и царств, чья вечность поправима,
Где галчьих букв испуганные рты
На сахарной дуге Иерусалима.

4

Галчишницу галутных площадей,
Замшелый абажурный гоголь-моголь, –
Переводи же в сахарный свой модуль,
И в новый раз о пришедших порадей!

И в новый раз о пришедших пропоет
Твоя весна, тогда как мы оттуда,
Где цель выводят в ябеде забот,
Умышленно рассчитанной на чудо.

Со стороны нам, видимо, вольней
Ворваться в знание, где галчатник буквы
Кричит о несовместности вещей,
Расшвыривая пейсы или букли.

Медноплавильно нависает зной,
И сахарной дугой саднит, взбираясь в небо
Галчащий хор обиды мировой,
Выучивая истину placebo.

5

Мелькают бабьи локти харидим, –
Куриное, живи хоть, исподлобья! –
О бедуинов Иерусалим,
Умышленное вслух правдоподобье!

О чем? – О том, когда приводишь в стан
О том о сем хор страждущих и прятких,
Проевших до изнанки зубы стран
В пульпитных и светящихся кибитках,

С каких-нибудь Житомирщ и Мещер,
На то на се и нас ведя на выпас.
Что кариес небес зияет гнев пещер
Среди резцов Гилель или Агрипас.

Про то про все – где балуют, где бьют,
А где на поводке выводят в Кнессет,
Где водят Аводой и вспячь влекут в Ликуд,
Где ничего История не весит.

11

Как песья песнь, арабская весна. –
Ты не ясна? Но есть галчатник буквы,
И грач-хасид, и сызнова Стена,
И улочки – каблук скосили вдруг вы!

Воздерни горло, Иерусалим!
Ты не один? – О нет, я Нелюдим. –
А я людим? Никем людимым не был!
Под черны локти в крылья харидим
Гортанью проторчи, общо сливаясь с небом!

Нам кроме мира не к кому войти,
Когда скучает гибель взаперти,
Но не дается ябеда на вынос,
Как песья песнь сквозь синий жар пути,
Клубясь песком, судьбою бедуинясь.

13

В любом клочке земли спеленут общий плач,
Развернутый, как лестницы и спуски
Среди холмов, сошедшихся по-русски
На синий день пить пламенный первач.

Скажу и я: Первопричина – в сгустке.
В любом клочке земли спеленут мощный плен,
Где плач для плеч и бегство для колен,
В котором спят этруски до этруски.

И тысячи других, ухваченных за блузки,
За шаровары битв, холмам застрявшим в трал,
За ворот городов, ворочающих гузки,
Где целятся в надгорный ареал
В извилинах земли привставшие моллюски
Головоногих нот, карабкаясь в хорал.

В любом клочке земли клубится этот план
На улицах, чьи родины не носки,
И ты глядишь на них сквозь выбранный рапан,
Когда был пан, так пал в момент закуски,
Где маски от любви, как туюски для ласки,
Где пламень пьют, нуждаясь в перегрузке,
Сгибая для других нагорный нотный стан. –

На улицах, чьи сноски нам к устам,
И плюсны стен в автобусной побаске
По бусинкам любви к рапановым пластам.

Цецкић Каџић

ИЛАФ ИЛПУНДЭ

Рассказ

Когда-то, когда каникулы тянулись целое лето, и рыжее солнце рисовало веснушки на наших лицах, а после праздника Суккот ветер свистом созывал свою банду – скопище черных туч, и мы под грохот грозы со всех ног неслись по дну вادي домой, и колючий дождь прокалывал высунутый язык вкусом ментола и сосен, и окрестные собаки соревновались, которая тьякнет громче – прямо как солидные дяденьки, откашливающиеся в антракте концерта, – и когда вдруг наваливалась весна с ее кошачьими воплями и оглушающим цветением лимонов, и вновь душил летний суховец, и воздух в автобусе делался тяжелым и неподвижным, но мы соглашались уступить место только госпоже Белле Блюм с почты, опасной похитительнице детей с узкими очками на кончике остренького носа, заточенного наподобие красного карандаша, прокрадывавшейся по ночам к нашим постелям с седыми растрепанными волосами, какие бывают только у опасных похитительниц детей, тянувшей к нам с приторной хищной улыбкой свои сухие скрюченные пальцы – разве что отдав ей все наши марки, мы могли кое-как умиловить ее и спастись, или жарко помолвившись Богу, нарядившемуся клоуном: в огромнейшие башмаки и широкие клетчатые, белые с красным, штаны, – и с трудом удерживающему равновесие на туго натянутом канате под синим матерчатым куполом венгерского цирка, а потом превращавшемуся в слона и поворачивавшему к нам свой огромный морщинистый зад, чтобы уйти ужинать...

Когда весь мир казался оранжевым сквозь прохладную сверкающую вазу, стоявшую на буфете в гостиной и, верно, исчезающую вместе с остальной мебелью в тот миг, как мы выходили из комнаты, – мы приникали к замочной скважине, чтобы узнать, там ли еще они, но, возможно, они видели, что мы подглядываем, и скоренько возвращались. Когда в гараже под супермаркетом скрывалась банда опасных преступников, которую могли выследить и разоблачить только Эмиль и ты, поскольку было ясно, что ты обязательно сделаешься знаменитым сыщиком, таким, о которых пишут книги, а я стану твоей помощницей, и мы упражнялись в тайнописи – чернилами из лука, – нагревали записку над пламенем свечи, чтобы крепко-накрепко закрепить написанное, и научались глотать ее, чтобы она не попала в руки врага, и еще проводили всякие другие тренировки: самообороны и невыдачи тайны даже под пытками – даже если нас будут привязывать к кровати и подносить к пальцам ног горящие спички, – и составляли яды из черной земли, прелых листьев и давленных колосков, и хранили их в

баночках из-под простокваши, на которых изображали череп и две скрещенные кости, и прятали в надежный тайник вместе с остальными нашими сокровищами...

Когда летние каникулы продолжались все лето, и весь мир был оранжевым, и все было возможным, все могло произойти, и дядя Альфред еще был жив и приходил пить чай, а бабушка с дедушкой отправлялись отдыхать после обеда – с двух до четырех – и оставляли в наше распоряжение все время на свете, все безмерно-бесконечное время, и мы прокрадывались по скрипучей деревянной лестнице позади дома в нашу комнатку на чердаке, наш главный штаб, и стояли у окошка, из которого можно было видеть кладбище и море за ним, тогда... Тогда ты коснулся однажды кончиками пальцев моего лица и сказал, что любишь меня.

Теперь же мы, родственники, собрались опечаленные, как перед долгим расставанием на аэродроме, и на черном табло здешних взлетов и посадок мелом написано: два ноль-ноль, Аарон Грин, последнее прощание. Я смотрю на женщину, которая сидит на каменной скамье возле тебя – фиолетовая соломенная шляпа затеняет ее глаза и превращает рот в виноградину, а солнце выдавливает два светлых ножа вдоль загорелых икр, – затем подхожу к вам, снимаю солнечные очки и тихо говорю: здравствуй. Ты поднимаешься и произносишь поспешно: познакомьтесь – моя жена, моя кузина. И я различаю блеск кольца и белые зубы под тенью от шляпы, касаюсь мягкой руки со слишком длинными пальцами и повторяю: здравствуйте. Прислужники смерти усердны, как ангелы, в своих белых нарукавниках, лица их бородаты и потны, они уже волокут на носилках тело, съездившееся под темной пыльной тканью, голова почти касается толстого черного зада первого ангела, а ноги болтаются у расстегнутой ширинки второго. Ледяной ветер свищет у меня в груди – как тогда, – я требую ответа в твоих глазах, хоть малого воспоминания, но ты не видишь, не замечаешь, ты опускаешь глаза к ней, обхватываешь пальцами ее руку, поддерживаешь ее, и мои глаза, глаза сыщика, останавливаются, застывают на ее кругленьком животике, выпирающем из-под цветастого платья, и видят внутри его всех твоих детей, зарытых тобой позади дома, в роще, во время летних каникул между седьмым и восьмым классом, в первый день которых дедушка, как и каждый год, приехал забрать меня из дому на своей старенькой черной машине – с Мишей, его личным шофером, ради меня напялившим на голову белую фуражку и улыбающимся во весь свой рот с золотым зубом. Миша укладывал мой красный чемодан в багажник и распахивал передо мной заднюю дверцу, салютуя и подмигивая, и мы ехали забрать тебя с железнодорожной станции, что возле порта. По дороге я просовывала голову между ним и дедушкой и снова просила рассказать, как он играл перед югославским королем, а Миша вздыхал и говорил: это было давно, но я помню все, как будто это случилось вчера. Я был тогда мальчиком, лет девять мне было, может, десять, я лучше всех в нашей школе трубил в горн, и однажды мне принесли синий костюм с золотыми пуговицами, галстук, чулки до колена и фуражку, и велели

надеть это все, и поставили меня возле знамени, и сказали: ты будешь трубить! И я трубил – звонко и замечательно красиво, – и принц Павел вошел, стяг взвился на вершину мачты, и мой горн сверкал на солнце, и золотые пуговицы тоже – кто бы поверил, дружок, что маленький еврейский мальчик может играть вот так, трубить в горн в присутствии самого короля! Принц подошел ко мне, погладил по голове и спросил: как тебя зовут? Я сказал ему: Миша. И мама тоже стояла там и рыдала так, что едва не лишилась чувств, хорошо, что успели подхватить ее, а то бы она упала, и тогда отец сказал ей: теперь я рад, что он у нас есть. Потому что вначале он вообще меня не хотел. Они просто поехали в Австрию отдохнуть, а когда вернулись, мама объявила: я беременна. А папа сказал ей: достаточно пятерых, сделай аборт. Но мама моя была ужасно упрямая женщина, прямо как мать Альберта Эйнштейна, его отец тоже ведь не хотел его, и к тому же он плохо учился в школе, преподаватели вызывали отца, и отец сказал ему: Альберт! Тебе уже семнадцать, ты не ребенок, что с тобой будет? Но в двадцать шесть он встречался с Лениным и с Черчиллем, показывал им теорию относительности, было много шума, он стал ужасно знаменит во всем мире, поэтому, когда я слышу про аборт, я всегда говорю: кто знает, что может выйти из этого ребенка, зачем убивать человека? В этом месте Миша вздыхал и закуривал. Издали уже можно было различить большие часы над железнодорожным вокзалом, без пяти девять мы подъезжали. Мы с дедушкой выходили на перрон, а Миша оставался ждать в машине. Два носильщика в серых фуражках опирались на ржавые тележки, поглядывали время от времени друг на друга дремотными полузакрытыми глазами и курили вонючие папироски, которые доставали из желтых пачек с нарисованными на них черными конями. От ужасного волнения я начинала ужасно хотеть пипи и перескакивала с ноги на ногу. В девять ровно раздавался долгий радостный гудок паровоза, тянувшего за собой пять лязгающих и грохочущих вагонов. Носильщики пробуждались от сна, затапывали папироски громадными тяжелыми бутсами и принимались носить вдоль перрона взад-вперед, выкрикивая: багаж! багаж! Я силилась отыскать свое лицо среди сотен уродливых расплоснутых физиономий, прилипших к вагонным стеклам. И тут с шипением раздвигались двери, ты спрыгивал – всегда первым, в коротеньких джинсах, какие были тогда на всех детях, зеленой рубашке с фирменными знаками на карманах, какие имелись лишь у немногих, и клетчатой кепке, как у сыщиков, которую тебе привезли из Англии и какой не было больше ни у одного мальчишки, стоял возле черного чемодана твоего отца и поглядывал по сторонам прищуренными глазами – две зеленые щелки под светлыми растрепанными волосами, – и я снова чувствовала сладкую боль между горлом и животом, от которой у меня перехватывало дыхание и которая являлась всякий раз, как только я видела тебя или когда думала о тебе, и я кричала: вот Ули! Вот Ули! И бежала к тебе, и тогда ты тоже видел меня, и улыбался, мы изо всех сил обнимались, дедушка подходил, трепал тебя по плечу и говорил: как ты вырос,

Шауль! И уже не подымал, как раньше, твоего чемодана, потому что тебе уже было тринадцать с половиной и ты был сильнее его. Ты клал свой черный чемодан в багажник рядом с моим красным. И Миша отвозил нас в дедушкину контору на улице Герцля, все стены которой были увешаны большими блестящими видами страны с уймой синего цвета: Кинерет и Мертвое море, Рош а-Никра и Эйлат, – и везде были санатории и дома отдыха, и правительство платило дедушке, чтобы он посылал туда уцелевших от Катастрофы, и я всегда представляла себе, как они прибывают в поездах, в своих таких смешных пальто и шапках, из-под которых выглядывают желтые и печальные лица, как на тех картинках, которые нам показывали в классе в День Катастрофы и героизма, и выстраиваются там в длинную очередь со всеми своими потрепанными чемоданами, перевязанными веревками, и каждый в свой черед заходит и снимает пальто и шапку и получает вместо них цветной купальник или плавки и панамку оранжевого цвета, и усаживается на солнышке в шезлонг, и они купаются в море, и много-много едят, быстро выздоравливают, и через неделю уже становятся толстые и загорелые, смеются и улыбаются, как люди на рекламных щитах, и тогда их отправляют домой, потому что прибыли новые поезда с новыми уцелевшими от Катастрофы, которые тоже дожидаются своей очереди. Но однажды в субботу мы поехали с дедушкой и бабушкой и еще с кем-то «с ревизией» в одно из таких мест, носившее название «Городок отдыха Рош а-Никра», и при входе в него не оказалось никакой очереди и никаких уцелевших, и вообще невозможно было догадаться, кто здесь пережил Катастрофу, а кто просто обычный человек, поскольку у всех были толстые отвислые животы и никто не выглядел особенно печальным, все плавали в бассейне и жевали бутерброды с повидлом, громко разговаривали и играли в бинго. И тогда мы придумали способ проверить, кто тут и в правду уцелевший, но у меня не хватило духу, я только издали смотрела, как ты проходишь по траве возле бассейна между шезлонгами и шепчешь каждому на ухо: Гитлер! Я видела, что большая часть отдыхающих вообще не откликалась и ничего не делала, некоторые только открывали глаза и смотрели с удивлением, будто очнулись от сна и еще не успели припомнить, где они находятся, и тут же снова закрывали глаза и продолжали дремать, и только один, огромный и толстый, с густыми черными волосами на груди и на спине, похожий на огромную гориллу, вскочил и погнался за тобой вдоль всего газона, пыхтя, словно паровоз, и тяжело дыша, глаза его были огромными и красными, как фары паровоза, он поймал тебя и вlepил тебе затрещину, потом сгреб тебя в охапку и долго трепал, и отрывисто выкрикивал, будто лаял: поганец, паскудник, холера! Паскудник, холера! Ты вернулся ко мне с горящими ушами, но не собирался реветь, а сказал, что нисколько не больно, только с тех пор, всякий раз, как упоминали Гитлера – в классе или по телевизору, – я представляла себе вместо настоящего Гитлера с его чепочкой и усиками именно того гориллу из дома отдыха.

В полдень мы спустились, как всегда в первый день каникул,

обедать в «Погребок Бальфура», и тощий длинный официант, похожий на профессора, – дедушка рассказывал нам, что много лет назад он и в самом деле был профессором в Берлине, – в очках в серебряной оправе, и с бородкой такого же цвета, и с черным галстуком-бабочкой, отвешивал нам учтивый поклон, поскольку дедушка был здесь постоянным посетителем, и отодвигал стулья, чтобы нам удобнее было сесть, и скоренько раскладывал перед нами меню, и спрашивал: что для вас, герр Грин? Хотя знал, что дедушка заказывает всегда одно и то же: жаркое, картофельное пюре с квашеной капустой и гроздь лилового винограда на сладкое. Посетители за соседними столиками тоже были знакомы с нами, улыбались и приветливо махали в нашу сторону беленькими салфетками, а я все время, пока ела, глядела на двух поварят, вырезанных из дерева и подвешенных на стенке, с высокими колпаками, длинными фартуками и черными усами, закрученными вверх, как две дополнительные улыбки над розовыми улыбающимися ртами, и они глядели на меня в ответ, опираясь на половинку бочки, выступающей из стены и наполненной – в этом я была уверена – очень-очень вкусной квашеной капустой, такой же, как у меня на тарелке. И ты однажды сказал мне, что тут, прямо под нами, есть подземелье, таинственный грот, из-за которого эта столовая и называется «Погребок Бальфура», и в этом подземелье стоит множество точно таких же бочек с квашеной капустой, которой может хватить на сколько угодно времени, если вдруг еще раз будет Катастрофа, и тогда вошел продавец газет, прихрамывая на одну ногу, в серой грязной и мокрой от пота майке, и стал кричать: «Маарив», идиот! «Маарив», идиот! Кто хочет вечернюю газету?», пока все пространство столовой не наполнилось его прокислым дыханием. Дедушка подозвал его знаком, он подошел к нашему столику и протянул газету своей черной грязной ручищей, и дедушка заплатил ему двадцать грошей, хотя возле самого входа в столовую был чистенький киоск, в котором продавали и газеты, и лимонад-шипучку, и мороженое. Потом мы ехали мимо Золотого купола домой по шоссе, петлявшему по склону горы, с которой можно было видеть весь залив, и дурачились на заднем сидении, играли в «тяни-толкай», боролись, толкались и пихались, визжали и вопили, выкрикивали имена друг друга, и дедушка вдруг обернулся и сказал тихо и очень серьезно: не деритесь, дети, люди должны только любить и жалеть друг друга, потому что в конце мы все умрем. Мы не поняли, что он имеет в виду, но затихли, а Миша подмигнул нам в зеркальце и стал рассказывать про Луи Армстронга, самого великого саксофониста, с самыми огромными и глубокими легкими, и про то, что когда у Бетти Грейбл, у которой были самые во всем Голливуде красивые ноги, обнаружили рак, Армстронг пришел к ней в больницу со всем своим оркестром, чтобы сыграть под ее окном на газоне. Потом мы приехали домой, и бабушка открыла дверь – как всегда со своей строгой прической: косой, уложенной на затылке, – и клюнула каждого из нас в щеку, и сказала: теперь *шлаф штундэ*! Это «*шлаф штундэ*» всегда казалось мне названием какого-то торта, вроде ее шварцвальд кирш-

торт, или захер-торт, или апфель-штрудель, которые она пекла из-за того, что они напоминали ей ее прежний дом где-то там, не в Израиле, и уютные душистые кафе, когда снаружи холодно и идет снег, но доктор Шмидт ни в коем случае не разрешал ей их есть, поскольку у нее был сахар в крови, очень опасный для сердца. Поэтому она пекла только для нас, и угощала дядю Альфреда и дедушку, который всегда отказывался: спасибо, не стоит, – ни за что не соглашался попробовать даже самый маленький кусочек, хотя был совершенно здоров. Но иногда, когда дедушка выходил проводить дядю Альфреда до ворот, бабушка отрезала себе тонюсенький ломтик и съедала его, быстренько откусывая и низко сгибаясь над тарелочкой, и дедушка возвращался и молча стоял в дверях, нежно глядя на ее согнутую спину и дожидаясь, чтобы она кончила есть, и лишь тогда заходил в гостиную и усаживался с газетой, делая вид, что ничего не заметил. Потом они уходили в свою комнату, а мы бежали в рощу позади дома и потуже натягивали веревку между двумя соснами, и пытались ходить по ней, балансируя, как тот клоун, которого однажды видели, когда были маленькие и дедушка взял нас в венгерский цирк (на площади Парижа) и в котором были великолепные статные лошади и желтоглазые тигры, и дрессированные слоны, и красавица-жонглерша с длинными светлыми волосами и личиком ангела, которая тоже танцевала на канате с оранжевым зонтиком в руке, и мы решили, что обязательно сбежим из дому и присоединимся к цирковой труппе – как только выучимся чему-нибудь такому, но пока что освоили только шаг хамелеона, который, как ты мне объяснил, тоже важно знать на случай, если потребуется проходить над водой. Потом мы вскарабкивались наверх, в наш разведывательный штаб под крышей, который иногда оказывался также убежищем Анны Франк, и сжимались, дрожа от страха, под столом, и жевали картофельные очистки, и называли друг друга Анна и Питер, и слышали снаружи голоса немецких солдат, и ныряли в спасительное лоно дивана, обитого зеленым плюшем, – бабушка привезла его с собой, когда приплыла на корабле откуда-то оттуда, но со временем один из деревянных подлокотников отвалился, для гостиной купили новый диван, а этот перетащили сюда, потому что жалко ведь выкидывать такую хорошую вещь, – и ты вдруг сказал однажды задумчивым голосом: интересно, что чувствуют, когда умрут? А я сказала: когда умрут, ничего не чувствуют. И мы попробовали крепко-крепко зажмурить глаза, и заткнуть уши, и не дышать, чтобы быть как будто мертвые, но у нас ничего не вышло, потому что даже сквозь закрытые веки мы видели свет и разные силуэты, и ты сказал: может, до тех пор, пока мы состаримся, изобретут лекарство против смерти. А я сказала: вдруг ты станешь ученым и сам придумаешь такое лекарство, и сделаешься знаменитым, как Альберт Эйнштейн. Потом мы стали играть в эту игру: писать пальцем на спине друг у дружки и отгадывать слова. Сначала мы писали названия цветов: нарцисс, тюльпан, анемон, – и животных: пантера, гиппопотам, – и имена людей, которых мы знали, но потом ты сказал, что тебе надоело, и что трудно угадывать, потому что ме-

шают рубашки, и тогда я скинула свою и легла на живот, лицом в запах пыли, духов и табака, которые успели впитаться в обивку еще там, внизу, и почувствовала, как ты потихоньку выводишь у меня на спине слова, которые мы никогда не смели произнести вслух: зэ, а, дэ, потом: гэ, эр, у, дэ, и, а потом: пэ, эр, о, эс, тэ, и, тэ, у, тэ, ка, а. Я отгадывала, что написано, и шептала глухим голосом, и чувствовала, уткнувшись в подушки дивана, как пылает мое лицо и как соски, которые только недавно начали у меня набухать, затвердели и вдавились в плюшевую обивку.

Каждый день после обеда дедушка и бабушка выходили из своей спальни с порозовевшими щеками, помолодевшие на двадцать лет, и в пять ровно являлся дядя Альфред, про которого мы так никогда толком и не поняли, с какой же стороны он доводится нам родственником, не исключено, что он был бабушкиным троюродным братом, но рот ее вытягивался в тоненькую ниточку всякий раз, как только поминали его имя, а дедушка сердито бурчал: бездельник! Мы не знали, за что они его не любят: то ли за то, что он такой бедный, то ли за то, что он пытался однажды стать оперным певцом в Париже, то ли по какой-то другой причине, о которой мы не могли даже догадываться, – и, главное, почему несмотря на это все, все-таки радушно принимают его, и бабушка угощает его чаем со своими тортами, и он пьет чай и есть торты, и причмокивает своими толстыми красными губами, и вновь и вновь рассказывает, – и глаза его при этом влажнеют от тоски, – как он был студентом консерватории в Париже, и жил в крошечной каморке в мансарде, без душа и без туалета, на площади Республики, и питался в день половинкой багета, намазанного маслом, но каждый вечер – ровно в семь часов – надевал свой единственный выходной костюм и галстук-бабочку, душил щеки одеколоном и отправлялся в оперу. Там он стоял под украшенными цветами и ярко освещенными арками и ловил отдельные звуки, выпархивавшие в открытые оконца и ласкавшие статуи муз и карнизы с ангелами. И как в антракте каким-то образом ухитрялся смешаться с публикой и проникнуть внутрь, поскольку билетов уже не спрашивали, отыскивал свободное местечко в одном из верхних ярусов, и так, с разрывающимся от восторга, рыдающим и влажным, как скомканный носовой платок, раненым сердцем слушал последние акты самых известных в мире опер. Тут дядя Альфред обычно вставал и начинал раскачиваться, как Ванька-встанька, из стороны в сторону, обхватывал своими толстыми пальцами спинку кресла и разражался арией из «Риголетто», или из «Травиаты», или из «Женитьбы Фигаро» – голос его был густым, душистым и сладким, как тот чай, что он только что пил, и лишь перед самым концом начинал скрежетать и скрипеть, будто им водят по стеклу, – тонкие руки бабушки спешили хлопнуть несколько раз друг об дружку, а дедушка опускал взгляд на четырехугольник ковра и смущенно бормотал: bravo, bravo!.. Мы не знали, по какой причине дядю Альфреда выгнали из консерватории и почему он не сделался великим певцом в парижской опере, а бабушка ни за что не соглашалась посвятить нас в эту тайну и только еще сильнее сжимала тонкие губы, как будто

стоило ей на секундочку разжать рот, как оттуда выскочит громадная страшная лягушка. Дядя Альфред садился и вздыхал, и вытирал свой яркий, как клубника, нос мятым платком, который вытаскивал из левого кармана пиджака, затем протягивал нам руки, приглашая нас оседлать с двух сторон спинку кресла, и придерживал нас, обхватив за бедра, и принимался рассказывать про кафе Монпарнаса и Монматра, служившие местом встреч писателей, артистов и студентов, и изо рта у него вылетали странные, прекрасно звучащие имена, каких я прежде не слышала нигде: Сартр и Симона де-Бовуар, Кокто и Сати, Пикассо, и тут он гладил тебя по волосам и говорил: ты тоже будешь когда-нибудь художником. И вел свою ладонь дальше, по твоей шее и спине, прибавляя: или писателем. А затем перемещал пухлую белую руку на твою ногу, торчавшую из-под коротеньких джинсов, уточняя: или музыкантом. И продолжал барабанить пальцами по твоему голому гладкому колену, будто играл на рояле, а мне никогда не говорил ни слова. Он не мог знать, что однажды в душный и трепещущий полдень самой середины лета мы будем стоять здесь, на старом кладбище у подножья Кармеля, оборотившись смущенными спинами к его памятнику, на котором позолоченными буквами – по его желанию, – будут выбиты слова китайского поэта, на которые Малер написал свою «Песнь о земле»:

*Накануне страданий облетают сады сердец.
Увядает радость, и умирает песнь.
И во мраке жизни
проступает смертельный мрак.
Вот и время пришло.
Поднимите, друзья, бокалы.**

А лица наши будут обращены к дедушке, закутанному в пыльную простыню и спешащему проскользнуть к заслуженному им вечному *шлаф штундэ* возле бабушки, умершей зимой, много-много лет назад (а нас даже не взяли на похороны, чтобы мы не простудились и не пропустили занятий), и к кантору, закрытые глаза которого будут обращены к небу: Господь, исполненный милосердия, восседающий в высотах! – и к твоему отцу, совсем седому и скорбно бормочущему: да возвысится, да освятится Имя Твое великое! – и к моей матери, в блузке с разорванным воротом, лицом, спрятанным в ладонях, и к старикам, отвечающим: аминь. Знакомые их лица кажутся такими одинаковыми и невольно путаются под масками морщин, кто-то из них машет мне салфеткой и улыбается из-за соседнего столика в «Погребке Бальфура», которого давно не существует, и кто-то дремлет в шезлонгах дома отдыха, закрывшегося много сезонов назад. А вот и Миша, совсем не постаревший, но расставшийся со своими белой фуражкой и радостной улыбкой во весь рот, открывавшей золотой зуб. Теперь он в черной кипе и скорбно, шумно сморкается. Взгляд мой останавли-

* В вольном переводе Игоря Бяльского.

вается на сморщенном, запеченном личике крохотной согбенной старушки, явно как-то особо отчеканенном в моей памяти, я уверена, что она означала нечто чрезвычайно важное в моем детстве, но не в силах вспомнить, ни что, ни откуда она, и я поворачиваюсь к тебе и ищу подсказки в твоём взгляде, скользящем мимо, в твоём отрешенном лице, в серебристых нитях волос, вызывающих во мне боль, столь же пронзительную, как свисток поезда, что мчит сейчас вдоль берега по дороге на новый вокзал Бат-Галим, обрывки воспоминаний тянутся, тянутся из меня, будто связанные друг с другом хвостиками – как те цветные платочки, которые фокусник в венгерском цирке вытаскивал из своего кармана. Через неделю после начала тех каникул ты уже не хотел убежать с цирком и тренироваться в хождении по натянутому между двумя соснами канату, и не хотел играть ни в Анну Франк, ни в «Хасамбу», ни в «Эмиля и сыщиков», вообще не хотел играть со мной ни во что, только сидел под большой сосной и весь день читал маленькие книжицы в мятых переплетах, и выглядел озадаченным и хмурым, полным тайных тревожных мыслей под своим клетчатым кепи. Вначале я пыталась не мешать тебе, хотя и была не на шутку обижена, но на третий день мне это надоело. Я дождалась послеобеденного часа, и когда дедушка и бабушка отправились вкушать своего *шляфштундэ*, подкралась к тебе сзади, из-за спины, выхватила у тебя из рук книжицу, называвшуюся «Признания любви командира» (на обложке был нарисован солдат в коричневой форме и высоких черных сапогах, направляющий огромный страшный пистолет на блондинку, распластанную у его ног на снегу и одетую в одни лишь трусики и лифчик). Я спрятала книгу и сказала, что не верну до тех пор, пока ты не объяснишь мне, что случилось. Ты посмотрел на меня странным взглядом сквозь свои длинные светлые ресницы и сказал: поклянись черной могилой Гитлера, что никому-никому никогда не расскажешь. Я поклялась торжественным шепотом и тут же представила глубокую черную яму, в которой стоит огромный и волосатый Гитлер из дома отдыха. И тогда ты рассказал мне, что в последнее время, в общем, с тех пор, как ты начал читать эти книги, он надувается у тебя в трусах и становится таким невыносимо тяжелым, что тебе приходится мять и тереть его до тех пор, пока из него не брызнет белая жидкость, и это ужасно приятно, это самое приятное, что тебе приходилось испытывать в жизни, это как взрыв сверхновой звезды, но потом это начинает мучить тебя, потому что в классе вам объяснили, что женщины беременеют от этого, а ведь когда ты моешь руки, это все течет по трубам вместе с водой и вливается в море, а в море купается столько женщин, и это может попасть им под купальники, и вообще не все ведь стекает в раковину, ведь из миллионов маленьких семян наверняка хотя бы двадцать или тридцать остаются у тебя на руках, и потом, когда ты едешь в автобусе на баскетбол или к своим скаутам, это пристаёт к деньгам, которые ты отдаешь водителю, а через его руки к тем билетам, которые он отрывает для девочек и женщин всех возрастов, и потом они приезжают домой и идут в уборную, и берутся там за туалетную бумагу, и вот это уже

у них внутри, а они даже ни о чем не подозревают, и теперь по улицам ходят тысячи женщин с твоими младенцами в животах, и не только у нас в стране, но и в других местах, поскольку семья наверняка может переноситься морскими течениями и достичь даже берегов Европы. Искорка тайной гордости сверкнула на миг в твоих глазах, но тут же потухла. Некоторое время я сидела молча и обдумывала услышанное, грызя сухие сосновые иглы. Это и вправду было нешуточное дело. Ты тем временем подбрасывал сосновые шишки, пытаясь попасть в ветку напротив: трах, трах, трах! И вдруг меня осенило! Я вскочила и побежала на кухню, выдвинула ящик возле раковины, в котором бабушка хранила всякие необходимые в хозяйстве вещи: спички, пластыри, круглые резиновые, – вытащила несколько нейлоновых пакетиков для завтраков (бабушка упаковывала в них бутерброды, когда мы ездили по субботам инспектировать дома отдыха), бегом вернулась и отдала их тебе: делай так, чтобы все оставалось в них, и зарывай их в землю! С того дня с твоего лица исчезли и тревога, и гордость. Мы снова были товарищами и играли в прежние игры, только иногда ты вдруг замирал и начинал смотреть на меня долгим странным взглядом, а я ночью прокрадывалась в кухню и считала пакетики, чтобы узнать, скольких не хватает, а потом выходила босая в душистую темноту рощи и среди мрака вершин, стрекотания цикад и таинственных шорохов и завываний отыскивала места, где грудились сухие сосновые иглы и земля была рыхлой, разрывала ее пылающими от любопытства и ужаса руками, вытаскивала нейлоновые пакетики из их могилок, и подолгу разглядывала при свете луны странную жидкость. Однажды ты присоединил к нашим зарытым в роще сокровищам маленькие помятые книжицы, сказав: больше я в этом барахле не нуждаюсь! Я сам могу придумать рассказы поинтересней. И я сказала: ты, наверно, будешь писателем. И тут же вспомнила, что дядя Альфред уже сказал это раньше меня. Мы разодрали глупые книжки на части, на отдельные листы, и уселись вырезать из них слова, особенно самые-самые нехорошие, и составлять анонимные письма с ужасными угрозами в адрес банды разбойников, обосновавшейся в подвале супермаркета, а также госпожи Беллы Блюм с почты, не забывая при этом грызть шоколад, который ты еще раньше утащил у бабушки из ее тайных запасов – она прятала его от нас, чтобы печь свои торты, и у него был привкус миндального клея. И вдруг ты коснулся моего лица кончиками пальцев, как будто хотел стереть с него шоколадные усы, зашел мне за спину и стал писать на ней медленно, слово за словом: я о-ч-е-н-ь о-ч-е-н-ь л-ю-б-л-ю т-е-б-я, а потом с силой обнял меня. Ты лег на диван, а я легла на тебя, лицом в нежную тень, что между плечом и шеей, в запах клея и крахмала от твоей зеленой рубахи, и твои влажные пальцы стали гладить мой затылок, трепетно и нежно перебирая мои волосы. Мы лежали неподвижно, слитые воедино, почти не дыша, и только сердца наши рвались в груди, как кони на бешеных скачках, я осторожно гладила твое лицо, будто лепила его заново, гладила твои светлые кудри, и гладкий лоб, и веки, под которыми жил целый мир, и малень-

кий нос, по которому палец, как по горке, скользил ко рту, к приоткрытым губам, откуда на мои ледяные пальцы дул жаркий воздух, ты оттянул на мне блузку и запустил под нее свою холодную руку, и она прошла снизу вверх, а потом сверху вниз, до этого приятного места, где, если бы мы были кошками, у нас бы рос хвост. Я прижала свой рот к твоему и почувствовала вкус украденного шоколада, языки наши встретились, обхватили друг друга и стали толкать, давить – поспешно, с молчаливой силой, как два перепуганных бойца, я распахнула рубашу на твоей гладкой груди и на своей, с набухшими сосками – чтобы прижать их, затвердевшие от холода, к твоей теплой коже, к твоему дышащему животу, – и почувствовала такую сладость между ногами, как будто мне намазали там медом, избыток которого стекает в трусики, и это заставило меня раскинуть ноги и плыть, плыть – вперед-назад, вперед-назад по твоей ноге, по твоему бедру, а ты обнимал меня все сильнее и облизывал мои губы, как будто это были леденцы, и взял мою руку и положил ее туда, на упругий выступ в твоих коротеньких джинсах, и лицо твое стало серьезным и хрупким, и я увидела на нем такое, чего никто никогда до меня не видел, и дышала часто-часто, как маленькое животное, без всяких мыслей и воспоминаний, мой тающий живот прилип к твоему, сладости в трусиках становилось все больше, больше, – до боли, которую невозможно стало терпеть, – и вдруг внутри меня поднялись волны, сжатия и обмирания – сильные и острые, дольше и острее всего было первое, а после еще и еще, короче и быстрее – как трепещущие бабочки, и я едва удержалась, чтобы не закричать и не разбудить их там внизу... Мне хотелось, чтобы это никогда не кончалось, но это все-таки кончилось. Я упала на тебя бездыханная, с сердцем, бьющимся как после стометровки, и увидела, что ты тоже лежишь почти без сознания, и стараешься вдохнуть в себя воздух, и лицо твое пылает. Я сползла с тебя и легла рядом, и увидела влажное пятно, расплывающееся по твоим джинсам, и ноздри мои уловили запах, подымавшийся от нас обоих и смешивавшийся в один, ни на что не похожий запах.

Потом ты глянул на меня своими зелеными искристыми глазами, улыбнулся и поцеловал меня в щеку, решительно откинул прилипшие ко лбу волосы, сел, одним движением скинул с себя рубашу и сказал: сними тоже! Я сняла, ты положил голову мне на живот, и так мы немного отдохнули, рука моя ворошила твои влажные волосы, а длинные солнечные пальцы просовывались сквозь опущенные жалюзи и разбрасывали веера света по стенам. Потом я погладила тебя по спине и сказала, что кожа у тебя нежная как бархат, а ты сказал, что у меня она гладкая, как вода, и поцеловал меня в живот, и принялся рисовать на нем губами странные рисунки, и сказал: когда ты лежишь на спине, грудь у тебя плоская, как моя. И стал оближивать языком мои соски – он был немного шершавый, как у кота, – и ты облизывал и облизывал их, пока они не сделались твердыми, как косточки вишни, и я снова почувствовала, как между ног у меня делается сладко и скользко, и хотела, чтобы и дальше было, как раньше, но тут снизу раздался

бабушкин голос, резкий и подозрительный, как перископ подводной лодки: дети, где вы? Пять часов, идите пить чай с тортом! Мы скоренько надели рубахи и спустились, ты пошел сменить джинсы, а я глянула в зеркало в позолоченной оправе в прихожей – глаза мои сияли из его глубин, как две небесные чаши, и весь мир, мебель в гостиной, дедушка и бабушка, и дядя Альфред показались такими далекими и ненастоящими, но в то же время такими резкими и ясными, как на театральном представлении.

В ту ночь я не могла уснуть от страстной тоски по тебе: я видела, как ты спишь себе потихоньку, и тело твое в комнате в конце коридора мечтает обо мне. Я хотела встать и пойти в темноте к тебе, обнять тебя и услышать твое дыхание, но из-за того, что бабушка всегда хотела, чтобы ты спал в бывшей комнате твоего отца, а я в комнате моей мамы, смежной с их спальней, не решилась и стала мечтать о завтрашнем дне, о великой церемонии, которую мы после ужина продумали до мельчайших деталей – когда дядя Альфред уже ушел, и дедушка и бабушка уселись в гостиной смотреть телевизор: события недели, – а мы шептались в кухне и краем уха слышали слова Менахема Бегина, нового главы правительства, произносившего речь об Освенциме и шести миллионах и вдруг объявившего, что он готов встретиться в Иерусалиме с президентом Садатом. Дедушка сказал: наконец-то от этого типа получилось хоть что-то полезное. А бабушка позвала нас и сказала: дети, вам тоже стоит посмотреть, это важные новости. Но мы-то знали, что завтрашняя церемония куда важнее всех этих ее новостей, и в особенности то, что случится потом, после церемонии, и теперь, одна в своей комнате, я никак не могла остановить фильм, повторявшийся вновь и вновь на темном экране бесконечной ночи, – фильм, в котором героями были мы. И вдруг я услышала, как бабушка там, в их комнате, зовет шепотом: Арон! Арон! И как дедушка спросонья говорит: брох! Да, Мина. И бабушка жалуется, что она не может уснуть, и рассказывает ему тихонько – но я все равно слышу каждое слово, – что утром, когда она делала в супермаркете покупки для субботы и бродила с тележкой, она вдруг почувствовала, что ее мать стоит с ней рядом, в черной меховой шубке, той самой, которая была на ней много-много лет назад, в тот день, когда они расстались навсегда на железнодорожной станции, и даже лицо у нее было такое же бледное и взволнованное, как тогда, и она сказала что-то важное, но бабушка не расслышала, потому что все время думала: ведь теперь лето, зачем же мама надела меховую шубу? И прежде, чем она успела что-нибудь сообразить, матери уже не было с ней рядом. «Арон, я не нахожу себе покоя. С этой минуты я не нахожу себе покоя! – с трудом продолжала бабушка шепотом. – Я уверена, что это означает что-то чрезвычайно скверное. По ее лицу я поняла, что должно произойти что-то ужасное!» Дедушка ничего не сказал, только запел тихонько – какую-то грустную мелодию без слов, и повторял ее снова и снова, пока она не заполнила собой все и всю меня, и я не задремала...

Назавтра была суббота, дедушка и бабушка разбудили нас очень рано, чтобы ехать всем вместе на ревизию в дом отдыха в Тверию, и слегка удивились, когда мы стали бормотать из-под одеял, что мы устали, не хотим, хотим остаться дома, но потом уступили. Я вспомнила разговор, который слышала ночью за стеной, и про себя подумала: как это может быть, чтобы в нашем супермаркете поселились духи умерших? Почему дедушка не объяснил ей, что это все только ее воображение, и ничего плохого не случится, и вдруг подумала: а может, его вовсе не было, этого разговора? Может, мне приснилось? И поэтому решила никому не рассказывать, даже тебе. Бабушка оставила нам вместо обеда бутерброды с яйцом вкрутую, и для себя тоже приготовила кое-что на дорогу, и сердце у меня начало колотиться сильно-сильно, когда я услышала, как выдвигается ящик возле раковины и бабушка бормочет: странно, я же помню, что тут была целая пачка! В конце концов ей пришлось быстренько завернуть бутерброды в пергамент, потому что Миша уже гудел снаружи, она поцеловала нас в щечку и сказала: мы вернемся в половине восьмого, будьте хорошими детьми. Они уехали. Когда рокот мотора стих за поворотом, мы выпрыгнули из своих постелей и столкнулись в коридоре. Мы начали делать все в точности так, как придумали вчера вечером. Для начала каждый залез в ванную и мылся долго и основательно, не забывая про голову и уши. Потом мы завернулись в простыни, как в греческие тоги – оставив одно плечо открытым. Я надушилась всеми духами, какие только имелись на бабушкином туалетном столике, накрашила красной помадой губы и щеки и положила синие тени на веки. Потом мы вытащили из оранжевой вазы розы, которые бабушка купила к субботе, и сплели себе из них два венка. Потом зашли на кухню, но ничего не ели – мы не смогли бы проглотить ни кусочка, – а только вытащили бабушкины поминальные свечи – из другого тайника, что возле шоколадного, – этих свечей бабушка всегда держала великое множество, потому что ей часто приходилось поминать кого-то из своих родственников, оставшихся там. Из коробки со швейными принадлежностями, обтянутой цветной тканью, взяли ножницы, а из шкафа в бабушкиной спальне, из ящика с бельем, большой белый платок. Из буфета достали бокал для вина, а из книжного шкафа книжку Библии небольшого формата – твой отец получил ее когда-то в подарок от школы в день своей бар-мицвы. Со всеми этими предметами мы поднялись босиком в нашу комнатку на чердаке. Опустили жалюзи – не надо ни моря, ни кладбища, пусть будет полная тьма. Зажгли поминальные свечи и расставили их по всем углам, так что комната наполнилась колеблющимися тенями страшных духов, пляшущих по потолку и стенам, а одну свечу поставили на стол, и возле нее положили книгу Библии, и ты спросил: ты готова? И я ответила: да. Сердце мое билось как сумасшедшее, мы стояли друг против друга, положив одну руку на переплет Библии, а другую подняв и скрестив – большой палец с мизинцем и мизинец с большим пальцем, как при клятве скаутов. Я смотрела тебе в глаза, в кото-

рых трепетало пламя свечей, и повторяла за тобой, медленно и торжественно:

*Я клянусь Богом и черной могилой Гитлера...
Я клянусь Богом и черной могилой Гитлера...
Что никогда не возьму в жены другой женщины...
Что никогда не возьму в мужья другого мужчину...
Только тебя буду любить до конца дней своих...
Только тебя буду любить до конца дней своих...*

Потом мы обнялись и едва не задохнулись, потому что не в силах были дышать, ибо знали, что клятва эта сильна как смерть. И чтобы она стала еще сильнее, мы вырезали из Библии нужные слова и при свете свечи наклеили их на лист бумаги. Два раза «Бог» нашли уже в главе «Сотворение мира», «жену» в рассказе об Адаме и Еве, «могилу» в повествовании о захоронении Сарры Исааком. Потом отыскиали «мужа» и «клятву», и даже «конец дней», «я» и «на», и «за», и «другого», и «любить». «Никогда» составили из «когда» и «ни», «черной» не нашли, только «черна» – в Песне песней, – вырезали ее и прибавили две буквы из другого места. «Гитлер» и «возьму» не сумели найти нигде, к тому же все это заняло уйму времени, поэтому мы быстренько склеили их из отдельных буковок. Когда все наконец было готово, ты обернул бокал белым платком и поставил его на пол, и с силой ударил по нему босой ногой. Бокал треснул, раскололся, пятно крови начало расплзаться по белой ткани и по полу. Ты окунул палец в эту кровь и расписался под клятвой. И сказал: теперь ты. Я глубоко вздохнула, подняла один из осколков и провела им по большому пальцу своей ноги – из-под низу, чтобы никто не увидел пореза, – намочила дрожащий палец в выступившей крови и вывела им свою подпись рядом с твоей. Потом мы проставили дату – дважды: согласно международному календарю и еврейскому – и точный адрес: Бульвар президента, гора Кармель, Хайфа, Израиль, Ближний Восток, Азиатский материк, Земля, Солнечная система, Галактика, Мироздание. Теперь нужно было разорвать клятву пополам, чтобы каждый хранил у себя половинку с подписью другого. Я напомнила об этом – так, собственно, мы вчера и договорились сделать. «Нет, – сказал ты вдруг, – мы как следует завернем ее и закопаем в роще под большой сосной – чтобы всегда можно было найти». Я подумала, что это не годится – вдруг менять зачем-то наш план, но ничего не возразила. Мы завернули ее в серебряную бумагу из-под вчерашнего шоколада и положили в пустую спичечную коробку, которую тоже обернули той же фольгой и засунули в нейлоновый пакетик, оставшийся у тебя от тех, из ящика возле раковины. Потом мы спустились вниз, вырыли руками глубокую яму у самого ствола и опустили в нее наш пакет, самый ценный и самый важный в мире пакет, но когда мы засыпали его землей, и утоптали землю вокруг ногами, и еще натрусили сверху горку сосновых игл, мне вдруг сделалось очень грустно – сама не знаю, отчего.

Когда мы вернулись в комнату, поминальные свечи все еще горели, и духи продолжали бесноваться на стенах. Я знала, что должно случиться, и нисколько не боялась. Я думала об Анне Франк, о том, что немцы схватили ее прежде, чем она успела по-настоящему любить своего Питера, и о том, что она была в точности моей ровесницей, и сказала себе: я успею! Мы сняли венки и греческие тоги, расстелили одну простыню на диване и легли на нее, а другой накрылись. Я гладила твоё тело – теплое и тяжело дышащее, и бродила ртом между холмами света и нежных теней, по неизведанным подпростынным тропам, пахнувшим мылом и потом, и вдруг ты встал передо мной на четвереньки, посмотрел на меня желтыми сверкающими глазами, хищно улыбнулся, и я захотела, чтобы это уже случилось скорее, и прошептала: иди! Ты спросил: больно? Я сказала: нет. И слышала твоё сердце, отбивающее по моей груди в одном и том же ритме: я-люблю-тебя-я-люблю-тебя-я-люблю-тебя-я-люблю-тебя, – и преисполнилась гордости.

И тогда прогрохотали вдруг тяжелые шаги по лестнице, и я ужаснулась: немцы! И начала дрожать. Мы обнялись и прижались к стене, дверь открылась, и на пороге, в нимбе послеполуденного света, встал дядя Альфред. Очевидно, его забыли предупредить об отъезде и сказать, чтобы он не приходил сегодня к чаю. Он одним взглядом окинул наши потные тела, пропитанный кровью платок, разбросанные по всему полу розы и поминальные свечи, растерянно шмыгнул своим клубничным носом, взгляд его остановился на какой-то точке на твоём животе, может, на пупке, когда он промямлил: что это, дети?... Это нельзя... В вашем возрасте... Не надо... Не дай Бог, бабушка узнает... Мы прикрылись простыней и молча, с опаской, как две попавшие в западню кошки, глядели на него. Он опустил глаза на кончики своих блестящих башмаков и продолжал: я, конечно, обязан рассказать ей... Кто поверит... Дети... Двоюродные брат и сестра... Еще, чего доброго, не приведи Бог, получится ребеночек с шестью пальцами... С двумя головами... С хвостиком, как у поросенка... Так опасно... Кто бы подумал! И все вертел головой справа налево, слева направо – от носа одного башмака к носу другого, словно проверял, который из них лучше блестит. Потом снова поглядел на тебя и сказал, уже почти не запинаясь и не заикаясь, что готов ничего никому не рассказывать при условии, что вы с ним встретитесь тут завтра после обеда, чтобы он объяснил тебе, сколь ужасно то, что мы наделали. Почему только с ним? – возмутилась я, пытаюсь защитить тебя, и дядя Альфред сказал, что он считает тебя ответственным за все случившееся, и уж от кого-кого, но от тебя, с твоим умом и твоими талантами, он не ожидал ничего подобного. «Я согласен», – прошептал ты, и он вышел. В тот же миг, едва за ним закрылась дверь, мы спрыгнули с дивана, снова подошли к столу и положили одну руку на книгу Библии, а другую подняли вверх, скрестили большой палец с мизинцем, и продолжили свою клятву, на ходу придумывая слова:

*И даже если у нас получится ребеночек
С шестью пальцами на каждой руке,*

*Или двумя головами,
Или маленьким хвостиком, как у поросенка,
Мы все равно станем любить его так,
Как будто он самый обычный ребенок
С пятью пальцами и одной головой
И вообще без хвоста.*

Потом мы успели одеться и все прибрать, прежде чем бабушка с дедушкой вернулись домой. Только темно-красное пятно, расцветшее на зеленой обивке дивана, оставили на память. Засыпая, я слышала, как бабушка в гостиной бормочет в оранжевую вазу на буфете: не понимаю, я ведь купила цветы к субботе!.. А дедушка ласково утешает ее: ну, подумаешь, что за беда – у меня тоже память стала не та... Забыл вот позвонить Альфреду, чтобы он не являлся сегодня к чаю.

Среди ночи я вдруг почувствовала ужасную тошноту. Я бросилась в уборную, засунула два пальца себе в горло, и из меня стал высыпаться песок, масса мокрого песка, наполнявшего весь рот и застревавшего между зубов, я задыхалась, отплевывалась, а меня все тошнило и тошнило, и вдруг вместе с песком из меня выскочило что-то еще – я глянула вниз, в унитаз, и увидела там крошечного черненького щенка, плавающего на боку, лапки растопырены, зубы оскалены в странной, жуткой ухмылке, мертвый глаз открыт и глядит на меня. Я с отвращением захлопнула крышку унитаза. Снаружи уже светало.

Я кружила между деревьев в роще, засунув руки в карманы и подбивая ногами шишки. Вот уже полчаса как вы там наверху закрылись в нашей комнатке. Что он может говорить тебе так долго? Я не в силах была больше ждать. Поднялась тихо-тихо, чуть-чуть отворила дверь и заглянула внутрь. Вы сидели на диване, и дядя Альфред разъяснял тебе что-то широкими театральными жестами, что-то такое, чего я не могла слышать. И время от времени опускал свою белую ватную руку на твое колено. Затем обвинил ее во круг твоих плеч и приблизил свое лицо, даже более розовое, чем обычно, почти малиновое, к твоему, почерневшему от бледности. Вдруг он поднял глаза и заметил меня. Тень досады промелькнула в его глазах. Я убежала вниз. Я лежала под большой сосной, как раз на том месте, где вчера мы зарыли нашу клятву, и смотрела на зеленые блестящие иглы вверх, пронзающие облака, похожие сегодня на громадную белую руку. Я ждала. Время шло, и шло, и шло... Вы не появлялись. Я вспомнила свой ночной сон, и вся покрылась гусиной кожей, как от сильного холода. Наконец-то отворилась дверь и вышел дядя Альфред, с силой вдыхая воздух и слегка покачиваясь на ступенях. Постоял, застегнул пиджак и позвонил в парадную дверь. Бабушка открыла, сказала: здравствуй, Альфред. Он вошел в дом. Потом ты выскочил бегом, рухнул на землю возле меня, спрятал лицо на моем животе и схоронил в нем горькие рыдания. Тебя колотило как в лихорадке. Я обняла тебя крепко-крепко. Прошептала: что случилось, что он тебе сказал? Его нужно убить! – рыдал ты. Твои горячие слезы намочили мою

рубашку. Я никогда не видела, чтобы ты так плакал. Но что случилось, что он сделал? – спросила я снова. Нужно убить его, нужно убить его! – твердил ты сквозь рыдания, и колотил ногами по земле. Но что он тебе сделал? Он побил тебя? – взмолилась я, наконец. Ты поднял ко мне пылающее мокрое лицо, по которому безудержно текло и из глаз, и из носа – ты совершенно не обращал на это внимания, – и произнес тихо: я сегодня убью его. Я посмотрела в твои распухшие покрасневшие глаза, в глубине которых разверзлись две черные бездонные пропасти, и поняла: дядя Альфред сегодня умрет.

Через несколько минут был изготовлен страшный яд: растерты в пыль – с помощью двух камней – колоски, два высохших муравья, расщипанная на мелкие кусочки сосновая шишка и щенячьи желтые каки. Все это мы смешали с сосновой смолой, чтобы отдельные части состава получше склеились. Моя роль заключалась в следующем: я предложу бабушке, что сама приготовлю сегодня чай, и подложу убийственную смесь в чашку дяди Альфреда. Я выбрала для него большую черную чашку, во-первых, для того, чтобы не перепутать ее с другими, а во-вторых, потому что в черной чашке он ничего не заметит. Добавила пять ложек сахара и как следует размешала, стараясь при этом прислушиваться к разговору в гостиной, чтобы убедиться, что он не ябедничает на нас, несмотря на свое обещание. Они беседовали вполголоса, так что только обрывки фраз долетали до моих ушей: доктор Шмидт, рентгеновский снимок, легкие, диагноз, снова доктор Шмидт. Я успокоилась: они говорят о болезнях, поставила на чайный столик на колесиках бабушкин шварцвальд-торт – особенный, двухслойный, испеченный сегодня непонятно в честь чего, может, у него день рождения? В ту минуту как я вошла, толкая перед собой столик, они враз смолкли. Дядя Альфред сказал: спасибо, и грустная улыбка затуманила его лицо. Ты тоже вошел, глаза твои уже были сухи, мы вместе склонились над креслом, в диком напряжении ожидая поскорее увидеть, как он выпьет этот «чай» и тут же на месте умрет. Прежде всего он с огромным аппетитом уничтожил три куска торта. Потом шумно отхлебнул из чашки, почмокал губами и встал с кресла. Направил на тебя влажный взгляд и объявил: сейчас я исполню вступление к «Песне о земле» Малера. Дважды прочистил горло, сложил руки на животе и запел на немецком языке, которого мы не понимали. Голос его лился из груди широко и торжественно, выводил невозможные трели, отважно подымался до опасных высот и качался, как эквилибрист на канате под куполом цирка, внезапно падал и погружался в мрачные пропасти, и там боролся с судьбой, умолял, молил о пощаде, о помощи, взывался глухим, как эхо, криком, завывал, грозил и унижался, лицо его казалось лицом погибающего, утопающего, слезы катились у него из глаз – из бабушкиных глаз тоже катились слезы, она-то понимала значение слов, – даже дедушка пару раз шмыгнул носом, а мы смотрели друг на друга и постепенно осознавали, что составленный нами яд не только отравя, но и волшебное зелье, творящее чудеса. Мы затаили дыхание в ожидании того мига, ко-

гда он рухнет на ковер, не допев своей песни, но дядя Альфред закончил выступление на громкой и долгой, бесконечной ноте, шедшей из самых глубин его существа, взмахнул руками и нечаянно задел буфет. Оранжевая ваза покачнулась, поползла по гладкой поверхности, съехала на пол и разбилась на тысячи осколков. Мир раскололся на миллиарды сверкающих точек. Дядя Альфред опустился в кресло, с трудом перевел дыхание и прошептал: извините. Бабушка сказала: неважно, поднялась и поцеловала его в щеку. Дедушка не глядел на четырехугольник ковра и не лепетал свое «браво», а пожал ему руку, посмотрел в глаза и сказал: великолепно! Замечательно! Дядя Альфред отхлебнул еще из отравленной чашки и поднялся уходить. Сказал нам: до свиданья, и похлопал тебя по животу. Мы ничего не ответили, только посмотрели на него с ненавистью, а они проводили его до двери и пожелали ему успеха, дедушка потрепал его по плечу и сказал: держись, Альфред! Дядя Альфред ответил неуверенно: да, и дверь за ним закрылась. Дедушка и бабушка некоторое время молча смотрели друг на друга, бабушка покачала головой, принесла щетку и стала сгребать в кучку осколки вазы.

Ночью я проснулась от звуков кашля и ужасного скрипучего смеха и услышала, как бабушка в кухне говорит дедушке: теперь я понимаю, что она сказала! Что она хотела мне сказать! И снова пугающий, чужой смех, не бабушкин, а какого-то страшного духа, забравшегося в нее. Я встала, чтобы подкрасться к двери и поглядеть, и вправду увидела ее, сидящую за столом с растрепанными длинными волосами, в ночной рубашке, с губами, перемазанными вишневым соком и шоколадом, в кулаке торчит нож — над развалинами двухэтажного торта дяди Альфреда, а дедушка, в пижаме, схватил ее за руку и умоляет: хватит, ну, хватит, ты уже съела больше, чем можно, а бабушка не слушает, борется с ним, пытаюсь освободить свою руку, и скрипучий голос проникшего в нее духа требует: только еще один маленький кусочек, только один ломтик, и все! Дедушка обнимает ее и плачет: не оставляй меня одного, Мина! Пожалуйста, не оставляй меня, ты знаешь, я не могу без тебя... Я повернулась и убежала оттуда к тебе в комнату. Дыхание твое было тяжелым, отрывистым. Я забралась под одеяло, обняла тебя и положила голову на подушку возле твоей головы. Подушка была мокрая.

Назавтра мы поехали с Мишей и с дедушкой и бабушкой, которая сидела впереди — коса, как всегда, туго закручена на затылке, — Миша высадил их у больницы Рамбам, а нас повез дальше на пляж Бат-Галим, Русалочий берег, мы скинули одежду и остались в купальнике и плавках, а широкоплечий могучий Миша выглядел спасателем в своей белой фуражке, не хватало только свистка. Он уселся в шезлонг на берегу, а ты с разбега ворвался в воду, окруженный дождем цветных брызг, и нырнул под волну, я побежала за тобой следом и тоже нырнула, потому что хотела почувствовать в точности то же, что чувствуешь ты, мне щипало глаза, и я нахлебалась соленой воды, а когда вернулась на берег, ты уже стоял там и отряхивал воду с волос. Мы уселись возле Миши на песок,

уперлись спинами в его крепкие ноги, смотрели на море и молчали, потому что говорить было не о чем, и я попросила Мишу, чтобы он еще раз рассказал, как он играл перед королем Югославии, поскольку знала, что он очень любит про это рассказывать. Я надеялась, может, это нас как-то спасет. Он немного помолчал и вдруг сказал тихо: я не играл перед королем. Это не я играл. Это был другой мальчик. Его тоже звали Мишей, он играл лучше меня, поэтому выбрали его, чтобы он надел костюм с золотыми пуговицами, и горн сверкал на солнце, и стяг взвился на вершину мачты, это было так прекрасно, так красиво, я никогда в жизни не забуду, и принц Павел подошел и погладил его по голове, а его мама так рыдала, что еле успели подхватить ее, чтобы она не упала. А я стоял в строю среди остальных детей и тоже плакал. Он потянул носом воздух и продолжил, словно рассказывал о самом себе: того Миши уже нету. Гитлер унес его. Всех, всех он забрал – и моих родителей, и братьев, и сестер... Только я остался – шестой ребенок, которого вообще не хотели. Папа и мама поженились очень молодые, они были двоюродные брат и сестра. Семья решила поженить их, когда им было всего по тринадцать лет, так это делалось в те времена. И каждый год у них рождался ребенок, каждый год ребенок, пока папа не сказал наконец: хватит! Но как раз тогда они поехали отдохнуть в Австрию, а когда вернулись, мама снова оказалась в положении. Вот... Он замолчал и закурил, а потом сказал вдруг без всякой связи: ваш дедушка замечательный человек, очень немного таких людей... Мы молча глядели на парня, который ловко ходил по песку на руках, и на дяденьку, который бросал в воду палку, а его громадная собака с лаем бросалась в море, быстро-быстро доплывала до палки, хватала ее в пасть и возвращалась на берег. Дяденька гладил собаку по голове. Я взяла палочку от мороженого и нарисовала на мокром песке домик, дерево и солнце, но волна стерла мой рисунок. Море потихоньку становилось все более золотым, сделалось прохладно, мы оделись и поехали забирать дедушку и бабушку, которые поджидали нас в воротах больницы с серыми осунувшимися лицами, и оказались вдруг такими старенькими-старенькими.

Через несколько дней бабушка объявила нам, что дядя Альфред скончался в больнице. Она утерла слезы и сказала: у него была тяжелая болезнь – в легких, операция не удалась... Но мы-то знали истинную причину его смерти и не решались глядеть друг на друга, когда шли с бабушкой, которая оплакивала дядю Альфреда, но больше себя, и с дедушкой, который оплакивал бабушку, и с нашими родителями, и еще с тремя людьми, которых совсем не знали, за усердными прислужниками смерти, похожими на ангелов в своих белых нарукавниках, с бородатыми потными лицами, несшими на носилках под темной пыльной тканью тело, которое вдруг оказалось маленьким и ссохшимся – голова почти касалась толстого черного зада переднего ангела, а ноги болтались возле растегнутой ширинки заднего, и я думала: это может быть кто угодно там, под тканью, может, это вообще не он, но когда мы подошли к открытой могиле, кантор произнес его имя, и судорожные отчаян-

ные рыдания вырвались из моей груди, потому что я поняла, что невозможно повернуть время вспять, а ты застыл безмолвно по другую сторону черной могилы, и я знала, что теперь он всегда будет стоять меж нами, и что после похорон твой отец заберет тебя к вам домой, хотя до конца каникул еще далеко, но бабушка очень плохо себя чувствовала, и через несколько месяцев, зимой, она действительно умерла, а дедушка закрыл свою контору на улице Герцля и переехал жить в дом престарелых, и годами продолжал разговаривать с нею, словно она по-прежнему была рядом. И уже там, на кладбище, я знала, что мы никогда больше не окажемся вместе в нашей комнатке под крышей, и лишь изредка, засыпая, я буду видеть тебя, как ты стоишь передо мной на четвереньках и смотришь на меня хищными желтыми зрачками, и я буду шептать тебе: иди!, и чувствовать твое сердце, отбивающее по моей груди все те же слова – до последних судорог, до невысказанных трепетных бабочек...

Я утираю слезы и вместе со старичками приближаюсь к могиле, чтобы положить на нее камушек, все уже готовятся разойтись, но я задерживаюсь еще на минутку возле позолоченного мрамора дяди Альфреда и знаю, что ты стоишь тут же, рядом. Вблизи ты можешь разглядеть, что и у меня уже есть морщинки в уголках рта, и седые волоски, оба мы читаем про себя вступление к «Песне о земле», читаем слова, которых тогда не понимали, я кладу у их подножья маленький камушек, и ты тоже кладешь камушек, а потом кладешь руку мне на плечо и говоришь: пойдём. Перед нами шагают моя мама и твой отец и шепчутся о том, что муниципалитет постановил снести старый дом и выкорчевать рощу за ним, на этом месте решено выстроить роскошный небоскреб, и я вижу землю, которая не в силах вместить всего, что мы схоронили в ней, вижу, как она содрогаётся и расходится, трескается, и весь их небоскреб раскалывается и рушится. Миша идет за нами следом и вздыхает, и говорит: если бы только можно было повернуть время вспять... Хотя на одну минуту... И я знаю в точности, какую минуту он хочет вернуть. Возле ворот стоит согбенная старушка, с таким знакомым сморщенным личиком, дрожащей рукой она берет меня за рукав и скрипучим голосом говорит: ты, наверно, не помнишь меня, но я-то хорошо знала вас всех, и твоего дедушку, он часто заходил к нам на почту – старую нашу почту... – Вы госпожа Белла Блюм с почты! – шепчу я, и сердце мое съеживается и бледнеет, на мгновение я вижу узкие очки на остреньком носике, седые волосы, вижу, как ледяные скрюченные пальцы с вожделием тянутся к нашим детским шейкам и треугольным маркам, я вспоминаю анонимные письма с угрозами и кошусь на тебя, но ты смотришь на носки своих пыльных туфель и говоришь: мы должны двигаться, у меня на предприятии заседание, и я снова дотрагиваюсь до мягкой руки под лиловой соломенной шляпой. И вдруг с моря налетает ветер и срывает с ее головы шляпу, гонит вдоль тропинки, а она бежит за ней между могилами в своем широком развевающемся цветастом платье, с округлившимся животиком, с развевающимися каштановыми языками волос, протягивает полную руку, чтобы ухватить

беглянку, но та, кувыркнувшись в воздухе, взлетает высоко-высоко, как лиловая бабочка, еще минута – усядется на острую вершину кипариса, но вдруг передумывает, дважды перевертывается на лету и приземляется на памятник папы Хуши, городского головы, и все вы: и ты, и Миша, и прочие мужчины – кидаетесь ловить злосчастную шляпу, чтобы вернуть ей, вы скачете между могил, но шляпа уже далеко, она теперь, помятая и потерявшая всякий вид, расположилась между Ханохом Габриэли, сыном Моше, уроженцем города Лодзи, и Цилей Фрумкиной, добродетельной супругой, прекрасной матерью и полной праведницей, лежащими почти вплотную друг к другу, вы все уже запыхались и покраснели, а шляпа вновь делает широкое сальто и взмывает к небесам, вы преследуете шляпу с задранными вверх головами, отчаянно размахивая руками – в точности, как потерпевшие кораблекрушение и выброшенные на необитаемый остров делают это при виде аэроплана. Шляпа вдруг теряет теплый восходящий поток воздуха, утрачивает равновесие и начинает быстро-быстро крутиться вокруг собственной оси, как прима-балерина, в вихре лиловых лент, и внезапно приземляется уже за кладбищенскими воротами, лежит на боку и усмехается своим большим круглым ртом. Она бежит к шляпе, грузная и задыхающаяся, наклоняется, подымает ее высоко над головой и, обернувшись в вашу сторону, смеется со сверкающими глазами: поймала! Я ее поймала!

Декабрь, 1989

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Сусанна Черноброва *ПУСТЫНЯ И МОРЕ*

* * *

И путь простой, прожектора да фары,
Тебе достался, гаражи, ангары.

Не разглядеть при тусклом освещеньи,
Что он длиной в одно стихотворенье.

Стихи, похожие на план побега,
На шум погони, на огни ночлега,

На город, где ты дома и не дома,
На одуванчики аэродрома.

И ты туда выходишь, как на волю,
Не без наркоза, но почти без боли.

На привокзальную ночную площадь
Из самой светлой, из фонарной рощи.

* * *

С.

По теперешним, бывшим, по самым прекрасным местам,
Мне бы вместе с тобою пройтись по сожженным мостам,
Ни под желтой тебе не жилось, ни под красной звездой,
И нигде тебе так не спалось, как на воздухе, над плитой,
И кружит над тобой, освещая последний январь
Только хвойное дерево, вечнозеленый фонарь.

ХУДОЖНИКУ

И. Малеру

В больнице тень прозрачней льда,
Пятно лица казалось мелом,
Вот так художник иногда
Напишет белое на белом.

С балкона весь Иерусалим
И взрывы, в небесах каверны,
Коричневый, корявый дым
Выводит очертанья скверно.
Ты видишь стройку, муть белил
И кранов сломанные руки,
Глаза сегодня ослепил
Лимонный свет перед разлукой.

Есть шов на рубеже веков.
И человек поймет усопший,
Что горы – слепок облаков
И оттиск города просохший.

НОВОГОДНЕЕ

Облака в небесах – это снег прошлогодний, скелет
Осыпавшейся елки, овраги, сугробы, руины,
Облака над заливом застыли на тысячи лет,
Обнимаясь, как будто они города-побратимы.

На застолье родительском пусто. Не слышно людей,
Словно ангел витающий их тишиной поминает,
Где-то комната есть, куда много набилось гостей,
Хлещет елочный дождь, шоколадная пыль оседает.

С Новым Годом тебя! Помнишь хвою в проеме дверей,
Шар стеклянный дрожит и ненастье
Все светила сметает с огромных лохматых ветвей,
И осколки летят, это солнце разбилось на счастье.

* * *

Снова сыплет восток
На обложки и пейсы
Разноцветный песок,
На пейзаж европейский.

Над геенной мосты
В лессировках тумана,
И роятся листья,
И темнеют экраны.

Здесь тупик тупиков
И кончаются рельсы,
Ты на стыке веков
Ни на что не надейся.

Мы спешили в кино
Вдоль немого вокзала,
А когда-то давно
Там когорта промчала.

Иерусалимский вокзал, 1999

БЕЙТ-ТИХО

У Анны Тихо камни, как фасоль,
Сухой пейзаж морщинистый без грима,
И в Мертвом море радужная соль,
Солончаки под следом пилигрима.

Дорожный знак укажет путь к воде,
И смысл слов родные палестины,
Что есть окно и светятся в дожде
Заросшие колючками картины.

МАРИНА

1

Мне снилось, что ветер
Мосты раскачал,
Нас море пришло
Проводить на вокзал.

Об окна вагонные
Бьётся прибой,
И море с перрона
Нам машет волной.

В стаканах дорожное
Плещет вино,
Ты понял, что попросту
Море пьяно.

С похмелья подумал:
В пути есть питье.
Не выпить бы залпом
Все море свое.

Зеленый и красный
И синий глоток,
Но море, как тормоз,
Вцепилось в песок.

2

Чудовище-море,
То горб, то провал,
Какой стеклодув
В полутьме выдувал,

Но так не бывает,
Чтоб сразу заснуть
И плакать и в трех
Океанах тонуть,

В колодце-дворе
Заливает подвал,
До Мертвого моря
Остался квартал,

Блестит, всю земную
Впитавшее соль,
Зачем ему пот
И саднящая боль.

И Красное море
Видать наяву,
Плывущие грядки,
Осоку, траву.

Но море, что выпито
На посошок,
К нему огородами
Наискосок.

3

Доплыв до Венеции,
Сразу узнал
И остров, где кладбище,
И арсенал,

Поющие трубы
Со ржавой водой,
И лодка на остров
Плывет за бедой.

Кому-то кричали:
«Вернись!» с корабля,
Затянет трясина,
Морская земля.

Не слышит, седлает
Морского коня,
Он скоро доскачет
До дна, до меня.

Но листья на запах
Могилы летят,
Железный, стальной,
Жестяной листопад.

А жить так хотелось
Везде и нигде,
И плыть, и кружить
В легендарной воде.

4

Ты доски для стройки
На дюнах искал,
Для окон на пляже
Янтарь собирал.

И звуков не слышал,
Что с разных сторон,
Но море, но море,
Малиновый звон.

Здесь небо все в трещинах,
С рваной каймой,
И море с оборванной
Бахромой.

Не умер, ты просто
Устал покрывать
Небесною рябью
Земную тетрадь.

Но все записалось
Само на волнах
В журнал корабельный,
Морской альманах.

ВЕРМАНСКИЙ ПАРК

Над парком надписи сумбурные,
Как будто вспыхивает дрожь,
Дрожит звезда литературная,
Мелькает электронный дождь.

Рекламный ветер, незабвенную
Строку цветную повторяй
И чью-то тень обыкновенную
То отстраняй, то озаряй.

ДРУГУ

Д. Б.

1

На дороге горной опять винтовой поворот,
Что там в зеркальце сзади, неважно, и клонит ко сну.
А ты выше меня на лестничный целый пролет,
Хотя старше меня всего на одну войну.

Ты опытней меня на один заплыв в водоворот,
Дому в грунтовых водах плыть написано на роду,
Город твой обледенел сильнее моего на один гололед,
Сиротливее моего на одну беду.

2

Ты счастливей меня на один легкомысленный брак
Не то с водорослями, не то с ветвями, сама не пойму,
Слышишь слабее меня на шелест, намек, один пустяк
И молчаливей стал на одну самую мертвую тишину.

Пешеход не в землю ушел, а в подземный переход,
С одной плиты надпись в домовоей книге найду:
Младшая волна на старшую набегают, спотыкается лед о лед,
Горе накрывает горе, звезда звезду.

3

Ты на стройку выше меня по лесам залез,
На седьмое небо мимо антенн и мачт,
Ты смешливей меня на одну прогулку в лес,
Музыкальнее на один поминальный плач.

Но есть опасный спуск и рискованный есть забег
(Не оттуда ли ветер доносит слова присяг)
На холодный шар, что Земли тяжелей на снег,
На его полюс, где нашей планеты флаг.

4

Нету ста друзей, есть огромная тень, один враг,
Мы поедем, куда глаза глядят, ты сказал,
Стали дорожные знаки сложнее на вопросительный знак,
Стало давки больше еще на один вокзал.

Путешествия стали длинней на один межпланетный полет,
Хочешь, выйди в открытый космос, во сне летай,
Там толпа многочисленней и гуще на целый народ,
А казалось, попали в еще один Китай.

* * *

И перепутав дождь и паутину,
Стихает ветер, в темноте кружит
На белых звездах желтый снег хамсина,
Сюда уже никто не позвонит.
И не узнает, что такое кров
И небо на столбах прожекторов.

ГОРОД

Утром город варево, брожение,
Лужи, крыши в пузырьках, кипенье.

Месиво и суп, толпа из башен,
На грязи и слякоти заквашен.

Кажется, что зелень, мачты, трубы
Кружат в этом разноцветном супе.

Ты в нем тоже выстиран, проварен,
Повар-прачка, город весь распарен.

Весь заштопан и по швам распорот,
На живую нитку сметан город,

На живую нитку сметан лихо
Город домработница-портниха.

Проволокой облака кромсая,
Рвется его выкройка косая.

Тыщи труб искрятся надо мною.
Тлеет его курево ночное.

Ты вкусил, ты понял, что такое
Соль земли с похлебкой городской!

Город закипал, котел бездонный,
Поднимался к небу чад кухонный.

Тель-Авив

Иван РИСС

ОКРЫЛЕННЫЕ НЕПЕРТЕНИЕМ

НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ

Молодых инженеров и юных секретарш из нескольких НИИ и КБ, отправленных на помидоры, разместили в спортзале колхозной школы. Сашка была молодым инженером и очень нежной, очень белокожей девушкой. У нее были длинные и очень тонкие, совсем светло-розовые губы, ясно очерченные на очень белом лице. Светло-пепельные волосы. Светло-серые глаза. Дима Семиверстный заметил ее уже в автобусе. Дима, молодой специалист, работал после окончания филфака в библиотеке, наслаждаясь особым статусом единственного мужчины, усугубляемого тем, что он был спортсменом и отменно хорош собой. Мечтал быть кинорежиссером. На сельхозработы любил ездить ради ощущения сексуальной свободы, неизменно воцарявшейся на лоне природы.

Дима сразу выбрал Сашку для того, чтобы в колхозе дружить с ней. Так это называлось. Таких изысканных женщин в его коллекции еще не было. Имя Сашка не вязалось с ее внешностью. Ее должны были называть как-то по-другому, возвышенной, с этим он и прицепился к ней. Выяснилось, что она была замужней, но детей не имела, и поэтому ездила на сельхозработы. Про свое имя она сказала: "Александра – это очень благородное имя". Так она и вела себя. Пока все другие девушки, пропалывая помидоры, загорали в нарядах, среди которых купальники-бикини выглядели верхом консерватизма, Сашка ходила в спортивном костюме из х/б, слегка закатывая рукава.

Руководила работой Василиса, приехавшая в М-ск (город такой) из сибирского села и устроившаяся в один из м-ских НИИ бухгалтером. Высокая, большая, костлявая, мясистая, покрытая редкими, светлыми веснушками, Василиса была похожа на большой кусок говяжьего мяса на прилавке магазина. Большой, грубоволокнистый, лежалый. Она воплощала в себе торжество победившего пролетариата, власть рассудка и оправданность здравого смысла. Она сразу стала неформальным лидером интеллигентов-инженеров. Потом, принимая во внимание ее сельское происхождение, Василису назначили звеньевой. Суть этой должности инженеры уточнять не стали, но приняли ее руководство беспрекословно. Под ее руководством работали по-настоящему. Личный пример и толковые указания могут придать смысл даже самому бессмысленному делу. Работали с восьми до пяти. В пять все собирались у водопроводного крана, как могли, умывались. Напротив крана в бараче жили освободившиеся из тюрьмы уголовники, которым нельзя было жить в городе. Когда у крана после работы начинали

плескаться городские, на крыльцо выходила рыжая женщина неясного возраста, садилась и пристально разглядывала купающихся. Для тех она была чем-то вроде кошки. На крыльце рыжая оставалась до глубокой ночи.

Димина дружба с Сашкой продвигалась очень медленно. Она согласилась пойти с Димой в кино, в клуб напротив школы, но за ними увязалось еще два десятка человек. Получился веселый культпоход. В другие вечера, когда сидели у костра, она садилась рядом с ним, но на этом все кончалось. Приходило время спать, за чем очень следила Василиса, они прощались и расходились в разные концы спортзала.

К концу первой недели к Сашке на сельхозработы приехал в гости ее муж. Высокий, сутулый, с длинными руками, он был похож на человека, наряженного обезьяной. Сашка подошла к нему, и Дима залюбовался кинематографическим сочетанием нежности Сашки и гориллоподобности ее мужа и захотел Сашку даже еще больше, чем вначале. Сашка что-то выговаривала мужу, а тот только молча тер ладонью толстую, редкую щетину на своих щеках. Договорив, Сашка подвела мужа к группе, в которой стоял Дима, и представила:

– Лешик.

Лешик приехал с тремя бутылками водки на "Москвиче" приятеля. Вечером, после работы, Василиса разрешила выпить. Сели у костра. Лешик сразу стал душой компании, хотя не рассказывал анекдотов, не трепался и вообще молчал. Он только каждому улыбался огромной, широкой улыбкой, наливал водки, и каждый чувствовал себя именинником, избранником, самым нужным и совершенно незаменимым. Когда кончилась водка, и привезенная Лешиком, и имевшаяся у ребят, а тоска гитары требовала еще и еще, Лешик поехал за самогоном.

– Он хороший, – шепотом рассказала Сашка, – непьющий, но когда выпьет, любит, чтоб ему морду побили. Задирается, просит. Как-то было, никто не хотел, так он подошел к шкафу со стеклянной дверью, увидел себя и стал сам со своим отражением ругаться. Потом ему по морде дал, отражению своему, то есть, стеклом руку себе порезал, успокоился.

Лешик вернулся с двумя большими бутылками с чем-то мутным и так тяжело пахнущим, что даже красноречивая гитара не смогла своим надрывным плачем уговорить народ пить это. Первым слинял гитарист. Лешик выпил сам и вдруг изменился. Вместо легкой улыбки появился на его лице грубый осклаб, и каждый, на кого он обращал свой окостеневший взгляд, сразу поднимался и уходил. Лешик налил себе полную жестяную кружку самогона, выпил и тоже молча ушел. Василиса вопросительно взглянула на Сашку.

– Он неплохой, ну, выпивает иногда, – тихо сказала Сашка, – изредка. Он туризмом увлекается. Тренируется. С друзьями на картах маршруты вычерчивает. В походы ходит, – и уже совсем

куда-то в сторону продолжила, – но лучше, чтоб его не было...

Василиса со злым недоумением посмотрела на Сашку и спросила:

– Чем же тебе так плохо? Чего тебе с ним не живется?

Сашка широко открыла изумленные глаза, как будто прочитала на веснушчатом лице Василисы разгадку всех проблем своей жизни:

– Как ты верно это сказала "не живется". Вот именно – не живется...

– А чего ты пошла за него?

– Он у меня первый был.

– Видно, что первый, – укорила ее Василиса, – а замуж надо за последнего.

– Ушла бы ты от него? – на ухо прошептал Сашке корыстно заинтересованный в исчезновении ее мужа Дима Семиверстный.

– Не поймет. Жалко мне его, – отрицательно покачала головой Сашка.

Лешик, глядя в землю, медленно шел туда, где жили ссыльные уголовники. Василиса обозвала всех гадами и кинулась за ним, догнала его, но Лешик сказал ей что-то такое, от чего она развернулась обратно:

– Ну и пусть схлопочет, если ему так надо.

Все разошлись спать. Дима остался с Сашкой.

– Поискать его надо, – закинул он, в надежде, что Сашка не захочет. Самое время было уговорить ее, пока муж где-то бродит. Особенно пьяный.

– Он служил в армии. Офицером, после института. Только поженились. На Дальнем Востоке. Все время учения. Я так нервничала, – ответила она.

– Боялась? – формально поинтересовался Дима.

– Да. Вдруг и на этот раз не убьют... Я иногда уже и верила. Но он всегда возвращался ко мне. Как неразменный рубль.

Дима почувствовал жуткий холодок, бегущий по коже, и вместе с ним сострадание, абсолютно излишнее, когда собираешься уговорить чужую жену. Однако, движимый этим ненужным состраданием, он повел Сашку вслед за Лешиком. Она пошла. На крыльце, как всегда, сидела рыжая. На вопрос, был ли там Лешик, ответила:

– Был, да сплыл.

А на вопрос Сашки, где же он, сказала:

– Что я, сторож мужику твоему? Меня сторожат, я никого не сторожу.

Невдалеке, на стене, Дима и Сашка увидели свежие пятна крови, пальцами растертые по стене. Были отпечатки целых ладоней. Сашка подошла, примерила к своей ладони и подтвердила:

– Его.

Они вернулись в спортзал, где спали все. Несколько, из тех, кто посмелее, вышли, посмотрели на кровь на стене. Позвонили в милицию.

Приехала машина милиции. Расспросили и сказали всем идти спать. Не мешать расследованию. Василиса послала их к ссыльным, и там они забрали рыжую, ту, которая сказала "был, да сплыл". Потом вернулись и увезли еще двоих.

– Я должна искать его. Пойдешь со мной? – спросила Диму Сашка.

– Менты сказали не крутиться.

– Я лучше знаю, где его искать.

Они пошли в поле. Все спали. Водка была выпита, милиция оповещена, а завтра ожидал рабочий день и нужно было добросовестно работать под руководством Василисы. Дима шел чуть позади Сашки, смотрел на ее тонкую, слабую талию. В талии не было гибкой упругости ветки, как любил Дима, а скорее дрожание теплого воздуха, поднимающегося над водой, и это тепло держало Сашку над землей. Он не мог даже подумать о том, чтобы дотронуться до нее. Даже тогда, когда того требовали правила вежливости, например, подать руку, чтобы помочь преодолеть какую-нибудь канаву. Ему было очень страшно и одновременно смешно. Они молча осматривали все темные предметы на поле, несколько раз возвращались к крану с водой. "Пить захочет, к воде пойдет".

Сашка иногда говорила:

– Может, и правда убили.

И каждый раз сама же добавляла:

– Нет, так не бывает.

Один раз Дима спросил:

– Почему так не бывает?

– Слишком хорошо было бы, если б когда, кто кому мешает, так тот сразу бы и помирал.

Они ходили, пока не поднялся рассвет, прозрачный и светло-серый, такой, как Сашкины глаза. Сашка стала почти невидимой, растворилась в смутном свете рассвета.

– Хватит, – сказала Сашка. Она взяла Диму за руку и завела его в узкий промежуток между школой и тем баракom, где жили уголовные. Там еще оставались остатки ночи. В глубине лежал большой деревянный ящик, похожий на гроб. Сашка посмотрела на ящик, задумалась ненадолго, потом отрицательно покачала головой. Перед ящиком были удобно сложены большие фанерные листы, наверно, кто-то спал там раньше. Может, из тех, кто не хотел спать в духоте спортзала. Они встали на колени на фанеру. Один против другого. Первой опустилась на колени Сашка, а следом за ней и Дима, стараясь представить себе, как это выглядит со стороны. Сашка подняла кофточку. Ее маленькие грудки со светло-розовыми кружочками вокруг вздернувшихся сосков стекали, парили, не растекаясь на легких волнах ее тонких ребер, трепетавших под тонкой, белой кожей. Дима осторожно прикоснулся к ним кончиками пальцев, не веря, что этой эфемерностью можно воспользоваться, как обыкновенным телом. Он подумал, что такой теплой кожи, именно, не горячее, а очень теплой, он никогда не встречал. За Сашкиной спиной раздался шорох. Дима отнял руку от Сашкиной груди.

Из-под длинного деревянного ящика, похожего на гроб, вылез Лешик. На лице его были кровоподтеки, глаза смотрели не очень ясно, но весело, а на лице снова сияла дружеская, располагающая к себе улыбка. Начинался новый день. Сашка не удивилась. Она не торопясь опустила кофточку и сказала:

– Я же говорю – неразменный рубль.

Сашка повернулась к мужу, помогла ему подняться на ноги, и повела его к водопроводному крану.

"Точно, он и есть неразменный, – сказал себе Дима, – Ну их..." Он уехал с первым же автобусом в город и за небольшие деньги получил у знакомого врача освобождение от сельхозработ. На ближайший месяц.

ХУЛЬ

Каждый год в жизни дерева остается кольцом, по кольцам можно сосчитать, сколько дереву лет. Годы замужества Оделии Ефимовны можно было сосчитать по килограммам. Каждый год по килограмму; но если у дерева бывают кольца узкие в трудные годы и широкие в хорошие годы, то у Оделии Ефимовны все ее килограммы были одинаковые, нежные, ровные, светящиеся упругим, сочным жирком. Килограммы, воздушные, как торты с кремом, которые она могла почти мгновенно создавать по необходимости, когда приводил в дом Филипп Эдмундович, ее муж, нужного человека, или по вдохновению, которое на нее снисходило тоже весьма часто. И то, что по вдохновению она изобретала, могла она потом повторить для кого угодно, хоть для детей, хоть для нужных гостей. А их было в изобилии, как, впрочем, и всего в доме. В их компании, непонятно почему (в Израиле!), друг к другу по имени-отчеству обращались. Может быть, потому, что их гостями бывали самые важные люди, какие в жизни бывают. А, может быть, в шутку так повелось по молодости.

Дом у нее был в несколько этажей, с верхнего море было видно. Летом, в жару, голубизна моря явно раздражала ее, зато зимой, когда серело море, покрывалось белыми бурунами, судя по ее глазам, представлялось ей, с ее балкона, что она – буревестник, и реет над постоянно из ее окна видной равниной моря. За вид на эту равнину моря доплатили они подрядчику отдельно, и не мало доплатили. Со своего балкона рвалась все время Оделия Ефимовна за море. За границу, по-другому говоря, или, называя на иврите, в хуль. Филипп Эдмундович, угадывая ее душевное томление, спрашивал: "радость моя, какого тебе еще хуля надо?" А она отвечала ему: "рыбонька" и заказывала: "Париж, Амстердам, Токио, Гонолулу..." И все исполнялось.

Также исполнилось и ее желание поехать на свадьбу дочери подруги детства Галочки Федоренковой. Филипп Эдмундович не смог, а, скорее, просто не захотел тащиться в родной город М-ск.

М-ск из тех городов был, в которые хоть три дня скачи, не доскачешь. Туда от Москвы еще несколько часов на самолете лететь надо. Далекая граница.

В м-ском аэропорту ее встретила Галина, а за рулем машины сидел другой одноклассник – Дима Семиверстный. Он с возрастом потемнел, покрылся седой бородой и, казалось, стал еще сильнее и представительней, чем в молодости. Работал на телевидении и хотел свой фильм снять. Сразу, без долгих разговоров, попросил у Оделии, там ее по-школьному Делей называли, денег на это дело. Сумма показалась ей смешной, и она прямо в машине ему отсчитала. Галина сказала: "совсем не изменилась, ну, ни капельки!" И пока ехали, смеялись, болтали, стало казаться, что никогда она из М-ска никуда не уезжала, и что впереди не свадьба Галиной дочки, а школьный выпускной вечер, и надо принимать какие-то важные решения, от которых все зависит. По дороге же выяснилось, что у Галины квартира маленькая, а у Семиверстного хорошая трехкомнатная, в центре города, тут сразу и решили, что за те деньги, которые Оделия Ефимовна Семиверстному отсчитала, она у него комнату снимет. Будут в расчете. И снова все по-доброму смеялись. Сами над собой.

Дома у него Оделия Ефимовна с дороги сразу решила ванну принять, а пришла в себя уже в постели, лежала, прижавшись щекой к мускулистой груди Семиверстного. Ее потом Галина спросила, как она так быстро могла решиться, а Оделия Ефимовна сказала, что никогда ничего подобного у нее не было, а это, оказывается, очень просто, вроде как за руль новой машины сесть (в этом у нее большой опыт был), то есть, объяснила, что, если тянет хорошо, то быстро привыкаешь. Вечером поехали к Галине, потом три дня на свадьбе пили, потом были поездки за город, встречи на киностудии, вечера поэзии, вторая молодость. А у Семиверстного и первая еще ни разу не кончалась. Шумная, быстрая, цветная. Муж Оделии Ефимовны родился, чтобы взрослым жизнь прожить, зрелым, а Семиверстный, чтобы молодым, полным надежд. И Оделия Ефимовна рядом с ним Делей снова стала. Совсем бы мгновение для нее остановилось, но его-то, наверно, остановить можно, потому что течение времени, несомненно, легче остановить, чем течение денег. И когда от солидной пачки долларов остался тоненький слой зеленых бумажек, вздохнул Семиверстный, что он потому, люди говорят, не стареет, что его надежды не сбываются. Деля посчитала, что всего ему нужно пару тысяч, и тогда все, ради чего он жил, сбудется, а он добавил, что только благодаря ей, Деле. Какая женщина не мечтает хоть раз жизни стать, той самой, о которой сказано: *шерше ля фам!* Стать причиной успеха мужчины. Похудевшая, помолодевшая Оделия Ефимовна села к письменному столу Семиверстного и написала мужу подробное письмо. Ей и в голову не пришло о чем-то другом подумать. Он ей всегда помогал. Написала, что начала новую жизнь и поэтому ее голос по телефону ему странным казался, но теперь он все должен понять и простить, и помочь ей, потому что больше помочь ей некому, и что ей и ее Семиверстному для их фильма

нужно всего две тысячи и еще столько же на жизнь, пока все устроится. Закончила тем, что забыть свою рыбоньку она никогда не сможет, и от этих слов сладко защемило сердце. Вспомнила балкон, море, сильные волосатые руки, блестящую лысину и довольную улыбку Филиппа Эдмундовича... Но тут в комнату зашел Семиверстный, и она уже привычно встала ему навстречу, готовая идти, куда скажет... Письмо в тот же день улетело с оказией в Израиль.

На следующий же вечер Филипп Эдмундович, получив письмо, собрал дочерей и устроил семейный совет. У старшей дочки был маленький ребенок, у него резались зубы, он плакал ночами, и она от этого была раздраженной и плохо выглядела. Ей мама нужна была рядом. Младшая, студентка, плакала и уж совсем, как маленькая, кричала, что хочет маму. Филипп Эдмундович, недавно справивший блестящую серебряную свадьбу, с ужасом представил себе, что если жена не вернется, то придется вместо нее привести кого-нибудь в возрасте его дочерей, и эта новая будет называть его просто Филей, как у них, у новых, водится. Филипп Эдмундович содрогнулся. О тортах, конечно же, и речи не будет. "Нету другой такой...", — томительно зазвучала в голове студенческая молодость. Первым же рейсом Филипп Эдмундович с младшей дочкой вылетел в Москву, а оттуда в М-ск.

Оделия Ефимовна была на киностудии, смотрела, как Семиверстный фильм делает, советы давала, если кто рядом с ней оказывался, когда вдруг среди всего этого волшебного великолепия света и музыки увидела дочку и Филиппа Эдмундовича. В тот же миг она Каштанкой кинулась к ним, забыв свет юпитеров и предстоящий вечер поэзии. Через полчаса она с дочкой уже ехала на такси по магазинам скупать сувениры, а Филипп Эдмундович, отдав Семиверстному необходимые тому для полного счастья четыре тысячи долларов, договаривался с ним об условиях спонсорства для следующего фильма, который уже надо будет снять по всем мировым стандартам. Дело показалось Филиппу Эдмундовичу интересным и прибыльным.

* * *

Если бы Оделия Ефимовна была деревом, то события этого года остались бы в нем тонким кольцом, если бы она была свиньей, то прожилкой мяса в сале, но она была блистательной женщиной, и по ее наружности уже через две недели ничего нельзя было угадать. А о чем она думала зимой, глядя с балкона на бурную равнину моря, никому не дано знать. Сказано же: запертый сад, запечатанный источник...

Догадываться, конечно, можно, но кому это, кроме Филиппа Эдмундовича, интересно? Ведь для других это досужее любопытство, а Филиппу Эдмундовичу за ее мысли и платить, и расплачиваться.

ГОЛУБОЙ ВАГОН

Семка Головкер родился и вырос в М-ске, а теперь был в городе туристом. Он жил в Израиле, работал врачом, писал статьи и рассказы и посылал туда, где публиковали. Он и поехал в отпуск на доисторическую родину, чтобы найти что-то интересное, о чем писать. Он писал по-русски, и темы, соответственно, искал русские. Из М-ска он уехал давно, знакомых почти не осталось. Один из тех, кого он смог отыскать, отвел его в местную фирму под названием "Головастик", пообещав нечто интересное. Фирма занималась маркетингом нестандартных идей. В "Головастике" ему предложили написать про них. Просили не простую газетную статью, а что-нибудь необычное. Заграничная реклама должна быть изысканной.

– Фамилия у тебя для нас как по заказу. Наша сотрудница тебе город покажет и о фирме все расскажет.

– Будет рассказ о фирме глазами ее сотрудницы, – согласился Головкер.

У сотрудницы, отряженной показывать М-ск Семке Головкеру, оказалось подходящее имя – Муза. Музе было тридцать три года. Она была невысокой плотной блондинкой с крепко сложенным красивым телом и броским лицом, с большими темными глазами, смотревшими на мир жестким взглядом, какой вырабатывается долгим одиночеством.

Муза держалась холодно, явно желая показать, что навязанная обязанность ей не нравится, но работа есть работа.

– Ты корреспондент? – спросила она. В голосе и в форме вопроса не было уважения.

– Я врач и писатель, – ответил Головкер. Такое сочетание обычно производило впечатление. Но здесь эффект был обратным.

– Как Чехов, – кивнула она головой, – только так.

– Есть такие, которые боятся брать ответственность лечить человеческие тела и вместо этого исследуют души. Я совмещаю, – продолжил по инерции другой своей дежурной фразой Головкер.

– Что же тебе показать такому в нашем М-ске? – холодно спросила Муза.

– Все так изменилось, – сменил тон Головкер. – Пойдем, куда глаза глядят.

Они отправились по выбранному Головкером маршруту. Ходить по нему можно бесконечно долго. В любом городе есть что посмотреть: вид с обрыва на реку, старую церковь, новый центр... Они шли не торопясь, разговаривая о разном, постепенно знакомясь друг с другом. Головкер хотел сломать атмосферу отчужденности, он знал, как это делается, и расспрашивал не о фирме, а о самой Музе. То, что можно спросить. Какие фильмы любит, где училась... Муза медленно оттаивала. Через час Головкер уже знал, что она по образованию историк. Работа у нее интересная и неплохо оплачиваемая. Живет с родителями. Потому что квартира большая, в центре. Хочет уехать. Куда-нибудь,

хотя любит М-ск. Но в М-ске ей, наверно, жизнь устроить не суждено. Он попытался поговорить про ее жизнь, но она ушла от темы. Предложила пойти посмотреть театр. Шла быстро, чуть впереди Головкера, так же быстро говоря о городе, скользящем перед их глазами. Перелом в их отношениях произошел, когда напротив них оказалась театральная афиша: "Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано". Муза остановилась перед ней. Читала огромные голубые буквы, выстроившиеся вдоль театральной площади.

– А это для меня. Тридцать три мне уже! – вырвалось у Музы, и голос ее перестал быть официальным и стал грустным.

– Возраст Иисуса, – сказал Головкер первое, что пришло в голову. Он никогда не знал, что следует сказать в ответ на признание женщины о возрасте.

– Намеряешь, что мне на крест лезть надо, если мужа нет? – обиделась Муза. Она стала слабой и беззащитной.

– Нет, предлагаю распять тебя, – засмеялся Семка, снова почувствовав себя сильным и смелым.

– Раз пять – это очень хорошо, – тихо призналась Муза, – столько, знаешь, и за месяц иной раз не набираешь.

– Подсобим, – пообещал Головкер, – в этом месяце.

Она отвела глаза и сказала:

– Ты писатель, тебе во всем признаться можно, как врачу. Тот историю болезни пишет, а ты историю жизни. Вам все знать надо.

– А я и врач тоже, – с гордостью напомнил Головкер, радуясь своей победе.

– Так, может, мне и раздеться, как перед врачом? – уже несколько ехидным тоном спросила Муза.

– Можно, но лучше, как перед писателем, – улыбнулся Головкер.

– У нас есть чудный парк в городе, – улыбнулась в ответ Муза, но тут же поменяла тон, и ее голос снова стал официальным. – Ты его помнишь? Говорят, и в Лондоне такого нет. Правда?

Муза быстро пошла вперед. Это означало: мы с тобой не о том заговорили, а у нас работа.

– Помню, – ответил ей вслед Головкер, – кто ж его забудет.

Он смотрел, как тонкая зеленая юбка стекает по ее бедрам и думал: все-таки "врач и писатель" сработало, сама про это заговорила.

Муза остановилась, вопросительно повернулась к Головкеру. Он развел руками, демонстрируя свою покорность:

– В парк.

Они долго ходили по почти пустому парку. Кое-где еще остались старые таблички: "По траве не ходить", и они дисциплинированно ходили по аллеям. В парке Муза начала подробно рассказывать о "Головастике". Ее рассказ показался Головкеру таким же необъятным, как и парк. Говорила много. Не то по обязанности, – она же была его гидом, не то потому, что по своей природе не была молчаливой. Наверно, поэтому ее на такую должность взяли, предположил про себя Головкер. Потом понял

– тянула время, чтобы не выглядеть слишком доступной. Он перестал прислушиваться к ее словам. Материала было в ее рассказе вполне достаточно. Не хватало только чего-то, что придаст статье заказанную необычность.

– Надо где-то присесть, записать. Ты мне столько рассказала, – остановил он Музу.

– Скамеек давно уже не осталось. Можно на траве посидеть, – она огляделась. Вокруг, действительно, были только трава и деревья. Даже узкая аллея, по которой они шли, упиралась в траву потрескавшимся асфальтом и кончалась там.

– Можно, – согласился он.

Они сделали еще десяток шагов по траве и сели. Оба устали от долгой ходьбы и казенной темы. Возвращаться к этой теме не было желания ни у Головкера, ни у Музы, тем более, что между ними уже все было сказано. Хотя бы и в шутку. Головкер посмотрел на Музу. Она не отвела глаз. Они были влажными и блестящими. Головкер положил руку ей на колено, и лед окончательно тронулся.

– Ты мне обещала раздеться, – напомнил Головкер.

Она откинулась на траву, улыбнулась легко и радостно:

– Перед врачом раздеваются. Писатель должен раздеть сам. По своему вдохновению.

Головкер удовлетворился минимумом. Когда они потом поправляли одежду, Муза сказала:

– У тебя нет смелости, а значит, и полета фантазии. Неужели тебе не хочется голому поваляться на траве?

Муза была взыскательна, как большинство мимолетных любовниц, требующих полной платы за свою доступность. Но Муза всегда требовала несбыточного. Поэтому была одна.

– Хочется. Но я применяюсь к обстоятельствам, – привычно начал выкручиваться Головкер.

– У вас у всех обстоятельства вместо вдохновения... Придет-ся мне диктовать тебе твою статью. Давай, пиши, – Муза сладко потянулась. – После этого у меня в голове такая свежесть.

Головкер не стал ничего записывать. Он снова уложил Музу на траву и снова снял с нее тот же минимум.

Благоразумие Головкера оказалось оправданным. По аллее приближалась группа молодых мам с колясками. Они давно заметили пару на траве, и в их глазах мерцала обыденная смесь зависти и злорадства. Муза улыбнулась, признавая взглядом: "Ты был прав". Головкер, работая на мам с колясками, подчеркнуто вежливо помог Музе встать, и они снова пошли гулять по городу. Она больше ничего не смогла добавить про "Головастика". Но они просто беседовали. Головкер узнавал знакомые улицы, старые дома, и благодарная память о М-ске сближала его с Музой. В ее биографии не было другого города.

Подошло время, подходящее для раннего ужина или позднего обеда, и они зашли в ресторан. Неторопливый пожилой официант вежливо обслуживал их. Аппетит у обоих был хороший. Мысль, что он должен написать что-то сегодня, представилась

абсолютно бессмысленной. Можно было расслабиться и спокойно погрузиться в окружающее, в котором Муза рассказывала о гениальном сыне своей сотрудницы. "Заговорила о детях", отметил Головкер, но его это не испугало. Наоборот. Головкер начал подумывать о том, чтобы пригласить Музу к себе в номер. Остаться еще на день в М-ске. Торопиться ему было некуда. "Головастик", несомненно, предоставит ему Музу еще на день. Она будет говорить, и в ее словах он найдет искомую ноту, которая придаст статье нужное звучание. Все как будто складывалось удачно. Присутствие Музы в его жизни виделось вполне естественным и необходимым. Леность покоя начала обволакивать Головкера, и порождаемая этой редкостной леностью нежность излучалась на Музу. Муза нежилась под этими лучами, и ее глаза становились все мягче и все теплее. Она перестала говорить о сыне своей сотрудницы и сказала, что хочет танцевать. Головкер хотел уже встать, заказать что-нибудь медленное, он уже видел, как они плавно кружатся по залу, плотно прижавшись в танце друг к другу. Муза смотрела на него, ждала приглашения. Он, прикрыв глаза, кивнул головой, как бы говоря, сейчас закажу что-нибудь для нас с тобой.

Но прежде, чем он успел подняться со стула, ресторанный певица запела про голубой вагон, который катится в лучшее. Головкер вдруг ощутил где-то за грудиной щемящую радость, и руки, загоревшись, потянулись к перу, и захотелось сесть с листом бумаги, хоть бы и в катящемся вагоне; прекрасным местом вагон показался, особенно столик в вагоне-ресторане. Куда ехать, Головкеру было все равно, только бы было утро и свободный столик в вагоне-ресторане, у которого так легко верится в лучшее. Где яснее, чем из вагонного окна, видно, как будущее, пробегая мимо, становится прошлым. Он почувствовал, что его новелла, а это будет именно новелла, а не статья, ляжет на бумагу так же легко и радостно, как Муза на траву. И в это мгновение Муза стала для него прошлым. Только навсегда у него в памяти осталась досада, что не увидел он наготы ее тела на траве почти пустого парка. Но Муза закончила свою роль в его жизни – Головкеру было о чем писать. Рекламную новеллу о фирме "Головастик". "Это нестандартно. Это необычно", – восхитился своей находкой Семка Головкер.

Окрыленный нетерпением, он поднял на Музу взгляд, отрешившийся и воспаривший, и сказал, даже не подумав что-либо объяснить ей:

– Пойдем, я такси возьму, ты домой поедешь, а я на вокзал, к поезду.

– Домой? – не сразу поняла Муза. – А ты к поезду? – снова спросила она после паузы. Она замолчала, и ее отогревшиеся за день глаза начали постепенно холодеть. Когда они обрели обычную степень жесткости, Муза продолжила:

– Нет. Знаешь, оставь мне лучше денег на такси, а я у ресторана постою. Раз уж я здесь... Мне тут со столика в углу один улыбался...

ЛЕВ

Аня вышла замуж за Леву. Обычная еврейская свадьба, обычная еврейская пара из обычной еврейской компании. Он закончил политех, она училась в институте искусств. Все потому, что он в детстве хорошие оценки по математике имел, а она в музшколу ходила. Успели они до перестройки пожить, он в конструкторском бюро работал, она – в редакции. На взморьях бывали, машину имели. Вкалывал Лева, да и от родителей деньги шли. Требовательную жену старался во всех отношениях удовлетворить. Только ее душе, взлелеянной в институте искусств, тесно было с Левой. Пропадал Лева на работе целыми днями. Да куда ему себя тратить-то было еще?

Совсем другое было у Ани, у той было призвание. Ее делом были живопись и скульптура, она про них в газеты писала. Однажды даже программу по телевидению сделала. Поэтому среди обычных идей, из серии куда поехать и что купить, каких у нее прорва была, появилась и одна интеллектуальная. Из тех вечных, злых вопросов, на которые трудно ответ получить, особенно при тоталитарном режиме. Вопрос был таков: почему мужской половой орган прилично изображать, а женский неприлично? Порылась она в альбомах, в музеях местных – всюду одно и то же. Скандал даже как-то в редакции закатила из-за того, что кто-то в статье упомянул детородный орган Геракла. "Какой-токой детородный орган у Геракла? Он же мужчина! Это у нас, у женщин, такой орган есть, но дискриминируют нас! Эксплуатируют! Грабят!.." Сказал ей кто-то, что в коммерческих целях демонстрацию этого женского органа на Западе используют в порнографических журналах, а у нас при социализме нельзя. Но тут вспомнили, что и социализма уже вроде как бы мало осталось. А Аня завопила, что женщин в проститутки превращают, поэтому и не рисуют всё, как оно в жизни есть, а только за деньги в порножурналах печатают, и это как сухой закон, то есть запрещают, чтобы мафия на порнографии наживалась, а вот теперь она с этим бороться будет, не зря ведь перестройка и гласность. А если гласность, так нельзя умалчивать больше, что у женщин детородный орган есть, а наоборот, следует добиться, наконец, чтобы он свое достойное место в искусстве занял. Уволилась Аня с работы и поехала в Москву и Ленинград, по музеям походить, со специалистами посоветоваться. Деньги в то время обесцениваться стали, но она собрала, что было, Леву в новосозданный кооператив работатаь отправила, а сама рванула в столицу.

Судить ли Аню за это? Что еще она могла сделать? Ведь сказано же, что враги человеку – домашние его. Могла ли она чего-то особенного от Левы своего ожидать? Он обычным инженером был, обычным еврейским парнем, желавшим на обычной еврейской девушке жениться, а Аня одержимой оказалась. Идеей. Такой идеей, какая в Левин мир КВНов и преферанса только глупой шуткой вписаться могла. А идее, чтобы существовать, необходимо овладеть человеческим телом, бывает, что она и массами овладевает,

но главное, что попадает идея зачастую в неподходящее тело. Но, в какое бы тело идея не вселилась, подходящее или нет, кормить это тело надо. Даже если идея поселилась и в теле, и в семье этого тела кукушонком. Чужим, голодным, требовательным. Кормить кукушонка пришлось Лева.

По Москве Аня походила, потом по Ленинграду. Сначала одна ходила, потом специалиста нашла. По изобразительному искусству. "Вот, – она ему показывала на обнаженные статуи, – у мужчины все натурально изображено, а у женщин – гладко! А там же – бездна!!! Тонкость изгибов, нежность линий, благородство красок! А вместо этого, скажите-ка, – ничего! Впрочем, что говорить, тебе ж это все виднее, чем мне. Ты согласен?" Специалист в целом согласился, но добавил, что, чтобы показать все женское это на картине или скульптуре, позы нужны особые, а позы эти считаются слишком интимными, но Аня с гневом отвергла это: "В любой позе все видно!" Специалист признался, что никогда об этом не задумывался, посмотреть надо внимательно, и они пошли к нему домой изучать различные позы. "Вроде бы и, правда, все видно", – утомленный, признался он, но добавил, что поспешных выводов делать не следует. "Пушкин, – сказал он, – перед дуэлью написал в дневнике, что не надобно торопиться, а надобно сжиться с предметом и постоянно им заниматься". И стали они с предметом сживаться, даже на дворцы и парки времени не осталось. Проверяли они позы всевозможные, оценивали, какая приличная, какая неприличная, какая функциональная, а какая неестественная и т. д. Даже записывать все собирались, но руки не доходили. Пару раз Лева переводы присылал, но кооператив так себе развивался, хоть и работал Лева по пятнадцать часов в день и питался в ближайшей пельменной.

Когда стало ясно, что денег больше нет, а также, что углублять и расширять тему дальше невозможно, специалист задумчиво сказал, что Ане нужно уезжать за границу. Там это все в музеях выставлено. Рембрандт, Пикассо... Сейчас уехать за границу просто, а здесь жить будет все труднее и труднее. Ане идея сразу же понравилась. И родственники в Израиле уже были.

Напоследок специалист повел Аню по Ленинграду и у одного величественного здания показал ей двух бронзовых львов. "Есть примета, что если погладить льва, то будет много денег". В таких вещах Аня не колебалась. Она подошла ко льву и, лихо закинув ногу, уселась на него. Попыталась подергать за гриву, но бронзовая не поддавалась, тогда она шлепнула льва по бронзовому задку и прикрикнула: "Много чтобы денежек было! Старайся, левушка". Попрошавшись с бронзовым львом, пошла прощаться со специалистом. Прощание было теплым и продолжительным. Фотографию Ани со львом специалист выслал ей уже в Израиль.

Дальше были сборы, ящики, чемоданы, самолеты... В Израиле Лева устроился техником на заводе днем и сторожем еще где-то, по ночам. Аня училась на разных курсах, иногда со стипендией, иногда без. Дочку, которой тринадцать исполнилось, отправили к родителям, там под присмотром больше будет, и море рядом. Аня

хотела докторат писать, но тема ее не подошла. "Ты, – сказали, – русская, все вы такие... Одним торгуете". Так она, во всяком случае, рассказывала, когда объясняла, почему в докторате не училась. Как бы то ни было, ее в университете не поняли. Некому было даже пожаловаться, что для ее темы ей по всему миру по музеям ездить нужно, книги покупать, картины, альбомы... Рембрандт, Пикассо... Сидела дома, грустила или ходила на литературные тусовки, ругалась, что все не так в Израиле. Объясняла, что работать не может, а только подрабатывать, – нельзя ей себя растрачивать. У нее особое дело в жизни, и она им всем еще покажет! Лева тем временем худел, темнел, говорил все про покупку компьютера, что если купить, то он быстро дома подучится и работать устроится, но деньги расходились куда-то. Пока как-то вечером он не позвонил и не сказал, что будет жить теперь на квартире при заводе, чтобы времени на дорогу не терять. Денег пообещал давать каждый месяц, сколько положено. "Что значит: сколько положено?" – стала Аня скандалить. "Ну, сколько суд скажет, значит, так это бывает, кажется", – ответил. А тем временем давал как обычно, почти все, значит. Впрочем, наверно, все-таки, немного меньше – на адвоката собирал.

Раньше плохо Ане было, а тут совсем невмоготу стало. Посоветовали ей сходить к некоей даме, прорицательнице и массажистке. Массаж та отказалась делать, мол, только для мужчин, а погадать согласилась. Гадала по своей особой системе, по семейным альбомам. Помогала, говорили. Кому советом, кому делом, кому только намеком. Пошла к ней, взяв сумку с альбомами. "Помоги хоть мужа вернуть..."

Прорицательница долго листала альбомы. Дойдя до фото со львом, прорицательница покачала головой и сказала: "Погладить льва надо было, а не садиться на него, извините за выражение, чем... Тогда лев стараться для тебя будет. Это вообще принцип такой в жизни должен быть, понимаешь?"

Аня ушла от нее тихая, задумчивая. Пошла к мужу. Когда Лева забежал к себе по дороге с работы на работу, Аня тихо спросила: "Устаешь? Тяжело тебе? Да?" Обрадовался Лева слову доброму, обнялись и, сколько времени до ночной смены оставалось, проговорили. Обещал Лева, что адвоката брать не будет, а на эти деньги купит компьютер, получит работу, дочку к себе заберут... Аня слушала молча, смотрела на Леву грустно. Осталась у Левы ночевать.

Утром Лева, забежав снова к себе по дороге с работы на работу, нашел жену слегка повеселевшей. "Поняла, что мне прорицательница сказала, – объяснила она, – ночь не спала, думала. Правда, начнем мы с тобой жить по-другому. Я так решила, ты теперь еще по субботам возьми дежурства и компьютер пока не покупай. Мне в Ленинград поехать нужно. Льва поглажу, надеюсь, простит мне лев, деньги у меня будут. А уж тогда... я им всем покажу!"

Лева слушал, переминаясь с ноги на ногу. Опаздывал на работу, но не смел прервать жену.

Владимир Френкель

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ПУСТОМ КАФЕ

* * *

Если долго смотреть на закат,
То увидишь невиданный город,
Что огнями как будто объят
И пылающим солнцем распорот.

А немного еще подождать
Разрастается город, темнеет,
Я совсем уж нельзя угадать,
Что во что превратиться сумеет,

А потом не видать ничего.
Наступившая тьма поглотила.
Вот эпоха прошла, а всего...
А всего полчаса не хватило.

* * *

Пустеет ночь. И дождись минуты –
Исчезнут тени, потом и люди.
Пустеет город.

Сметает ветер остатки бликов
Погасших окон, от многоликих
Домов ослепших.

А что увидит здесь соглядатай –
Фонарь забытый, четвертый, пятый,
Куда их столько!

Вот время ночи. На синем плане
Рисуем белым все то, что с нами
Могло бы стать.

Есть время ночи. Рисуем снова,
Смеясь и плача, черты былого,
Все то, что знаем.

Все то, что знаем, чего на свете
Мы не увидим, уже до смерти,
Смеясь и плача.

* * *

Летучая ли мышь, или ночная птица,
А может быть, полет опавшего листа,
Бесследно промелькнет, Бог знает что приснится,
И тень переместит, и ночь уже не та.

Слышней всего во тьме неразличимый шепот
За много верст отсель, не то за много лет,
Что невозстановим, приумножая опыт
Небывшего нигде, и оставляет след,

И оставляет вдруг впотьмах, в недоуменье,
В неведение о том, в каких еще слезах,
В каких еще ночах живет прикосновенье,
Мгновение одно, в каких еще стихах.

Что я недосказал, что ты недосказала,
О чем и говорить с невестрекою вдвоем...
И ночь переместив, мы все начнем сначала,
начала всех начал, что в шепоте ночном.

ВОСПОМИНАНИЕ О ГЕРМАНИИ

Вот я гуляю по иностранному городу.
Кёльнский собор отовсюду виден, старый Рейн его огибает.
Иногда мне кажется – я бывал здесь смолоду.
Пусть этого не было, но чего только не бывает.

Я сижу за столиком у реки над бокалом пива.
Почти понятная речь вокруг, хоть этот язык я, увы, подзабыл
Старая Европа, в окнах закат, подумаешь, диво,
Что я был здесь когда-то, что я когда-то ее любил.

Ибо каждый день целой подобен жизни,
Мы рождаемся утром, чтобы вечером умереть,
И начать все заново, с нового берега, с новой отчизны,
С новой строки, прежние позабыв стереть.

Различим ли текст, что написан позавчера, когда-то,
Различим ли еще твой желтоволосый, соломенный рай,
Островерхие окна, изломы твои, Европа, твои закаты,
Твои соблазны, Европа, оставляю как есть, прощай, прощай.

* * *

Осенью, с самолета,
Что-то уже не так.
Вот проступает что-то,
Точно небесный знак.

Точно в одно мгновенье
Мы завершили крут
Памяти и забвенья,
Вот и летим на юг.

Осенью, улетаю,
Нечего больше ждать,
И ничего не зная,
И не желая знать,

Что неизбежны слезы,
Что не увидим, нет,
Нашей осенней прозы
Мимоидущих лет.

* * *

Перекасти-поле, или, по времени и месту,
Перекасти-камень колючей пустыни, как еще
Не рассыпался в прах, путешеству-
ющий, существующий, или как еще...

Камень к камню лежит, скрипя боками,
Гранями, или кремнями, не знаю как
Еще повернутся, и проплывают под облаками
Тени облаков, то есть небесный знак.

Помолиться за них, катящихся, путешествующих мимо
Почти пилигримов, почти плывущих, как
Катятся камни, осыпаясь неостановимо!
Помолиться о них, за них, перед тем, что мрак

Всех сравнивает ночью в отчествах наших
Каменных, ветреных, травяных, каких-то там
Еще неизвестных, сквозных, пропащих,
Пока не докатимся, не рассыпемся по местам.

Каменной пустыни жалобный посвист ночью,
Каменная музыка все равно в какой стране,
Перекасти-камень... место дадим многоточью...
Перекасти-поле катится по стерне.

* * *

И. Малеру

О чем мечтали? На что играли?
Какие сказки дарили кралям?

Какие жизни считали счастьем,
Когда сказали: — не в нашей власти...

Когда узнали времен размеры,
Размеры века, дороги, веры...

Теперь мы сами — в дороге немые,
Теперь над нами пустое небо

Поет о новой, чуткой свободе,
Как мы уходим — от нас уходят

В пустые своды тугие рельсы.
Теперь свободы — ну хоть залейся.

НЕ ПЕРЕВОДЯ ДЫХАНЬЯ

1. город
где есть рее эпохи
но нет своего дома
2. город
где идешь вверх вниз
словно тяжело работая
не переводя дыханья
3. город
где выходишь куда Бог приведет
даже без тумана
4. и если у любого города — своя душа
то у этого — много душ
все души
как у перво-адама
5. наши строки о том что будет
мы уже все пережили на бумаге
а потом сверяем с написанным
одобрительно кивая
6. туман сокращает путь из дождя в дождь
от города к городу
от сердца к сердцу

СВАЛКА

Все, что остается как придется,
Все, что приедается, все то
Разномастным сором обернется,
Выпадет в осадок, но зато –

Брошенное, все, чего не жалко,
Склад времен, паноптикум идей,
Высится невиданная свалка
Вавилонской башней без затей.

Жадность философии вещиизма
Заполняет целый материк,
Блеск и нищета постмодернизма,
Явленные вовсе не из книг.

Тут идет война на истощенье,
Что на что меняют – погляди,
Свалка, торг, души опустошенье,
Сзади – хлам, пустыня – впереди,

Не догнать нам далеко зашедших,
В хламе заблудившихся людей.
Верю в воскресение умерших,
Но не в воскрешение вещей.

Получив у вечности отсрочку,
Грех не помнить срока своего.
Каждый умирает в одиночку,
Не беря с собою ничего.

* * *

А нам не пережить столетья,
Хотя оно уж на излете.
Река, морскую даль не встретив,
Исчезнет где-нибудь в болоте.

Малоуспешны предсказания.
Не все равно ли нам – какое
Одно последнее сказанье,
Еще одно, еще другое.

Похоже, все уже бывало,
И век закончиться не может,
А мы живем, и горя мало,
И радость нас не потревожит.

* * *

Вот и не заметишь ни смены века,
Ни, тем более, смены власти,
Перемены вех, перемены ветра,
Или какой еще там напасти.

Пусть "и это пройдет", вот и жизнь проходит,
Все быстрее и быстрее проходит мимо,
Как будто ветер от нас уносит
На облаках отражение мира.

Вот и стой на ветру, и уже не страшно
Ничего потерять, ничего не будет,
На каком языке говорить – неважно,
И в какой стране – это Бог рассудит.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ПУСТОМ КАФЕ

Полупустой пока, город с утра прозрачен,
Абрис домов и улиц начерно лишь означен.
Выбежав из парадных, кто пробежит – пройдет,ся,
Не угадать, кому там место в кафе найдется.

Будущее где-то рядом, там за углом таится,
Не торопись, не надо, пусть полусвет продлится.
Не торопись, как видишь, нет никого, а стража
Спать завалилась, с ночи не похмеляясь даже.

Вот на старинных плитах тает и тает утро.
Тих еще и безумен, город глядится смутно.

Тих еще и безумен, видно, пока не знает,
Что неизбежно скоро будущее настанет.

* * *

Мы оставляем за собой пустыню
Длиною в жизнь. Мы ничего не помним.
Точнее, эта жизнь не помнит нас.

Не зная как, зашли в глухое время,
Где нас не слышно. Это мы не слышим.
Где мы не слышим нас. И никого.

Нам не связать начала и концы.
Казалось – жили, видим – разрушали.
Там, где прошли, ни склада нет, ни лада...

И даже рифма не нужна в стихах.

* * *

Я распрощался с Городом, думал, что навсегда.
Время проедет, я думал, точно в реке вода.
Дважды в такую воду... нет, уже никогда.

Нечего мне там делать, нечего там искать,
Что без меня случилось, мне уже не объять.
Время, вода речная, не обратится вспять.

Я распрощался с Городом, время, я знал, течет,
Берег проходит мимо, а облака не в счет,
Воды проходят мимо, берег уже не тот.

Перечислять не стоит страхов, утрат, потерь,
Радостей и печалей, да и на что теперь.
Нет, ничего не бойся, нет, ничему не верь.

Нет, ничего не надо времени вопреки,
Самое время думать – что там, в конце реки?
Самое время видеть дальние маяки.

Так я писал когда-то, что один на один
Я остаюсь с любовью, но посреди руин,
Но посреди пустыни я остаюсь один.

Я распрощался с Городом, думал, я далеко
Вниз по теченью – это будет совсем легко,
Вниз по теченью, в море, за море, далеко.

Я распрощался с Городом, но уж чего не ждал –
Город поплыл за мною, хоть я его не звал,
Брошенный виден берег и вдалеке причал.

* * *

Как разбежаться спозаранку,
Не спотыкаясь ни о пьянку
Позавчерашнюю, ни за
Еще какую-то обманку,
Не попадаясь на глаза

Полуреальному рассвету,
Кого, глядишь, уже и нету,
Поговорив о том, о сем,
Он все расскажет по секрету
В кафе, пока еще пустом.

В пустом кафе почти покойник
Сидит – а может быть, полковник,
А может – отставной шпион,
Вотще продавшийся за стольник,
Перебежавший за кордон.

Вы что же, скажет он, хотите,
Чтоб на историю в обиде
Я не был? Мне она должна
За жизнь мою не в лучшем виде.
Мы рассчитаемся сполна

За все – за то, что жаром пышет
Уже дневным, что время спишет
Долги со счета своего.
Полковнику никто не пишет,
Никто не помнит про него.

Денис Соболев

ЛАКЕДЕМ

Рассказ

Я спрашиваю, что есть природа, сладострастие, круг, субстанция. Вопрос выражен словами, и в словах же дается ответ "Камень есть тело".

Мишель де Монтень

1

Когда я спрашиваю, чем является для меня память об Исааке Лакедеме, я знаю, что ответа у меня нет. Именем, местом, окружавшими его вещами, звуком или тишиной? Да, именем; но именем, говорящим о других именах; и любое из них вызывает в моей памяти все остальные; страной имени; страной имен. Местом? Но это место город, с его переулками, дворами, долинами и подземельями. Я говорю, окружающими его вещами, понимая, что это не так. Звуком – но этого звука больше нет; а если тишиной, то тишиной чего?

Исааку Лакедему принадлежала антикварная лавка в одном из переулков Эмек Рефаим. Большая комната с узкими окнами и нависающими балками, темными статуэтками, подсвечниками и керосиновыми лампами. На низких этажерках были расставлены кубки, кувшины, шандалы, канделябры, меноры; в чуть наклоненных стеклянных витринах лежали кремневые пистолеты, длинные боевые ножи, столовая утварь. Вдоль стен, в темно-красных шкафах под старину, впрочем, старину неопределенную и сочетающую ампи́р со странным подобием модерна, были выставлены всевозможные редкости, призванные привлечь внимание американских туристов: подсвечники восемнадцатого века, монеты времен Тита, кусочки амфор, фрагменты византийских мозаик. В правом углу комнаты, у самого окна, стоял стол Лакедема с огромной чугунной лампой.

Когда я приходил, Лакедем задвигал засов на массивной входной двери, со скрипом поворачивал ключ и, довольно квохтая, провожал меня в свой "кабинет", длинную узкую комнату позади лавки. Здесь всегда царила полутьма, пахло красным вином и медленно гниющим деревом; углы комнаты украшали гигантские паучьи неводьы. Лакедем открывал резные дверцы высокого коричневого шкафа: перекошенные от времени, скрипевшие разболтанными ржавыми петлями и прочертившие на каменном полу тонкие линии – контуры ежедневного движения своих медленно оседающих краев. Убирая вечно стоявшую на столе полупустую бутылку красного вина, отбрасывающую на непокрытый дубовый стол темно-красную тень, он доставал высокие чуть матовые стаканы и бутылку сухого, которое покупал специально для меня. Мы садились, разливали вино по стаканам и молча пили. Даже в хо-

рошую погоду узкое зарешеченное окно его "кабинета" почти не пропускало света: тонкая белая полоса падала на край стола, резные облупившиеся ножки кресел, неровные сбитые камни пола. Вечером же и в дождь, а я часто приходил к нему по вечерам, матовый свет окна в дальнем углу комнаты оставался лишь странным знаком собственного присутствия, размывая контуры стола.

К большей части своих редкостей Лакедем был вполне равнодушен, но в его чудовищных, уходящих под покрытый копотью потолок, шкафах хранились вещи, к которым он относился со странной нежностью. Например, два черненых серебряных кубка с готическими инициалами "Ж.К." и кувшин, исполненный в той же манере, с дарственной надписью некоему Жозефу Картафилу. По всей видимости, инициалы на кубках были его же. Те же инициалы я заметил на высоком аляповатом шандале. Справа от входа в "кабинет", в тайнике, сделанном в стене, за стоявшим в коридоре дубовым сундуком, Лакедем хранил предмет, который, как мне казалось, был ему особенно дорог. Во время одного из моих поздних визитов Лакедем сказал, что хотел бы показать мне любопытную вещь. Приподняв резные панели с изображением выпуклых гроздьев винограда, оплетенных лозой, и откинув крышку сундука, Лакедем вынул из стены один из камней, за которым лежал массивный старинный нож с прямой крестовиной и великолепной изумрудной инкрустацией. Нож был темный, непропорционально большой, и в полутьме казался несколько бесформенным, но его древность, или, точнее, ее отзвук, отпечатался в моей памяти. На его ножнах было выбито, что он является даром Николо Д'Эсте некоему Эсперу Диосу.

Впрочем, большая часть тех вещей, которые я видел у Лакедема, была безымянной. Тем не менее, их безымянность казалась сомнительной — как если бы они хранили имена владельцев, или, по крайней мере, дарителей, где-то в недоступной мне глубине; так, на внутренней стороне шкатулки восемнадцатого века я обнаружил несколько слов на испанском, обращенных все к тому же Эсперу Диосу. Это открытие поставило меня в тупик; оно означало, что надпись на кинжале, относящаяся к гораздо более ранним временам, является поддельной. По прошествии времени я пришел к выводу, что Лакедем, по всей вероятности, купил семейную коллекцию некоего рода Диос, в котором одни и те же имена переходили из поколения в поколение. Еще одним именем, которое встречалось особенно часто, было имя Иоанн Бутадеус.

Я никогда не спрашивал Лакедема, кем были эти люди, так же, как не спрашивал его почти ни о чем. Как-то, придя к Лакедему, я обнаружил дверь закрытой и записку, в которой он просил меня постучать в окно, справа от входа. Я постучал. Через несколько минут Лакедем открыл дверь, сказав, что неожиданно заболел. Выглядел он действительно плохо. Я ответил, что зайду в другой раз; но он уговорил меня войти, попросив разрешения провести меня в свою спальню. Мы прошли через лавку, свернули в кабинет и, пройдя его насквозь, оказались в маленьком темном холле с высокими книжными полками по стенам. Повернув направо еще

раз, Лакедем открыл низкую дверь и пропустил меня вперед.

В спальне Лакедема горел свет: изогнутое бронзовое бра у изножья кровати. Комната, в которой я никогда не был, выглядела маленькой и неуютной: глухой красноватый свет бра падал на массивные скрещенные балки потолка, гипсы высоко на стенах, чьи изображения, неразличимые в полутьме, казались выпуклыми, медленно оживающими иероглифами, две картины с густой сетью трещин на масле и пушистым слоем пыли, покрывавшим их золоченые рамы, уткнувшийся в потолок книжный шкаф с открытыми полками, встроенный в глубокую нишу на наружной стене. Беспомощно прижимаясь к массивным переплетам книг, на его полках стояли всевозможные вещицы: шкатулка из слоновой кости, опутанная тонким и вычурным кружевом резьбы, странная кукла с облупившимся фарфоровым личиком и торчащими в разные стороны паклевыми лохмами, китайские вазоны, чья голубоватая желтизна просвечивала даже сквозь горький полумрак комнаты, странные африканские маски, черные, клыкастые, не вполне человеческие, но и не вполне животные, внимательно наблюдающие и ухмыляющиеся своими раскосыми и безжалостными глазами изогнутым ножкам кресел, неуместной белизне простынь и кофейных чашек на столике в изголовье кровати, сухой упругой фигуре Лакедема: он полусидел, завернувшись в плед, и его лицо было невидимо в полутьме.

Я все еще с легкостью вызываю в памяти его образ: тонкий, старческий, посеревший, хотя и с легким налетом голубизны, сильный и неловкий, сопровождаемый скрипом – половиц, дверных петель, кресел с истертым серебрившимся бархатом, черными червоточинами и прожилками резьбы, оплетавшей книжные полки, двери, ножки стола, буфеты, – и в полутьме почти неотличимой от чеканки кубков, менор, подносов, шандалов, тронутой патиной столовой утвари, гигантского аляповатого канделябра и прихотливой лепки развешенных по стенам гипсов.

Но иногда в нем просыпалось иное, совсем юное, начало. Расплывчатая легкость силуэта, сопряженная с четкостью контуров, – таким я увидел его впервые. Прижавшись к розовеющей стене дома и заслоненный куцей тенью его крыши, я пил кофе и рассматривал выгоревший, некогда красный, персидский ковер, вывешенный в витрине напротив, причудливый и прихотливый в деталях, но подчиненный единому, не терпящему отступлений, узору. Выскользнув из неровной, как бы сложенной веером тени крыши, и отразившись на лакированной поверхности стола, на чашке кофе и на ненужном мне молочнике, силуэт Лакедема появился позади меня. С помощью небольшого усилия воображения я могу представить, как, беспомощно поводя из стороны в сторону своим птичьим носом, Лакедем оглядывался в поисках свободного места. Я услышал, что тень за моей спиной кашлянула; Лакедем обошел стол и все еще сиплым от кашля голосом попросил разрешения сесть рядом со мной. Я кивнул. Он заказал пирожное и чашку кофе. С этого началось наше странное молчаливое знакомство. Этот человек был очень одинок.

2

Иры в комнате не было. Сквозь закрытую дверь были слышны звуки льющейся воды. Я стал думать, успею ли я встать, сварить кофе и выпить его в тишине, пока она моется и вытирается. Не успею. Шум воды прервался. Точно не успею. Значит, я еще сплю, решил я, глядя на висящие на стуле вещи; джинсы, блузка, носки, ни единой складки. Я перевернулся на другой бок. Мне не следовало обещать знакомить ее с Лакедемом; к тому же, я не знал, что за этим стоит. Скука, любопытство или она считала его "забавным собеседником", или пыталась что-то узнать обо мне. Ира вошла, все еще вытирая голову розовым полотенцем для головы, оказавшись посередине пятна света, падающего из окна, рассеивающего блики по мокрым темно-коричневым волосам. Она знала, как ее украшают мокрые волосы; отвела рукой прядь, свешивающуюся на лицо; отбросила волосы за спину, поправила халат. Сейчас она скажет, что устала накануне и плохо себя чувствует.

— Значит, не спишь; мог бы уже и встать. Во сколько, ты говоришь, твой Лакедем нас ждет? Хоть уберемся до ухода. Дома бардак, как после погрома. В спальне хлопья пыли, к тебе в комнату вообще не войти; неужели нельзя не раскладывать ксероксы по всему полу? Ты говорил с Яроном?

Она села на край кровати.

— Слушай, меня чего-то опять ломает. На снимке ничего нет, но я не знаю. Как ты думаешь? Я вчера была у Зарицкого; он говорит, что все нормально. Ну вот, надо будет купить плед в салон.

Сейчас она снова красива; ясные очертания фигуры, темные глаза; когда ей хотелось, на лице появлялось выражение удивления и наивности. Сейчас его не было; она знала, что я не люблю, когда она слишком долго играет; но и гримаса деловитости, бывшая минуту назад, тоже исчезла. Пожалуй, она действительно устала.

Я встал и пошел варить кофе. Ира расставила чашки, вынула плоскую с печеньем, полезла в холодильник за завтраком, встала на колени, исчезла за дверцей. Мне были видны только ноги в тапочках; судя по звукам, она долго что-то вытаскивала, потом ставила на место. Наконец, появилась снова, но с пустыми руками.

— Пожалуй, я сначала выпью с тобой кофе.

Я положил в кофе две ложки сахара. Ира добавила себе молока.

— Кстати, Аня мне сказала, что в Москве теперь все читают Кибирова, который считается русским постмодернистом. Это что, что-то вроде Пригова?

— Ну, не совсем.

— Ты знаешь, я все это не способна читать. По-моему, если что-то так не любишь, то просто не надо про это писать, пусть пишут про что-нибудь другое. И вообще, я человек старомодный; если они видят во всем только самое низменное, то это говорит о них, а не обо мне. У меня постоянное ощущение, что меня пытаются оскорбить. Так ты принесешь мне Кибирова из университета?

— Хорошо.

— И вообще, почему ты не хочешь пойти к Бабицким? Мне они

очень нравятся. Ты еще не видел их новый салон. Из коричневой бельгийской кожи, три плюс два плюс один. Ну да, ты считаешь, что Аня ноет. Но им действительно тяжело, у них совсем нет денег. Ты знаешь, сколько они зарабатывают? Что ты на это скажешь?

– Могли бы не покупать бельгийский салон.

Это была ошибка; я знал, что Иру это взорвет. Я не мог этого не знать.

– Да, конечно, ты можешь позволить себе витать в облаках. А то, что людям хочется жить по-человечески, тебе не понять. Зато я это очень хорошо понимаю. Когда я беру тарелку и сажусь к телевизору, у меня в душе все замирает. Тебе-то, конечно, все равно если будут пятна, а мне не все равно. А кожа, между прочим, в отличие от нашей тряпки, моется. Я уж не говорю про ванну. Каждый раз, когда я показываю гостям, где мыть руки, я сгораю со стыда. Любой человек знает, что такие краны ставит каблан; неужели мы совсем нищие, что не можем поменять их на нормальные смесители. А я, между прочим, выросла не в деревне. Хоть ты и держишь меня за идиотку. Не говоря уже про то, что Гило – это самые настоящие Черемушки. Если ты понимаешь, что я имею в виду.

Последняя фраза говорила о том, что она успокаивается. Ира прекрасно знала, что ни в каких Черемушках я никогда не был, и вообще Москву знал плохо. Когда она хотела, она могла быть способна на самоиронию. По крайней мере, агрессии в этом уже почти не было. В любом случае, мое участие в очередной генеральной уборке на сегодня отменялось.

– Ну, я поехал, – сказал я, вставая.

– А убираться, значит, мне одной?

– Мне надо поработать в библиотеке, а сейчас там как раз тихо и никого нет. Так что я все-таки поеду.

– И ты хочешь сказать, – ответила Ира, подчеркивая якобы скрытое раздражение, – что мне придется ехать к твоему Лакедему на автобусе?

Я пообещал за ней заехать. Спустился вниз. Несмотря на осень, на улице было еще очень жарко. Припарковав машину у Парка Независимости, я пошел пешком в поисках пустого кафе. Но всюду былолюдно. На окружавшей пыльное дерево каменной скамейке сидели две школьницы, доедая мороженое, медленно стекавшее на тротуар и скамейку белыми сверкающими каплями. На мостовой были рассыпаны разноцветные газеты; среди них на высоком табурете восседал бородатый торговец. Я достал сигареты и закурил. Сидевший напротив баянист заиграл "Темную ночь".

В четыре я вернулся в Гило. Мы пообедали и поехали к Лакедему. По дороге Ира рассказывала мне про Машиного соседа, который, заручившись разрешением из муниципалитета, перенес бойлеры и таким образом превратил часть общей крыши в личный балкон. К счастью, до лавки Лакедема в Эмек Рефаим было недалеко.

– Кстати, я давно хотела тебя спросить, как переводится "Эмек Рефаим"?

– "Долина духов".

– Интересно, какие у них здесь духи? Впрочем, с такими деньгами и духи не проблема. Сами заведутся.

Я свернул в переулочек и остановил машину.

– Пойдем пешком. Там негде стоять.

Но идти было недалеко. Когда мы вошли, лавка Лакедема была еще открыта. Посетителей не было. Лакедем поднялся нам навстречу.

– Ну, вот мы и познакомились, – сказал он вместо приветствия. Ира улыбнулась в ответ. Лакедем запер дверь, провел нас в свой "кабинет", достал сухое вино, сполоснул стаканы, снова ушел. Мы сели.

– Твой Лакедем не слишком любезен.

– Не знаю. Мне так не показалось.

Здесь, как всегда, стоял полумрак. Был ранний сентябрь, утомительный, удушливый, усталый, но и услащенный терпкой пылью и желто-бурыми хлопьями, принесенными из пустыни. Эти хлопья, разбросанные по углам "кабинета", казались растрепанными клочьями ваты; когда сквозняк задевал лампу, свет проползал по ним, погружаясь в их теплую мякоть, все еще несущую на себе отпечаток пустыни.

– Смотрите, какую странную вещь мне принесли, – сказал Лакедем, вернувшись, – это карта. Старинная карта неизвестно чего.

Это действительно была карта. Я разлил вино по стаканам; мы выпили.

– В такой атмосфере, – сказала Ира, стараясь понравиться Лакедему, – надо пить рейнское или бургундское, или токайское.

Лакедем неодобрительно посмотрел на меня.

– Мне говорили, – продолжила она, почему-то ссылаясь на меня во множественном числе, – что вы родились во Франции.

Ничего подобного я не говорил.

– Мне всегда, с детства, хотелось попасть в Париж; и когда я туда, наконец, поехала, я чувствовала, что столько лет потеряно даром. Мне все говорят, что я могла бы быть настоящей парижанкой. У меня есть фотография у Лувра. А как там одеты люди, с каким вкусом, с какой элегантностью. Это, конечно, не Израиль.

– Я не люблю Париж, – сказал Лакедем, – по крайней мере, не всякий.

– Правда? А я люблю.

– Всякий? – спросил я. Ира недовольно посмотрела на меня, но промолчала. Лакедем кашлянул, проскрипел своим креслом, вытянул ноги.

– Вы знаете, я выросла в исключительно красивом городе, но Париж – это какой-то совершенно особенный мир. Хотя я недавно была снова в Москве. Москва стала такая нарядная, такая чистая, такая элегантная.

Лакедем отхлебнул еще вина, закашлялся.

– Вы были когда-нибудь в Москве? – спросила Ира.

– Да, – сказал Лакедем, – даже жил.

Ира удивленно посмотрела на него. Для меня это тоже было новостью.

– Теперь, – сказала Ира, – там появился целый слой людей, которые занимаются бизнесом. Они сумели за несколько лет добиться потрясающих результатов; сейчас в Москве проценты по вкладам в районе ста процентов в год. Они уже скупили половину недвижимости на Западе. В Испании, в Ницце, в Каннах, на Кипре, на Гавайях.

Я промолчал. Лакедем снова наморщил лоб, поджал губы, опять их раздвинул и неожиданно засмеялся тихим каркающим смехом. Я помню, я вдруг почувствовал, что он очень стар, гораздо старше, чем я привык думать; на самом же деле, мне просто было очень странно видеть Лакедема смеющимся.

– Простите, – сказал Лакедем, – я просто недавно видел одного из них, и он рассказал мне невероятно смешную историю. Не обижайтесь на меня.

За окном неожиданно потемнело, подул холодный вечерний ветер. Снова закачалась лампа. Лакедем поднялся и опустил жалюзи. Он сидел, откинувшись на высокую спинку своего кресла, и отхлебывал вино маленькими глотками.

– А все-таки уже осень, – сказал Лакедем, – вы любите осень?

– Не очень, – сказала Ира.

Положив голову на руки, она прижалась к столу, касаясь грудью его края и рассматривая из-под полуопущенных век сухие старческие запястья и чуть голубоватые, тонкие кисти рук Лакедема.

– Осенью мне всегда становится грустно, – сказал Лакедем, – как будто у меня нет дома и сейчас пойдет дождь.

Огромный мотылек задел черную бахрому абажура настольной лампы. Ира посмотрела на меня с выражением раздражения и скуки. Я налил себе еще вина. Лакедем молчал.

3

Через несколько дней я улетал в Англию; я не вспоминал про Лакедема до самого отъезда. Я вспомнил о нем снова только в самолете. Листая дневники Стивена Спендера, я обнаружил упоминание о домашнем ужине, на котором Ишервуд рассказывал о своем желании написать полудокументальный рассказ про Жозефа Картафила. Имя предполагаемого героя Ишервуда меня заинтересовало; это было имя, выгравированное на кувшине, который я видел у Лакедема. Однако, продолжение оказалось маловразумительным. Салли Боулз, появившись, много пила и много говорила. Всем присутствующим стало грустно. Спендер записал, что он вспомнил про Одена, который сейчас, наверное, тоже пил где-то в трущобах около старого венецианского порта. Проходя под его окном, смеялись проститутки. Было холодно. На этом запись обрывалась. На следующий день Спендер был в редакции газеты; через день – на немецком званом обеде. Долистав дневник до конца года, я понял, что никакого продолжения разговора о Картафиле я уже не найду.

На следующее утро я позавтракал у Дорсет-сквера. Пока я пил кофе, я думал про то, что кратчайший путь ведет через Юстон-

роуд. Там всегда было пыльно и шумно, и идти пешком мне расхотелось. Расплатившись, я бросил монету: решка означала метро, орел – автобус. Монета ударилась о ножку стола и откатилась под стойку, я не стал ее поднимать. Переулками я пошел к Риджент-парку. На газонах, несмотря на осень и поздний час, спали хипы. На скамейке два пакистанца пили пиво. Немного не доходя до Британского музея, я вспомнил, что должен был зайти в UCL. Возвращаться и обходить целый квартал мне не хотелось. Но окончательно решив этого не делать, я вспомнил о существовании списка обязательных визитов, который накануне выезда я составил в своей записной книжке. Подойдя к уродливой башне администрации Лондонского Университета, я повернул назад и пошел в сторону UCL.

Секретарша кафедры сказала, что доктор Джеймисон вернется не раньше чем через час. На этот час я отправился в библиотеку. В списке сочинений Кристофера Ишервуда не значилось ничего, что навело бы меня на мысль о Жозефе Картафиле. Я перенес к себе на стол пачку книг Ишервуда, выбрав все немногие издания с комментариями; мне пришло в голову, что имя Картафил должно было быть объяснено. Но в комментариях я его не нашел. Когда я шел на встречу с Джеймисоном, мои мысли были в Берлине, где пьяная Салли Боулз просила Ишервуда рассказать ей о Картафиле. Ишервуд отказывался. Стивен Спендер, сидящий напротив, думал про Одена. Проходя через холл, я увидел, что за окном идет дождь.

Мы пообедали с Джеймисоном на цокольном этаже, в студенческой столовой. Мне был близок его взгляд на вещи; как мне кажется, ему был близок мой. В библиотеку мы пришли вместе. Перелистав романы Ишервуда, я стал просматривать рассказы и фрагменты. К сожалению, я не знал, что именно я ищу. Точнее, я знал, что ищу законченный или, скорее, незаконченный рассказ о Картафиле, но я совершенно не представлял, как именно этот рассказ должен выглядеть. Почти каждый фрагмент казался мне подозрительным, но ни в одном из них я не нашел ничего, что убедило бы меня в том, что именно с него и надо начинать поиск. В семь вечера библиотеку закрыли, и, понимая, что я потратил день впустую, я отправился гулять по вечернему и ночному Лондону, который любил. Пройдя мимо Британского музея, я вышел на Шефстбери, наполненную огнями театров.

На следующее утро я, как и собирался, пошел в библиотеку Британского музея. Но вместо книг, ради которых я летел из Иерусалима, я заказал несколько сборников статей про Ишервуда. Я сделал еще несколько заказов и вернулся в библиотеку UCL, получив второй одноразовый пропуск. При входе в главное здание меня окликнул из окна Джеймисон, и я помахал ему рукой. Он сказал, что наша вчерашняя беседа навела его на новые вопросы. Я ответил, что найду завтра или послезавтра. Он был мне очень симпатичен и я не хотел его обижать. Я сказал ему, что у меня срочная работа. Срочная работа заключалась в том, что я просматривал индексы всех книг об Ишервуде, стараясь найти имя Картафил. Я его не нашел. Уходя, я переснял биографию Ишервуда и весь вечер ее читал.

С открытием я был в Британской библиотеке. Часть книг, которые я получил, я уже видел вчера в UCL. Их я отложил в сторону. Но были и новые. В именном указателе одной из них я нашел имя "Картафил". В статье, на которую указывал индекс, говорилось о неоконченных работах Ишервуда. По словам автора статьи, странный фрагмент о резке камня, на который я обратил внимание еще позавчера, просматривая сборник рассказов Ишервуда, должен был быть частью повести о Картафиле, которую Ишервуд писал под влиянием рассказа Энрике Аморима. Повесть написана не была, и, помимо этого фрагмента, от нее ничего не сохранилось. Это было уже достаточно много. Утверждение о том, что, помимо камней, от повести о Картафиле ничего не сохранилось, показалось мне подозрительным. Любой отрывок, чье происхождение было невыяснено, мог оказаться частью той же повести. Чтобы это проверить, нужно было внимательно прочитать фрагмент о камнях и понять, кто же такой Картафил. Последнее автору статьи, как мне показалось, было неизвестно.

Я снова вернулся в библиотеку UCL. Отрывок о резке камней я прочитал два раза, готовясь искать среди неоконченных рассказов Ишервуда недостающие части повести о Картафиле. Но, дочитав его во второй раз, я понял, что все это не имеет смысла. Даже если я и найду неизвестные фрагменты повести, это не поможет мне узнать, кем же был тот Картафил, о котором собирался писать Ишервуд. Если бы имя "Картафил" упоминалось хотя бы в одном из сохранившихся фрагментов, автор прочитанной мной статьи, будучи специалистом по Ишервуду, не мог не заметить этого фрагмента. И даже если бы он не связал его однозначно с отрывком о резке камней, его утверждение об отсутствии других отрывков из повести о Картафиле не звучало бы столь категорично. Это был тупик. Я отложил книги и спустился в кафе.

Пока я ждал кофе, я вспомнил, что у меня есть еще одна нить: рассказ Энрике Аморима, под влиянием которого Ишервуд взялся писать повесть о Картафиле. Название рассказа автор статьи не упоминал. Подумав об этом, я разозлился: чтобы найти этот рассказ, мне придется потратить столько же времени, сколько и на изучение сочинений Ишервуда. Но на самом деле это было не так. Насколько мне было известно, Аморим на английский почти не переводился, и, если Ишервуд не читал по-испански, то речь могла идти только о пяти-шести текстах; но даже если он и знал испанский, по всей вероятности, на него повлиял один из достаточно известных рассказов Аморима. В любом случае, фрагменты и неопубликованные тексты я мог заранее исключить. Несколько часов я потратил на сочинения Энрике Аморима, ругая себя за упрямство и чтение плохой литературы. После закрытия библиотеки я вернулся в кафе. Я выпил две чашки кофе и выкурил полпачки сигарет. Изучение скверной уругвайской прозы испортило мне настроение. Кроме того, пора было браться за работу.

Но на следующее утро я уехал в Дувр. Ла Манш штормило; вода была зеленой, непрозрачной; камень, брошенный в волны, исчезал беззвучно. Ярко-белые барашки размечали контуры моря, у

горизонта черным пятном скользил паром на воздушной подушке. Я подбросил на ладони плоский камень и швырнул его в воду. Интуиция подсказывала мне, что автор статьи об Ишервуде не упомянул название рассказа Аморима не потому, что забыл, а потому, что не знал его сам. Искал ли он его? Да, конечно. Статья была написана достаточно аккуратно. И значит, не нашел. Тогда откуда же он мог узнать о том, что повесть о Картафиле писалась под влиянием Аморима? Если из чьих-то воспоминаний, то, скорее всего, он упомянул бы их в качестве дополнительного доказательства существования повести. Из дневника Стивена Спендера, который он цитирует? Но этот дневник я тоже читал. Значит, из дневников самого Ишервуда. Но запись в дневниках Ишервуда я проверил. Там было записано: "начал о камнях: повесть о Картаф.". И все. Запись была датирована годом раньше, чем разговор у Спендера; это было причиной того, что я ее не нашел. А сокращение "Картаф." объясняло тот факт, что имя Картафил не попало в именной указатель. Из всего этого я сделал вывод, что в дневниках Ишервуда должна была быть другая запись, на которой и основывался автор статьи; и, по всей видимости, она была настолько туманной, что он решил ее не цитировать, опасаясь, что его обвинят в научной недостоверности.

Я уже знал, как искать эту запись. На следующее утро открыл именной указатель к дневникам Ишервуда и нашел строчку "Аморим, Энрике. Парагвайский поэт". На него была одна ссылка. Написано было следующее: "Снова думаю об этом расск. рдств. Аморима, о Карт.; я должен о нем написать". Часть проблемы разрешилась. Рассказ, о котором писал Ишервуд, был не обязательно о Картафиле, но был как-то с ним связан; скорее всего, мысли о рассказе навели Ишервуда на мысли о Картафиле. Вполне возможно, что он там только упоминался. Не было ничего удивительного в том, что рассказа о Картафиле я не нашел. Помимо этого, было ясно, что сокращение "рдств." автор статьи об Ишервуде не понял, и это стало причиной того, что он предпочел эту запись не цитировать. На расшифровку "рдств." ушло еще несколько минут; но, на самом деле, это могло значить только одно: "родственников". Имя родственника Аморима мне было известно. Еще через полчаса передо мной лежала книга с рассказом, который я искал. "В Лондоне, – писал автор, – в июне месяце 1929 года антиквар Жозеф Картафил из Смирны предложил княгине Люсенж шесть томов "Илиады" Попа (1715 – 1720) форматом в малую четверть". В дальнейшем повествовании антиквар Картафил не участвовал; но в комментариях к академическому изданию того же автора сообщалось, что "Жозеф Картафил – это одно из имен Исаака Лакедема". Имя Лакедем автор примечаний оставил без комментариев.

4

Я пробыл в Англии чуть больше месяца и вернулся в самом конце октября. Из пустыни дул пронзительный холодный ветер; он нес горькую пыль, обрывки бумаги и газет, смятые рекламные ли-

стки, с цоканьем катил по мокрым малиновым плиткам тротуара пустые пластмассовые бутылки. Было холодно, и мне смертельно хотелось спать. Но на следующее утро распогодилось, к десяти стало даже жарко, и я решил поехать в Эмек Рефаим. Я сказал Ире, что нашел в Англии очень странные сведения о Лакедеме, и хотел бы его об этом расспросить. Я был заранее уверен, что упоминание о Лакедеме вызовет всплеск раздражения и антипатии, я не забыл, как недовольно и разочарованно Ира смотрела на меня, поджимая свои элегантно покрашенные губы, а Лакедем выстукивал неизвестную мне мелодию костяшками пальцев на крышке стола. Мокрый след от бутылки на старом лаке отражал матовую желтизну света лампы. Лакедем кашлял, квохтая и прижимая ладонь к губам, молчал и скрипел качающимся креслом.

Но осенняя скука сделала свое дело, и неожиданно Ира попросила меня взять ее с собой; от удивления я не нашел причины отказать. Машину, с которой без меня что-то произошло, еще только предстояло забрать из гаража, и мы поехали на автобусе. Был последний осенний хамсин, как обычно, пыльный и удушливый; небо, раскаленное до белизны; тяжелый уличный грохот, низко стелющийся и накатывающий волнами. Без меня произошло много нового. Ира прочитала Кибирова, а в Москве тем временем уже читали Пелевина. Машин сосед продолжил расширение своей квартиры и ликвидировал каменную сушилку для белья на кухонном балконе. Он снес один из ее бортов, продлил нижнее перекрытие до второго борта, на котором установил огромное окно с двойными стеклами и снес стену на кухню, увеличив таким образом последнюю за счет балкона и прилегающей сушилки.

— Как Лондон? — спросила Ира, наконец.

— Ничего, как обычно.

— Хотела бы я посмотреть, как одеваются англичане осенью. В Израиле вообще забываешь, как выглядит элегантно одетый человек.

Я промолчал.

— Я знаю, что ты про это думаешь, — продолжила Ира, — но не понимаю, как можно не соглашаться, что израильтяне не умеют одеваться. Главный наряд — фасон мешок, футболка на выпуск. А прически? Такое ощущение, что полстраны вышло из зоны. Наши эмигранты — единственные, кто чувствует, что такое элегантность.

— Ты знаешь, — сказал я, подумав, — в Лондоне нынешние русские туристы тоже отличаются элегантностью.

— Ты мог бы испытывать свое остроумие на ком-нибудь другом. По крайней мере, в нынешней России происходит либерализация сознания.

"Ого", подумал я, и мы вышли из автобуса.

Как это ни странно, дверь в лавку Лакедема была закрыта. Я постучал еще раз, но снова безрезультатно. Ира попыталась заглянуть сквозь узкое окно "кабинета", но, кроме освещенного солнцем края стола, о чьей природе мы догадались по очертаниям, было невозможно ничего разобрать. Становилось все жарче; прозрачная тень крыши расчерчивала узкую улицу на две неравные

полосы: выбеленную светом полуденного солнца и черненную его тенью. Мне пришло в голову, что стоит поискать Лакедема в том кафе, где я когда-то с ним познакомился. Мы завернули за угол и спустились вниз по сбитым каменным ступенькам. Но в кафе было пусто. Ковер в витрине напротив исчез; за столиком, где я иногда пил кофе, дремал арабчонок, положив голову на гигантскую махровую тряпку, которой он обычно протирал столы. Я искал взглядом хозяина кафе, но потом передумал; к тому же, навстречу нам шел один мой приятель.

– Какие люди, – закричал он еще издали, – какими судьбами?

– Ищем одного антиквара, – сказала Ира, – хотим тут всякие мелочи подкупить.

– И что он?

– Обещал быть и куда-то делся.

– Круто стоит, если может клиентами разбрасываться. Хотя у меня был знакомый, еще по Совку, он тоже на антиквариате не слабо поднялся.

Мы еще немного поговорили и вернулись назад. Подойдя снова к дому Лакедема, я решил воспользоваться однажды испробованным методом и постучал в окно справа от входа. Через несколько минут мы услышали смутное шевеление, шарканье и, наконец, скрежет засова. Лицо старика, который нам открыл, было мне знакомо, хотя и не связывалось ни с каким именем. "Меня зовут Йоси, – сказал старик, – я его сосед". Он молча задвинул засов, провел нас в кабинет. Дверь в темный внутренний холл была снова открыта; Йоси пропустил нас вперед. На этот раз в холле горел тусклый свет. Напротив двери в комнату с книгами и гипсами, которую я когда-то принял за спальню, была еще одна дверь. Йоси указал на нее, и мы вошли. У противоположной стены комнаты стояла кровать, на которой лежал Лакедем.

– А, это вы, красотка, – сказал он, чуть приподнявшись и повернувшись к Ире, – а я думал, вы больше не придете.

Но похоже, что затраченные им усилия оказались чрезмерными; Лакедем закашлялся, задрожал и снова прижался к подушке.

– Вам вредно говорить, – сказала Ира.

Лакедем улыбнулся, обнажив неожиданно желтые, волчьи зубы. Комната, в которой он лежал, была почти пуста. Кровать, стул у кровати, беленные известкой стены, белые каменные дуги под потолком. Окно было прикрыто ставнями. Ни книг, ни картин, ни одной из тех вещей, которые, как мне казалось, окружали Лакедема повсюду, здесь не было. Он знаком попросил Иру и Йоси уйти; я придвинул стул поближе к изголовью и сел.

– Вот и все, – сказал Лакедем.

Я промолчал, понимая, что он прав.

– Ну, как Альбион?

– Холодно уже, – сказал я, подумав.

Мы замолчали.

– Ладно, – сказал Лакедем, – если не возражаете, передам ему от вас привет.

– У вас был врач? – спросил я.

– Вы еще предложите вызвать скорую. Простите, правда, простите. Не волнуйтесь, было все хорошо.

– Хотите, я вам почитаю?

– Нет. Налейте лучше себе вина, оно в шкафу в кабинете.

Я вышел из комнаты, прикрыл дверь, открыл шкаф, достал высокий матовый стакан, налил немного вина. Ставни в "кабинете" были открыты, и на пол падала узкая белая полоса солнечного света. Я вернулся к Лакедему.

Он снова приподнялся над подушкой.

– Вы ведь ждете, – сказал он, – что я вам что-то расскажу, что-то, чего вы не знаете; что-то, что я хочу оставить после себя.

– Я не уверен, – сказал я, – что я именно этого жду. Хотя, может быть, и жду. Не знаю, правда, не знаю.

– Ну хорошо, – ответил Лакедем, – я много страдал. Но это не имеет значения.

– Я не знаю.

Он замолчал; потом снова улыбнулся.

– А если ничего нет, нет ничего помимо того, в котором нет нас. Нет никакого здесь по ту сторону здесь.

– Нет вообще?

– Нет здесь.

Я рассмеялся.

– Приоткройте, пожалуйста, ставни.

Я встал и открыл ставни на ширину ладони. Мы снова замолчали. Я видел, что ему становится все хуже.

– А теперь идите, – сказал Лакедем, – я не хочу, чтобы вы видели, как я умираю.

Я встал. Но, прочитав мои мысли, Лакедем жестом остановил меня.

– Я хочу умереть в этой комнате, – сказал он, – и вы должны пообещать мне, что пока я жив, вы больше не придете.

Я пообещал.

5

Я нашел Иру в кафе. Она сидела в тени, за столом, у которого еще недавно дремал арабчонок, напротив пустой чашки кофе, и красила губы. Перед ней, на краю стола, стояла раскрытая косметичка; время от времени она наклонялась к невидимому мне зеркалу, подводила губы, внимательно себя рассматривала, но, видимо, оставаясь недовольной, стирала часть помады и снова возвращалась к зеркалу. Цвет ее лица убедил меня в том, что этим она занимается уже давно. Меня Ира не замечала.

– Нет, это слишком ярко, – сказала она, наконец обратив на меня внимание, – Из-за этого хамсина я никак не могу привести себя в порядок.

– Во сколько ваше мероприятие?

– Собиралось быть в полседьмого. Но надо будет позвонить Ане и уточнить; они никак не могли решить.

Она еще раз взглянула на себя в зеркало, отбросила с виска волосы и, опираясь на стол, встала, звякнув пустой чашкой в такт отодвигаемому стулу. Упавший с дерева лист пристал к ее платью.

- Ну, как твой Лакедем?
- Умирает.
- Это действительно так серьезно?
- Похоже, что да.

Ира смахнула лист с платья, провела рукой вдоль бедра, посмотрела на туфли. Вдохнула.

– Все это ужасно грустно. Но, по крайней мере, я смогу объяснить Ане, почему ты не пришел. Скажу, что все это тебе до чертиков испортило настроение. А что он от тебя хотел?

- Не знаю.
- Ты не хочешь говорить?
- Да нет, правда, не знаю.

Мы вышли в переулок.

- А может, ты все-таки пойдешь к Ане? Она обидится.
- Но у тебя же теперь есть объяснение.
- Ты знаешь, я и сама не хочу идти. Но там будут люди, которым я очень обязана, так что я не смогла отказаться. К тому же, когда я обещала, я еще не знала, вернешься ли ты вовремя, или перенесешь самолет.

По ее лицу было ясно, что она врет. Интересно, зачем; а в общем-то, все равно. В любом случае, я не смог бы заставить себя об этом думать.

– Ну что же, – сказал я, – передавай привет.

Подошел Ирин автобус, и мы распрощались. Я перешел на теневую сторону улицы и пошел в сторону центра. Когда справа остался старый вокзал, с его длинными каменными стенами, и квадратная башня шотландской церкви, я уже знал, куда иду. Раскаленный уходящим хамсином город сжался в единый комок чувств, в пульсирующее зеркало, в котором я видел остаток своего дня. Я видел, как я прошел сквозь шум центра, мимо магазинов и автомобильных пробок, и уже в сумерках вошел в Меа-Шеарим. На черные шляпы падал желтый свет низких окон. Былолюдно, человеческий хаос, приглушенный дневным жаром, оживал в сумерках, погружая случайного прохожего, каким был я, в атмосферу выдуманной деловитости и воображаемой занятости, обдавая его бесчисленными запахами и звуками; от них несло едой, теплом, суетой, домом. Шум, как прозрачный пар, расстился по улице, забиваясь во все ее поры: магазины, переулки, двери, распахнутые своей желтизной наизнанку, окна домов. Из синагог доносилось привычное проборматывание иврита. Становилось все холоднее.

Я свернул под одну из арок и по разбитым, заросшим травой ступенькам поднялся во двор дома, выстроенного в форме каре. Здесь было тихо и безлюдно; проходившая мимо женщина недовольно покосилась на меня – на незнакомца. Уже собираясь уйти,

я заметил сквозь раскрытое окно огромную качающуюся тень хазана и *арон а-кодеш*. Я тихо вошел, взял молитвенник в истертом и морщинистом красном переплете, нашел нужное место и начал читать. Но мои мысли были далеко; я думал о белой комнате за антикварной лавкой, тусклой и призрачной, где сейчас умирал Лакедем, которого я так и не успел ни о чем расспросить, умирал, погруженный в свои мысли и свои сны, уже чуждый нам.

Молитва, обозначив нестройным шуршанием страниц паузу, смутную цезуру своего движения, поднялась, распрямляясь среди качающихся черных фигур, двигаясь, волна за волной, в мутном и неустойчивом колебании звуков, в своей тайной музыкальности, осторожными шагами ступая навстречу прозрачной, тягостной, непривычной для человека гармонии и за ее предел; как сказанное слово, и, в отличие от человеческой жизни, продолжая звучать, двигаясь в порыве своих строк и своих знаков, в экстатическом потоке своей новизны и в терпком скольжении своей привычности. Ее странная неосязаемая музыка, призванная объединять, вторгаясь своим течением в людскую массу, разъединяла, вычленяла одну единственную душу, омывая ее хриплыми и фальшивыми звуками, надменным и упрямым шелестом своих страниц. Дрожь неуверенности, усталое бормотание, волнистая качающаяся пляска теней, молчаливое движение губ соединились в тусклой красоте ее последних слов – окончания, освобождения, вязкого хлопка закрываемых молитвенников, возвращения обыденных слов.

На этом месте внутренний ритм мысли дал сбой; или это была просто цезура, продуманный надлом времени. В любом случае, туман воображаемого Меа-Шеарим, и слепящий шум его молитвы неожиданно рассеялись. Их место заняла остывающая пустота вечернего города. Действительно, смеркалось. Статуя ангела на крыше здания "Терра Санта" отражала уже невидимое солнце; из Парка Независимости доносились смех, крики, свист. Чуть дальше, как и месяц назад, уличный музыкант играл "Темную ночь". Темнело очень быстро; и уже в сумерках я вошел в Меа-Шеарим. Хамсин кончился; подул ветер, сметая вдоль тротуаров остатки еды, мусор, обрывки объявлений, рекламных листов, полиэтиленовых пакетов; зашелестел пустыми пластмассовыми банками. В окнах горел свет; слышались крики, шум, звуки перебранки; пахло едой, кухней, отбросами, детьми. Былолюдно; но женщин было сравнительно мало; почти все несли сумки, катили тележки. Дом, говорил Раскин, это то, что нужно заслужить. Но в их лицах не было цвета дома. В них была усталость, холод, раздражение, пустота. Поднимая голову, они смотрели на меня с отчуждением, иногда с неприязнью. Я свернул в переулоч.

Приближение вечерней молитвы уже давало о себе знать. Потоки мужчин стекались и растекались по переулкам; на их шляпы падал желтый свет из низких оконных проемов; подходя к окнам, обитатели домов загораживали тротуар, распластываясь на асфальте гигантскими дрожащими тенями. В свете окон я видел лица; с печатью бедности и богатства; отмеченные пороками и аскетизмом; обремененные деловитостью; скукой; желаниями. Они

здоровались, останавливались, расходились. Их одежда соответствовала их жестам. Иногда их движения выражали подчеркнутое почтение; иногда пренебрежение; чаще равнодушие. Меня они не замечали; это был театр без зрителей. Неожиданно за моей спиной раздались звуки русского языка; говорили громко; было ясно, что двое обсуждают одну из своих знакомых. В ее телосложении они находили недостатки. Я оглянулся; глаза одного из собеседников мне были видны, я прочитал в них злобу. На глаза второго была надвинута шляпа. Они заговорили про молитву, на которую шли.

Я свернул направо и оказался в пустом переулке. Впереди вспыхнул и погас огонь. Двое мужчин вышли из дома и прошли мимо меня. Где-то смеялись женщины; потом послышался звук удара. Снова подул ветер, и заскрипело кровельное железо. Чуть позже из дома напротив вышел человек в черном и беспомощно оглянулся вокруг. Увидев меня, он закричал, что дополнить *миньян* – это большая *мицца*. Я сказал, что знаю, удивившись, что в Меа-Шеарим может не хватать до миньяна. Служка пожаловался на новые времена. Мы нырнули под арку, пересекли узкий мощный дворик с тонкими полосками земли между камнями и вошли в синагогу. Там неприязненно посмотрели на меня; но промолчали. Я надел кипу и взял молитвенник. Но мои мысли были далеко, в пустой белой комнате, позади антикварной лавки, где умирал Лакедем.

Я начал читать молитву, вставая и садясь, понижая и повышая голос вместе со всеми, чтобы не разрушить ее ритм. Становилось все холоднее; сквозь открытые окна доносился шум ветра; завтра будет дождь, подумал я, а может, и сегодня ночью. Они молились быстро, умело, деловито переворачивая страницы. Я пытался услышать, увидеть то, что обозначает собой слово "молитва", но в их словах звучала пустота. Я вспомнил про ту пустоту, которой окружил себя Лакедем, умирая. В конечном счете, было нелепостью требовать чего-то от чужой молитвы; одной из десятков тысяч молитв, прочитанных ими за свою жизнь. В синагоге было светло; желтый свет ламп падал на камни переулка; редкие прохожие вспыхивали темно-желтыми пятнами в обрамлении черных прямоугольников оконных проемов. Когда молитва была закончена, они стали быстро расходиться; мимо меня они проходили молча; служба, с которым я говорил в переулке, тоже исчез. Наконец, мы остались с кантором один на один. Я вернул молитвенник на место; снял кипу. Во дворике оказалось неожиданно темно; узкое окно напротив входа в синагогу погасло. Почти наощупь я вышел в переулок и подумал, что завтра будет дождь. Невидимые облака закрыли звезды и луну; небо было черным. Я вспомнил, что Лакедем любил осень, потому что осенью ему становилось грустно, как будто у него нет дома и сейчас пойдет дождь.

6

В центре былолюдно, шумно. Бреславские хасиды плясали под магнитофон на Площади Сиона, на ступеньках башни банка "Апоалим" сидели школьники, американские туристы гуляли по улице Бен-

Иегуда, в кафе играла музыка. Я пересек Кинг Джордж, поднялся по улице Агриппас в сторону рынка. Лавки по обеим сторонам улицы начинали закрываться; их владельцы выставляли отходы к дверным проемам, пластмассовыми щетками выталкивали грязную воду через пороги. Пахло отступающей дневной жарой, тухлыми фруктами, отбросами, густой и липкой людской массой. Чуть выше запахло рыбой, мясом, кровью. Гудели отъезжающие машины, кричали рыночные зазывалы, шумела музыка. Но рынок уже закрывался. Напротив главного входа я повернул под арку, в переулки Нахлаот. Через пару минут рынок уже не был слышен; желтизна домов слилась с темнотой; но в окнах горел свет. Его пятна падали на камни улиц, на прохожих.

Из-под арки я вышел в безымянный переулок, превратившийся в узкий продолговатый двор; посреди него росло несколько деревьев, обнесенных низкой каменной изгородью. Выйдя на другую сторону двора, я повернул направо, в переулок Гильбоа, затем налево и снова нырнул под арку; вышел в переулок а-Эрез и, повернув по нему направо, оказался на улочке Эзры Рафаэля. Слева, на ступеньках дома, сидели, обнявшись, две негритянки и курили, передавая косяк из рук в руки. Свернув налево и дойдя до конца Эзры Рафаэля, я снова повернул, на этот раз направо, миновал Зихрон-Тувия и вышел на Шило. Здесь было чуть шире; была слышна музыка. По Шило я дошел до переулка Рама; мне всегда казалось, что я могу дотронуться до его обеих стен одновременно. Я развел руки: на самом деле не хватало длины одной ладони. По Раме я спустился вниз, обойдя полусогнутое дерево точно в середине переулка. Немного не доходя до того места, где Рама разветвлялась на переулки Цоар и Хаим Йосеф, я повернул направо и нырнул под арку, почти неразличимую в темноте. На противоположной стороне дворика ступеньки поднимались на второй, последний, этаж. Я поднялся и постучал. Дверь дрогнула, но никто не ответил. Это было странно; как мне показалось, дверь не была заперта. Я заглянул в зарешеченное окно, справа от двери. В дальнем конце комнаты спала Алёна, поверх обеих простыней, отвернув лицо от горящей настольной лампы. Я постучал еще раз.

— Кто там?

— Я, — сказал я.

— А,ходи.

Я вошел. За то время, пока мы беседовали сквозь дверь, она успела завернуться в простыню.

— Это хорошо, что ты меня разбудил.

— Да, я знаю.

— Ты давно вернулся?

— Вчера вечером.

— А...

Алёна вытащила из-за кровати подушку и села, подложив ее под спину и поджав ноги. Я закурил.

— У тебя что-то случилось?

— Нет, ничего. Абсолютно ничего. А почему?

— Ты выглядишь так, как будто у тебя что-то случилось.

— Нет, действительно, ничего.

– Попытайся еще раз.

– У меня умер друг.

– Понятно. А ты?

– Я был в синагоге.

Она с удивлением на меня посмотрела.

– Хочешь выпить?

– Да. Тебе налить?

– Подожди, я сама, там пустая.

Она встала, придерживая простыню, сняла со шкафа бутылку джина. Потом вышла на кухню, я услышал скрип дверцы старого холодильника.

– Тоник долить?

– Не надо, я так.

– Я себе долю.

Алёна села напротив меня, и мы выпили. Потом она переоделась из простыни в джинсы.

– Это хорошо, что ты меня разбудил.

– Я знаю.

– Тут без тебя была непрерывная тусовня. Совки всякие вдруг понаехали.

– И что?

– Стремные они. Кто крутой, кто упакованный.

– Ясно.

– Слушай, ты еще не уходишь?

– Нет.

– Ты не против, если я пока...

– Пока что?

– Так не против?

Мы перешли на кухню. Алёна сняла с полки пластмассовую банку, высыпала в нее пачку синufета, растолкла, тщательно отмерила воды и уксуса, добавила полтора гаража марганцовки.

– Ты знаешь, я тут видела рекламу синufета. С белым слоном.

Она поставила банку поближе к еще теплой плите, и мы вернулись в комнату.

– Интересно, почему ты ничем не долбаешься?

– Не знаю.

– Мы тут с Катей шли вечером. И я ей говорю, чего-то холодно, пойдем быстрее. А она говорит, чего-то мы с тобой ломанули.

Мы оба засмеялись. Потом стало тихо. Я выпил еще джина.

– Как Англия?

– Ничего. Холодно уже.

– Зато у нас сплошной хамсин.

Я снова закурил. Это было исключительным свинством, что я пришел к ней со своими проблемами. Но мне было тут хорошо; неожиданно это оказалось сильнее меня. Алёна тоже закурила.

– Ты понимаешь, что живешь с женщиной, которую не любишь?

– Я ее любил.

– Тем хуже.

Во дворе кто-то выругался. Алёна стряхнула пепел в чашку.

- Скажи, ты тоже считаешь меня блядью?
- Нет.
- Знаю, что нет. Такие вещи чувствуешь кожей. А стоило бы.
- Стоило бы считать?
- Стоило бы считать.

Мы курили молча. Прошло двадцать минут. Алена посмотрела на часы, встала, и я опять услышал скрип открываемого холодильника. Еще через минуту она принесла свою посудину в комнату, достала шприц, сосредоточенно наverted куклу. Выбрала белое.

- Сколько? – спросил я.
- Пятнадцать кубов. Если не вставит, потом догонюсь.

Она сняла куклу, отмерила пятнадцать кубов, запрокинула голову, положила шприц на язык. Потом снова села.

- Ну как?
- Пока нет.

Но по глазам я понял, что да. Я налил себе еще джина.

- Тебе налить?
- Нет. Я и так. Если только закурить.
- Ты уверена, что стоит?

– Ты вовремя взялся меня воспитывать. Ладно, раз ты против, план отменяется. Дай сигарету.

Я протянул ей сигарету. Алёна закурила.

- Ты помнишь Репино?

– Да, – сказал я.

– Когда ты меня сегодня будил, я вспомнила Репино. Это хорошо, что ты меня разбудил.

Я посмотрел на нее, и мы снова засмеялись. Тогда она спала на чердаке, за закрытым окном. Я стал стучаться в дверь на веранде, но никто не ответил. А потом я нагибался, собирал гравий и кидал его в чердачное окно. Алена вылезла на подоконник и свесила наружу ноги, а я кричал ей, чтобы она немедленно убиралась назад, и угрожал, что принесу из репинского универмага пожарный багор. Стало темнеть, мы сели на велосипеды и поехали к заливу.

– Ты тогда сидел, прислонившись к старой лодке, а потом мы собирали ракушки и раскладывали их кругом. И залив был ужасно серый. А потом...

– А потом под лодкой жил водяной. Потом привели отряд пионеров жечь вечерний костер, и они были красные и отвратительные.

– Правильно, а потом стало совсем темно, и мы уехали в сторону Зеленогорска.

– И там была холодная вода.

– Ужасно холодная.

Мы замолчали. За окном что-то упало, зазвенела музыка. Алена с удивлением посмотрела на меня.

– Я понимаю, я обдолбанная. Но ты-то?

– Не валяй дурака.

Она взяла еще сигарету.

– Ты знаешь, мне тут снилось, что я снова в Питере.

– Давно это было?

– Да нет, пару недель назад. Мне стало так плохо, и я стала

кричать во сне; я думала, я проснулась от собственного крика. А сейчас я думаю, что крик мне тоже приснился.

– Почему?

– Я на следующий день встретила утром Эфратку, и она мне сказала, что не спала всю ночь. Я спросила, не слышала ли она крик ночью, она сказала, что нет, и спросила, а в чем дело, я сказала, что слышала ночью крики, совсем рядом.

Мы снова выпили.

– Ты знаешь, когда я там был, в Репино все стало зеленой воюющей лужей.

– Какая разница.

– Может, тебе вернуться?

– Вернуться? Отсюда?

Мы сидели молча. Не знаю, про что думала Алена, но я думал про холодную воду. Потом я посмотрел на часы. Где-то там, в задней комнате своей лавки, умирал Лакедем. Я поставил стакан на стол и встал. Алена тоже поднялась. Мы подошли к дверям.

– Может, останешься?

Я достал пачку сигарет, вытащил одну, протянул пачку Алене. Она взяла её, сжала в кулаке, потом все-таки закурила.

– Боишься?

– Я?

– Прости, я удалбанная. Как его звали?

– Кого?

– Твоего приятеля?

– На самом деле?

– На самом деле.

– Не знаю. Я бы тоже хотел это знать.

– Все так сложно?

– Да нет. Я как раз надеюсь, что все просто.

– Ну что, тогда пока. Заваливайся как-нибудь.

Как это ни странно, было похоже, что у нее начинается отходняк. Я повернулся и стал спускаться по лестнице. Потом прошел несколько метров по двору. Дошел до середины. Развернулся. Поднялся по лестнице. Алена все еще стояла у входа.

– Зачем ты вернулся? Ты не должен был возвращаться.

Она была права. Этого не следовало делать. Из всего, что я сделал за последнее время, это было самое худшее. Мне не следовало пить на голодный желудок. Я постарался уйти побыстрее.

Переулками вышел на Кинг Джордж, потом через Парк Независимости на улицу Царя Давида. Позвонил Ире, сказал, что задерживаюсь. Я знал, что ее мучает ревность. Если я не приеду на последнем автобусе, она не поверит ни одному моему слову. Но я на нем уже не приеду. Пройдя мимо мельницы, я повернул налево. Внизу темнела долина Гехином. На той стороне, силуэтами, стены Старого города. На башнях были видны огни. Облаков не было. Очертания луны обещали скорое полнолуние. Когда я вернулся на Эмек Рефаим, Лакедем был уже мертв; он умер, не приходя в сознание.

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

Андрей Трицман

ХАМСИН

Поэма

Я обменял шекели на пиастры,
разделил канделябры на восемь.
Научился кашлять по-итальянски,
(как Горький на Капри),
но так и не научился писать песен.

"Тахана Мерказит" смешалась с "Термини"
и с Казанским,
аравийский хамсин сдувает пену
с тополей на Пресне.
Когда о небе, я уже не понимаю,
речь идёт о каком глянце.
Да, и вообще, больше не важно "как",
только "если".

Например, если ты со мной, —
это и есть дома.
Значит, и без меня Гудзон
листьями выстлан, как золотой чешуей ножны.

Когда-то думали так:
чокнулись мыслями за чаем —
и на боковую.
А оказалось — дрожать на ветру насквозь
совсем несложно.

Осторожно, двери закрываются, но ты
уже совершил поступок,
ступил в другую жизнь,
ты вечно ищешь
всё ту же нежность.
Кривится пространство, но правдиво время,
и оказывается, что любая комната безбрежна.

Когда-то казалось, что март всерьёз
струится вниз к переименованной площади,
книги говорят вслух, всё обещано
и друзья навечно.

Оказалось всё гораздо яснее и проще:
ничего нет и ты наедине
со своим детством
и своей речью.

Следующая: Курская-кольцевая,
пересадка на Виа деи Сципиони и Бен-Егуда.
Много школьников, начало уроков,
конец года.
И блудный наш брат вместе с нами
через восемь минут сегодня утром
увидит обещанного пророка.

Следующая станция уже за схемой,
да и схема сама в наше время
только символ веры.
Метрополитен похож на пещерный город,
где римляне сбили надписи над пещерами.

Провалы города дышат сыростью.
Это медленное дыхание камня.
Так не тлеют газеты, планктон или жимолость.
Это вино из глубинной давилки давней.

Трёхтысячелетний луч света, дошедший от солнца,
тронет дно – и светлеет сознание.
И жизнь становится встречей
не с Эребом, а с Эрец,
а не только длящимся расставаньем.

Средиземноморье лучится всё так же.
Шестой флот застыл атоллами,
скальными островами,
и даже "Фантомы" в электронной лазури кажутся
разыгравшимися греческими богами,

заглядывающими через плечи туристов в газеты
в киосках, где на первой странице Ирод
на встрече в верхах,
когда низы получить визы
и досидеть остаток жизни в кафе
уже не могут.
Лозунги на стенах гласят: "Ждать бесполезно",
но, тем не менее, прекрасно,
и потому стоит.

Светит месяц, а кому не ясно.
Красный крест, словно след крови
"Гамзы" балканской.

Со скал-минаретов ветер воет по-мусульмански,
и нам, слава Богу, свистит под сурдинку
в телефонных трассах коры
городского мозга.

"Становится тише,
когда узнаёшь о солнечных нитях
над черно-серой пустыней
и мысли садятся на кроны деревьев
и поют на световой ноте.
Есть ещё песни не спетые там,
где совсем безлюдье".*

Что видит всевышний,
как пилот "Эль-Аль" сверху:
под молочной пенкой Одессу, Газу,
многохолмистый город в полудне анабиоза.
Все заняты ритуалами,
то есть, попыткой забвенья.

Высится кремовый Маале-Адумим,
и напротив военной базы
бедуин высушен
у шоссе и не ведает о терпении.

Не трогайте регулятор веры,
вообще отойдите от гроба –
оставьте в покое.

Дайте дослушать, как погасает
в бесплотном театре заката
бесплатное море, полотна Европы, бесплатное поле,
за семь шекелей пыльная Яффа
и Ялта в вечерних огнях –
пересадка на Галлиполи.

Кто первый бросил краеугольный камень?
Кто первый вышел на музейную площадь?
Всё смешалось, ни шагу назад,
безымянна пустыня за нами.
Здесь каждое дерево – знамя
в ничьей оливковой роще.

Я бы до слёз вернулся в мой город,
только не знаю в какой.
Меняют просодию
успехи градостроительства.
Сам не ведая, исчезаешь
упоительно чёрт знает как далеко.
И лишь Налоговое управление
знает твоё место жительства.

Но всевышний и сам разберется.
Он, по-моему, всё ещё занят названиями.
Ещё не все синонимы даны любви
и, извини, Пушкин, дружбе.
Что может быть прекраснее расставания
в одиночестве на чужом побережье с прошлым?

"И это имеет значение,
потому, что всё, что мы говорим о прошлом,
есть описание вне места,
слепок воображения,
воплощённый в звуки,
и поэтому то, что мы говорим о будущем,
должно предвещать,
жить в своих собственных подобиях,
уподобляясь рубинам, краснеющим рубиновым цветом"**,

в одиночестве на чужом побережье с прошлым.
Или в плывущей пустыне
на остановке Эйн-Хазева,
где нет понятий поздно или рано.
Мир обращается раз в тысячу лет вокруг Негева
и, оказывается, солнце спит где-то в пещере Кумрана.

Вода родилась в роднике, в Эйн-Геди,
на дальнем краю
опавшего осеннего райского сада.
Глиняная старуха в автобусе рядом со мной не ведает,
что она потомок той,
что спаслась в Масаде.

Нет ничего слоистой, глубже, горше.
Никому не нужная соль
без насущного хлеба.
Но здесь глаз расширяется
до размеров неба или моря,
и беспрдельно просит
всё больше и больше.

Господи, как расплести языком беседы
анонимные нити этого бесконечного света.
Набираешь какой-то номер, узанный у соседа,
и бесполоый голос вторит в ущелье эхом:
"Ждите ответа".

Сижу и жду.
Стакан сока превращается в апельсиновую рощу,
бокал "Мартини" — в оливковую,
дыхание в атмосферу.

И все наши разговоры, сомнения,
стихов химеры
в рассеянном свете тоже кажутся
символами веры.

Сандалии сношены. Очки обязательны.
Акцент превращается в прикус на языке оригинала.
Все камни разбросаны.
Совершенно не собраны.
И все время кажется,
что в салате майонеза и уксуса мало.

Генерал Оливье, жирная гадина,
сидит на банкете рядом с атаманом Укропом.
Оказывается, это то, чего ради мы,
дамы и господа, драли жопу.

Парламент пристрелян, даунтаун разгромлен,
пожар подползает к заправочным станциям.
Но мы спокойны за телевизионным экраном дома,
потому что в бумажнике есть квитанция

на случай необходимости срочного подтверждения,
получения санкции или, скажем, без рецепта.
Суверенность подтверждают уверенные телодвижения,
особенно, если почти без акцента.

В мире дальше ехать некуда, конечная остановка.
Немного неловко за опоздание,
здание закрыто, и из подвала плывёт запах плова,
различный даже и на таком расстоянии.

В тысячу лет. Это уже совсем сумерки человечества
в тенетах медиавизма.
Слава Богу, у нас хоть были отчества,
часто подозрительные,
но всё же нормальные элементы
зрелого государственного организма.

Две тысячи лет – это уже "до вашей эры".
Экскурсия звучит оправданием,
комментарием к истории Юстиниана.
А что им ещё оставалось между Сциллой и Харибдой
каменной веры и бредом
вакханалии какого-то хана?

Господи, прости их, они все о едином.
Ещё раз – это не вырази́мо словами.
Одно и то же по-эвенски и на ладино
имеет в виду ностальгию,
но означает лёд и, в то же время, пламя.

На чёрном пламени сияющими глаголами и слогами –
чёрный бархат Вселенной числами выткан.
Овечий пророк, длиннобород и полигамен,
словно позирует на иерусалимской открытке
в последнем киоске в зоне.

Покупка виз на турецкой таможне –
сбор налогов в параднике второго Рима.
Там беззвучен стон подземного Эчмиадзина!
Мы этого понять больше не можем,
потому и спокойнее, что непредставимо.

Айвазовский гонит эвксинские волны
по анфиладам дворцов,
где томно тонут гаремы.
Это места, где ты втянут невольно
в архитектурную дискуссию Ромула и Рема.

Волчицы одичали и спят на помойках
в гниющих нишах за лавками специй и сувениров,
пахнет гарью Босфор.
Когда тянут за рукав, отказаться неловко,
и монеты летят в пасть древнего мира.

Города мира аккуратно укомплектованы
в огромные залы под электронным наблюдением.
Экскурсанты спят на лужайках Рима,
и незримо засыпаны каменной солью
бездонные ярусы Иерусалима.

Мир – держит по курсу, доллар крепчает,
как ветер с Атлантики.
Хлопают двери банков.
Пуста комната Пруста,
и, как пропуск в романтику,
шелестит пластик в прохладе ресторанов.

Автоответчик приветственно сообщает
ответы на все вопросы:
кто, куда, зачем и насколько.
Позвонишь ей раз десять
из разных будок с космического мороза
и становится почти совсем не больно.

С другой стороны, история не даёт ответов,
и, поскольку общее место, ничему не учит.
Из любой дыры по и-мэйлу можно передать приветы.
Но страшно признаться,
что всё это только случай.

Чай остывает, наливается мятой.
Чужая жизнь на нёбе горчит приятно.
Душная ночь на подушке мятой
тем прекраснее, чем она более безвозвратна.

Я знаю, что ни на каком языке я снов не вижу.
Я не вижу снов на языке, но я верю,
мне голос какой-то иногда слышен:
чудные строки, но, если проснуться –
это состав уходит на дальний канадский север.

Хамсин – это пятьдесят вдохов и выдохов
пустыни, спящей под мутным терракотовым небом.
Время исхода, когда всё безвыходно,
то есть маца кончилась, но осталось полно хлеба.

Это хамсин: много песка, дефицит кислорода.
Только хасиды о'кей и патрули с М-16 и «Узи».
С Леванта грузовики с джинсами плывут в Новосибирск,
как караваны свободы,
и обратно женское карго
из портов перезоненного Союза.

Оксаны, Татьяны, Сони и рижские Лаймы,
их аттестаты зрелости свежие, как банкноты.
Рыщет золотоносное поколение
трёхпроцентного выигрышного займа
в поисках добычи вокруг Эвксинского понта.

Сунь тёплый пластик в щель
в стене мечети султана,
и человекочасы зашелестят
как песок в часах библиотеки совета.
Я скучаю, но домой звонить ещё рано.
Странно, что ат@т быстрее скорости света.

Слова были вначале или Слово?
Олово речи в тигле синего времени.
Попробуй переведи на язык оригинала «Нашедший подкову»,
найденный в бутылке на странице без имени.

Оставьте в покое историю и юриспруденцию.
Какая там ответственность?
Каждый сам за себя решает, сколько осталось.
В икс-хромосоме живёт моя смерть
и моя женственность,
и по мере возможности,
я стараюсь не есть сала.

Азбуки языков рассыпаются, как арабская мозаика,
чтобы, не дай Бог, не создать образ

подобием образа.

Писание летописи слева направо –
это удел прозаика.

Наше правое дело – на волоске от истины
поиски голоса.

Я теперь спокоен,
потому что знаю, где сидит фазан
и сколько гульденов стоит въезд на остров Манхэттен.
Мне так и не удалось побывать на горе Синай
(не потому что Египет),
но теперь уже неважно и это.

В середине лета
я вернусь во влажное лоно
моего довоенного дома в плюще и сухих лианах.
Я окончил школу долины нижнего Гудзона
и так изменился, что мне больше не страшно и не странно

потерять и его.
И не оборачиваясь
закрыть дверь и уйти в горящий
лес после исхода лета.
Вот и хорошо, что больше
некому жаловаться,
разве что коту,
которого теперь тоже нету.

Хорошо также приезжать в Лефортово
и сидеть на своём единственном клочке
на мёртвой пасеке у улья с пеплом.
И тянет уже не гранулирующая рана,
а тепловая точка,
которая всё более крепнет.

Что особенно кстати в январе,
когда грунт твёрд, и алкаша с лопатой
не дозваться в подвале.
У стены часовня одиноко стройна и легка.
Там свидетельства выдают в прохладном чернильном зале

Скоро время вечерней поверки,
а я и не знаю, в какой список
я занесён пожизненно.
Какая личина, что за кличка, что за доля.
Но как-то легче, что такой
я не единственный, построенный с другими
на краю вечернего поля.

Я знаю, что поздно уже, да и зачем
выбирать для души сосуд в разливочной:
стакан, стопку или пивную кружку.
Дыши свободнее, пока сиреной вожатые не позовут
на этот последний за смену ужин.

Но всё же странно, что всегда и везде
становится напряженно,
когда вызывают, называя фамилию и имя вместе.
Это же просто моё отражение.
У него есть форма и чувства, но у отражения
не может быть гордости или чести.

Ни, тем более, священной миссии
навек и поныне. Снова:
каждый сам за себя в ответе.
Священным хамсином свищет
ничья истина
в простреленном и запеленгованном
квадрате пустыни.

Судить о себе, пожалуй, не рано,
но, всё же, не ясно, имеет ли смысл.
Потому что душа обрела язык
и заговорила вслух, не имея слуха,
говоря к имяреку.
Это такая чудная, пульсирующая сила,
что для убеждения стали не нужны руки.

Говорю: душа со слуха
выучила разговорный язык
и теперь в кафе на салфетке
рассеянно чертит знак "алеф".
А дальше не важно, как подвыпивший диббук,
пусть снова поджидает кого-то
в больничных дворах и на вокзалах.

Где всё наполнено копотью, костной мукой,
дымом и тенями транзитных судеб.
И когда проезд оплачен,
состав тронется и всё поплывёт мимо,
я по тебе скучать – да и вообще – буду
хранить в себе вечно каменную пыль Иерусалима.

Иерусалим, 1998

* "Становится тише...". стихотворение Пауля Целана (перевод А. Грицмана).

** "И это имеет значение...": отрывок из стихотворения Уоллеса Стивенса (перевод А. Грицмана).

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

Николай Нехемия Беззубов

НАБЛЮДАТЬ БЕСПЛАТНО

Кроме того, я понял, что Армия обороны Израиля – это очень удобное и плодотворное место для творчества. Мысли не заняты бытовыми проблемами, ты находишься на полном обеспечении, и в свободное от служебных дел время можно раскрепощенно работать, развиваться в графике, рисунке, живописи.

Для тех, кто занимается словом, мне кажется, армия вообще идеальное место: тебя постоянно куда-то везут и ты, сидя, скажем, в «Ди-500», «Риорсе» или «Мане» – в любое время года, месяца, дня – наблюдаешь как бы бесплатно за проносящимися фрагментами пейзажа. В разное время года, месяца, дня ты стоишь на КПП или другом посту и так называемая *клита* (способность воспринимать окружающий мир) явно повышена, только не забывать брать с собой блокноты – благо, карманов много. Вот содержимое одного из них, на этот раз не рисунок, а попытка текста:

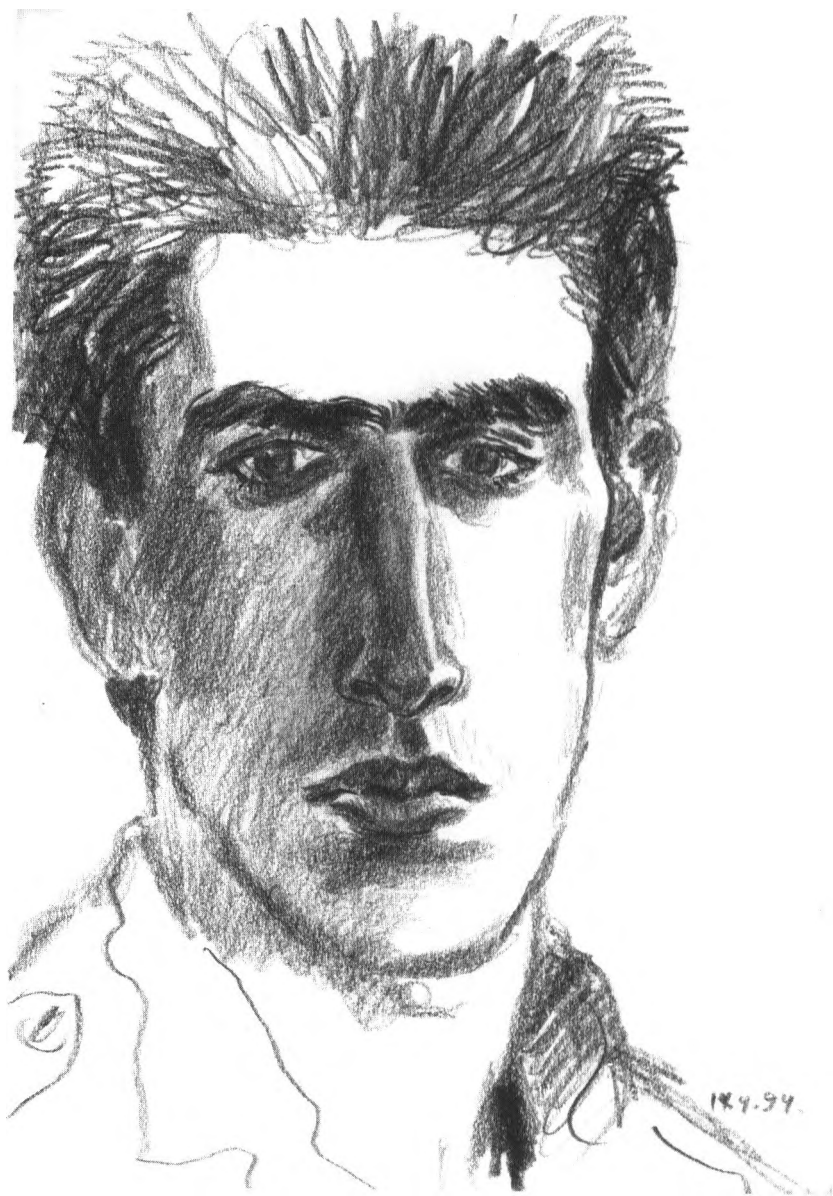
*Интересно, облака шли под углом
По отношению к городу.
Было время заката, напротив – заброшенный дом.
В эту ночь я дежурил с Григорием.*

*Очень точные вещи он говорил,
И в какой-то момент на горизонте
Появилось тусклее из светил –
Кривая луна, на ее фоне,
Как нераскрытый поломанный зонтик,
Торчал кипарис. В Хлебном Доме
Наступало время, когда красный свет
В окне означает, что все доступно внутри.
Я сказал, что все это декорации – этот город «Бет»,
Настоящий свой город они клеят в тюрьме из фольги,
Ставя шарики от пинг-понга как фонари
И в перерывах медленно описывая по двору странные круги
(За неимением клея используют расплавленный маргарин).
Смысл этих странных кругов, кстати,
Я понял только недавно – при виде здешних картин.*

Интересно, облака шли под углом
По отношению к городу,
Или это город так повело –
«Смотри, как он косо стоит», – сказал я Григорию...

Перед вами немного из того, что мне удалось сделать за время службы. Листы из альбома зарисовок. Альбом этот был одной из достопримечательностей роты и дошел даже до командира батальона. Объектами служили солдаты, чаще всего, друзья – те, кто рядом в палатке или караване. А кроме лиц, всегда есть сами палатки, караваны, машины, деревья. В общем, хватает работы. Но при этом важно стараться спать, хотя бы шесть часов.











'Kdy' 23.9.94



KOP 30.12.94.





Мириам Таубурд

ДВА РАССКАЗА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛКА

– Сапоги и медали, сапоги и медали, согласна!..

Вопли на русском неслись снизу, из кафе. Они заставили меня прервать урок рисунка, который я вела на антресолях галереи Союза художников в центре Тель-Авива. Пока я спускалась, женщина, продолжая причитать, пала еще ниже:

– Уши, пусть даже уши – согласна!

Пожилая репатриантка обливалась слезами. Потоки нестойкой, советского производства, туши для ресниц текли по ее белому, очень полному лицу, смешиваясь с яркой помадой и капая с подбородка. В руке она держала фотографию с изображением огромного скульптурного портрета Владимира Ильича. Рядом со скульптурой, какие в изобилии плодили в художественных фондах, можно было разглядеть юную девушку, каковой, очевидно, была эта самая репатриантка в ранней молодости. Никаких более поздних работ у Лилии Львовны не было. Она пыталась убедить председателя Союза художников Израиля, не понимавшего ни слова по-русски, поручить ей скульптурную работу и готова была лепить второстепенные аксессуары – сапоги и медали – на существовавшем только в ее воображении памятнике погибшим воинам.

Мы познакомились. Я пригласила ее в мастерскую.

– Как давно я не была в мастерской, как соскучилась по художественной атмосфере... В Ленинграде у художников такие своеобразные вещи в мастерских: иконы, старинная утварь – и у всех одно и то же, у всех так оригинально!

Мои работы привели ее в восторг:

– Ну прямо Босх, 19-й век, Микеланджело, ну чистый авангард, обалдеть! А что это за дерьмо стоит на углу вашей улицы?

– Ну, как бы вам это объяснить: в свете постмодерна, его когнитивных аспектов и актуальной тенденции к цитатам без кавычек... Короче, это современная скульптура.

– Я очень извиняюсь, но если это – современная скульптура, то дерьмо – вы, Мириам.

Новая жизнь казалась ей лишенной духовности, и она предпочитала предаваться воспоминаниям об ином, более наполненном существовании:

– Мы в Ленинграде денег на культурную жизнь не жалели – на театры, на французские колготки...

В дальнейшем Лиля все же делала попытки приспособиться к новым, не знакомым ей условиям, и делилась со мной впечатлениями:

– Вы правы, в Израиле есть своя, местная культура, и мы понемногу начинаем к ней приобщаться. Вот вчера мы были на концерте Эльдара Рязанова. Скажите правду, вы об этом знали?

– О чем, Лиля?

– Как о чем? Оказывается, здесь нет гардеробов – здесь есть только воры.

Настоящим потрясением стало для Лилии Львовны открытие, сделанное во время празднования Хануки: оказывается, древние евреи сражались за свою независимость с греками, с теми самыми древними греками – олицетворением культуры, во всяком случае, пластической.

– Мириам, ну правда же, мы в Ленинграде римлян и греков никогда не считали язычниками! И еще мне сказали, что они называются на иврите «паганам». Как не стыдно! Сами поганые, а еще считают, что все русские – проститутки. Я, например, нет. Негодяи, хамы, жлобы, ворюги, торгоши, ублюдки, так в морду бы и плюнула! Ведь чему прежде всего учила классная дама – хорошим манерам. А эти, бескультурье, себе под ноги гадят, хуже животных, всех их паршивой метлой – обратно в их Марокко!

– А с кого будут взимать «налог на алию», чтобы платить вам пенсию? Ту самую пенсию, которую вам, проработавшей всю жизнь, Советский Союз не заплатил.

– Во-первых, это не они мне платят, а Америка. Я сама в газете читала, там еще было написано, что нас завозят сюда как пушечное мясо.

– Вас, как мясо?

– Во-вторых, это же Советский Союз: я была там большим уважаемым человеком. А Израиль дал мне такую ничтожную пенсию, безобразие. В армию они не идут – только плодятся!

– Марокканцы не служат в армии?!

– Эти пейсатые. Где это видано, чтобы в субботу не ходил транспорт, и почему они в автобусах все время читают? Умные, на нашем горьком опыте. И все, оказывается, им положено, все им подавай первым. Нас теснят, едут и едут сюда.

– Вы ошибаетесь, они сюда и не думают ехать.

– Ошибаетесь вы: едут и квартиры покупают, каждая – Дворцовая площадь. Не успеют из России приехать, сразу у меня селятся. Они думают, что я богатая, как вы... И даже вы так не угощаете, как я их, чтобы в грязь лицом не ударить перед бывшими согражданами. Ведь местные, они такие скупые, этот их нес-кафе – сплошные сопли, и черствые коржики. Оказывается, они поголовно больны СПИДом. Привезли их, и вот, пожалуйста, что открылось. Сидели бы в своей Эфиопии: и не евреи, и больные. Теперь только бы один из них не чихнул на тебя в автобусе. Чихнет – и все пропало. Болезнь через слюну передается. А это их местечковое воспитание, его, я вас уверяю, ничем не перешибешь. Эти Хайки малограмотные! И что самое возмутительное – они меня своей не считают, меня, коренную ленинградку... Ведь мы, петербургские интеллигенты – единственные представители истинной европей-

ской культуры в этом обезьяньем питомнике. Никогда не предполагала, что в Израиле столько слепых...

– Откуда вы это взяли, тоже в газете прочли?

– Тогда зачем же столько магазинов оптики? На каждом шагу магазин оптики. Безобразия какое-то!

– Вы слышали: воду летом вздумали отключать, фашисты! Фашисты в своем концлагере не отключали, так здесь решили отключать! Даже во время блокады люди за водой по льду к Неве с ведрами ходили. А у этих местных пятаки вместо глаз, только прибыль на уме. «Кесеф, кесеф», – по улице иду, языка не знаю, одно это слово и слышу.

За границу Лиля ездит по несколько раз в год.

– Какой медовый воздух в Берлине!

– Гарью крематориев не пахнет?

– Ну что вы, у них ведь промышленные предприятия находятся за чертой города. Такая чистота.

– Даже за чертой Германии, в Польше, например...

– Моя подруга ездила в Испанию, обалденно! Креветок и раков они там наелись – от пуза! А в наши берега эта живность не заходит. И все из-за религиозного засилья: оказывается, пейсатые всех бесчешуйчатых объявили непригодными в пищу, какая дикость! Вот креветки в наши воды и не заплывают. Рассказывает, что в Мадриде, в Прадо, они не застали Маху. Обоих Мах, обнаженную и одетую, увезли в Ленинград, представляете? Их гид Саша Окунь так и сказал: про-мах-нулись. Обожаю остроумие. Мы в Ленинграде...

Иврит дается ей с превеликим трудом, но усилия стоят того.

– Пока вы не знаете языка, – поучает Лилия Львовна бестолковых новоприбывших, – кажется, что вас все время обманывают. Зато, когда вы начинаете что-то понимать, оказывается, что так оно и есть!..

МЕССИЯ

Мессия спускался на Святую землю. Он неплохо перенес посадку, получил свой чемодан, но не стал вместе с другими репатриантами проталкиваться к стеклянной стене в надежде увидеть за ней родственников, а сразу прошел в зал регистрации к длинным столам, за которыми сидели чиновники министерства абсорбции, выдающие документы и единовременные денежные пособия. Здесь произошла небольшая заминка: в списках пассажиров «Эль-Аля» он не значился, зато в документах Сохнута и министерства абсорбции его имя стояло: Машиах Бен-Давид. Чиновник, не подняв головы, выписал теудат-оле на это имя.

Поспешим заняться описанием внешности господина Машиаха – чрезвычайно важным обстоятельством в этой истории. Пассажир был маленьким, толстеньким, легко возбудимым лысым человеком

средних лет. На эту роль прекрасно подошел бы ныне покойный артист Евгений Леонов. Одет он был в черный костюм, белую рубашку, закрытые туфли и явно страдал от жары. В первом же магазинчике готовой одежды репатриант купил пляжный костюм и библейские сандалии.

Теперь он выглядел иначе: короткие белые брюки-бермуды, разукрашенные жизнерадостными пальмами, доходили ему до икр, аналогичной расцветки просторная короткая распахонка открывала волосатую потную грудь, в зарослях которой терялся золотой магендавид на цепочке. Сандалии обнажили коротенькие толстые пальчики, растопыренные в разные стороны, наподобие пальмовых метелок на его новом костюме. Бермуды при каждом движении открывали верхнюю часть ягодич, доставляя их новоиспеченному владельцу немало хлопот...

Так начались злоключения очередного Мессии на Святой земле. Маленький нелепый человек – действительно Мессия. Но он выглядит не так, как должен выглядеть настоящий Мессия, согласно иконографии Христа. Не стану описывать хрестоматийный образ Спасителя – он прекрасно известен. Зрительный пластический образ Мессии-Христа имеет такое колоссальное распространение во всей христианской культуре, формирует столь непреложный шаблон, что воображать его иначе – скорее глупость, нежели кощунство.

Еврейской же традиции присуща полная неопределенность в этом вопросе. Предполагаемые визуальные черты Мессии и его личность весьма расплывчаты:

«Еврейская концепция личности Мессии поразительно бесцветна, можно даже сказать – анонимна, в особенности, если сравнить ее влияние с силой воздействия личности Иисуса на христианскую душу. Портрет Мессии, нарисованный двумя великими кодификаторами раввинистического мессианства, Ицхаком Абраванелем, представляющим сефардов, и Иехудой Ливой бен Бецалелем из Праги, по прозвищу «Возвышенный рабби Лива», совершенно лишен каких-либо индивидуальных черт. О классическом лурианстве можно сказать, что его вообще не интересовала личность Мессии». Так писал Гершом Шолем.

Где нет личности, там нет и конкретного пластического образа. Облик еврейского Мессии лишен и собирательных черт, ибо, парадокс, но еврейский Мессия может быть только конкретным индивидуумом. Отсутствие узнаваемого облика как нельзя более приближает еврейскую концепцию Мессии к доктрине еврейского абстрактного Бога, описанного в антропоморфных терминах (другого языка ведь нет), однако совершенно лишенного пластической характеристики.

Следующий же парадокс состоит в том, что отсутствие канона позволяет безгранично и беспрепятственно «примерять» любой человеческий тип на роль Машиаха. Не случайно любимая игра меламеда и его учеников – угадывать, под какой маскировкой прячется возможно уже пришедший Мессия: этот жадный толстый торговец, который только и делает, что пересчитывает свои день-

ги, может быть, под его личиной прячется Мессия? Или же вон тот ничтожный бродяга, которому торговец пожалел дать милостыню, может быть, он? Эту игру можно продолжать... до пришествия Мессии.

Знает ли обо всем этом пришелец – нам неизвестно. На него возложена великая миссия, и он должен ее выполнить. Так начинается путь его страданий, его «крестный путь». На эту тему можно фантазировать, помещая господина Машиаха в различные ситуации и обыгрывая их. Не обойдется и без психиатрической больницы и знаменитого «иерусалимского синдрома». В случае с нашим героем упрямое желание убедить окружающих в том, что он «настоящий», вызывает взрывы смеха. Вспомним хотя бы штаны-бермуды, разукрашенные развесистыми пальмами. Спереди они образуют пузырь и их можно дотянуть почти до запутавшегося в зарослях на груди магендавида, сзади штаны предательски сползают, обнажая розовеющие безволосые и беззащитные ягодички. Владелец нового пляжного костюма все время спохватывается и мучительно тащит брюки наверх – короткие ручки с трудом достают до поясницы, при этом смешно и криво выпячиваются грудь и живот, – это очень скоро становится болезненной привычкой, подобной нервному тикку, и вносит дополнительную суетливость в облик лишенного героических черт бедолаги. Важность, я бы сказала, грандиозность задачи, стоящей перед ним, распирает все его нелепое существо и вырывается наружу надсадным воплем закипевшего чайника.

Между тем, говорит он на прекрасном иврите с неуловимым акцентом, не знакомым современному израильскому уху и вызывающим поток назойливых, однообразных и очень раздражающих Машиаха вопросов, вроде:

- Ты что – русский?
- Сколько ты в Израиле?
- Я – Машиах Бен-Давид!!!

– Ты, случайно, не родственник Рафи Машиаха, тренера ашкелонской сборной по футболу? Если да, то скажи ему, что зря он заменил правого полузащитника...

Рекламные трюки, к которым прибегал некогда Иисус с целью убеждения масс (массы мало изменились с той поры), наш герой отвергает как недостойные. Откровенно говоря, он вовсе не уверен, что сумеет пройти по озеру Кинерет, аки посуху. Во время тренировок избыточный вес и недостаточная духовность (чего он особенно стеснялся) приводили к тому, что он неоднократно шел ко дну, после чего и отверг все эти Иисусовы фокусы, назвав их шарлатанством. Сейчас он об этом пожалел.

Отчаявшись быть признанным, он решает держаться поближе к тексту и покупает в арабской деревне белого осла. Взбирается на него, безнадежно утратив контроль над своими штанами, и берет направление на Иерусалим. Очень скоро вокруг него собирается толпа, слышно щелканье фотоаппаратов. Толпа растет, раздаются крики: «Поглядите – это он!», «Я его первым узнал!», «Таким мы

его и представляли!», «Что здесь происходит – снимают фильм?», «Да погляди же, это – он!»

Сей момент – один из кульминационных в нашей истории. Машиах испытывает в эти минуты прилив абсолютного счастья – его узнали. Все его страдания вознаграждены. Сейчас начнется выполнение той истинной миссии, ради которой он здесь находится. Ликование переполняет его, и он собирает все силы, чтобы совладать с лицевыми мышцами, раздираемыми счастливой улыбкой. Именно поэтому его физиономия выражает сосредоточенность и отстраненность, которую можно истолковать как надменность. «Это он!» – ликует толпа. «Санчо Панса!», «Мы его сразу узнали! Это – Санчо Панса!».

Действительность оглушает его тяжелой палаческой плетью римского легионера. «Лучше бы они меня распяли, как того лже-Мессию, ему повезло больше, чем мне, они оставили ему шанс, и какой шанс!»

С горечью и чувством поражения Машиах покидает Святую землю, на которой живут грешные люди, не признавшие своего спасителя. В самолете он достает из чемодана черный костюм и, пройдя в туалет, переодевается, с отвращением закинув пальмовый комплект в урну. Створки урны неожиданно распахиваются (в современных лайнерах мусор собирается в полиэтиленовые мешки – в целях сохранения окружающей среды, – а не выбрасывается за борт), и две не первой свежести тряпки еще долго парят в высших сферах, то складываясь в трогательные крылышки, то развеваясь бинтами, коими, как это описано в Талмуде, Мессия бинтует свои раны, сидя под городской стеной, за закрытыми воротами вместе с нищими и прокаженными.

Как и предыдущие, наш Мессия держит путь к Римскому папе. Почему еврейская традиция стремится получить подтверждение подлинности Мессии у крупного христианского чиновника, на этот вопрос нет определенного ответа. Но ряд попыток потенциальных спасителей рода человеческого, еврейских Мессий, предстать пред светлые папские очи истории известен. Каббалист Авраам Абулафия, Шломо Молхо и даже Шабтай Цви – что двигало ими, этими евреями, в чем они жаждали убедить апифиора¹? Почему эти мудрые головы не понимали смехотворности своей затеи?

Как бы то ни было, папа соглашается принять Машиаха Бен-Давида. Они ведут продолжительную беседу под крупным, искусно выполненным распятием. О содержании разговора можно легко догадаться. В ходе аудиенции толстячок становится все более нервным, красным, вскакивает с кресла, даже бьет себя в грудь, хватается двумя руками за голову, выпячивает нижнюю губу и являет многочисленные признаки неуместной суетливости и вульгарности.

Апифиор невозмутим, он лишь тонко улыбается, кивает иногда головой в знак одобрения или согласия, и всякий раз после кивка медленно встает, тяжело, но с достоинством выпрямляет старче-

¹ Апифиор (иврит, из греческого) – Римский папа.

скую спину и мягким движением кисти руки указывает в сторону Распятого. Затем он опускает голову и кажется, что его улыбка приобретает оттенок сарказма.

Следующая, и конечная, остановка нашего путешественника по бренной земле – Нью-Йорк, резиденция Любавического ребе. Ребе очень стар, он возлежит в инвалидном кресле и окружен сподвижниками. Машиах входит – и ребе всем телом подается ему навстречу, заметно, каких усилий это ему стоит.

– Ничего не объясняй, я все знаю, ты – Машиах. Как только ты там у них в этом гойском Израиле появился – я уже все знал. Ты, как и следовало ожидать, явился совершенно не вовремя: они создали государство, не дождавшись твоего прихода. Если бы они тебя признали, то только укрепились бы в своих заблуждениях.

Ты поторопился, побоялся опоздать: «Мессия, – дескать, – придет тогда, когда будет уже не нужен...»². Мудрецом и знатоком Торы тебя никак не назовешь. О пресловутой дружбе ягненка с волком, долженствующей сопутствовать твоему явлению, ты знаешь, я полагаю, однако момент своего пришествия надо было основательно проштудировать. Это не так-то трудно: задаешь компьютеру задание, и он находит и распечатывает требуемые тексты. С хорошим наставником ты мог бы вполне в этом разобраться. Ведь сказано:

«Когда, наконец, разделятся добро и зло, явится Мессия»³. Этого что-то пока не наблюдается. Что ж ты так торопился? Кстати, как тебе идея о том, чтобы явиться из скверны, а не сваливаться на нас с ясного неба среди бела дня? Не нравится? Ты, я вижу, тщеславен, хороший хасид из тебя бы не вышел. Напрасно – богатая идея и очень современная. Да, между прочим, что за непристойная выходка со светским платьем? Не мог потерпеть в костюме и белой рубашке, как правовеерный еврей? Говоришь, хотел быть поближе к народу? Неправильно понятая ситуация! Ты сам сократил свои шансы до минимума.

«Не время для пришествия Мессии» – это мое слово. Ты вел себя бестактно по отношению ко многим, очень многим евреям. Твое несвоевременное явление внесло бы в их ряды большое смятение и, чего доброго, поколебало бы в служении Всевышнему. Такое отступничество от веры всегда сопровождало напрасное упование на твой приход – а ты не являлся!

Ведь все эти люди свято верят в то, что Машиах – это я!!

² Афоризм Франца Кафки.

³ Слова Хаима Бен-Йосефа Витала.

ТЕКСТ К РИСУНКАМ

Многолетней дружбой с Александром Окунем я очень горжусь и очень дорожу. Помню, как в 79-м году провожал его в навечный отъезд, надеясь (без уверенности) на скорую встречу. А в Сибири у меня эта надежда почему-то очень упрочилась. В каком-то очередном письме (уже из ссылки) я написал ему стишок, который помню до сих пор, ибо редкостная рифма в нём была украдена мной у поэта Минаева:

*Не грусти, художник Окунь,
не тесни рыданием грудь,
мы ещё с тобой – конь о конь -
поскакаем как-нибудь.*

Сбылось это спустя семь лет. После большой приездной пьянки мы ещё спали в маленькой иерусалимской гостинице, когда ворвался рано утром Саша и сказал слова, которые мы запомнили всей семьёй:

– Вставайте, лентяи! Голгофа открыта только до двенадцати!

И возникшее в эту минуту чувство, что мы дома, не покидает нашу семью до сих пор.

И слова о скачках – конь о конь – полностью сбылись: те мои книги, что иллюстрирует художник Окунь, читатели очень ценят и покупают значительно охотнее других. Да и по миру мы уже немало поездили вместе: Франция, Италия, Испания, Голландия, Бельгия. Разговаривать с ним о живописи или истории, бродя по улицам или музеям старых европейских городов, – чистое наслаждение. Об этом знают десятки людей, побывавших с ним в совместных поездках. Окунь – путешественник дотошный, пристальный и неутомимый, в нём пропал, возможно, незаурядный натуралист-открыватель. Например, в окрестностях города Брюгге он только что обнаружил (есть свидетели) некий новый вид растущего по берегам рек листовенного дерева – он назвал его «Плакучая Рива» и собирается описать в специальной литературе. В одной из статей о нём в английской энциклопедии я прочитал, что он разводит лошадей – мне как-то не довелось его об этом расспросить, но я ничуть не удивился: его периодические отлучки из города явно говорят о каких-то тайных пристрастиях. Так же, как он когда-то знал Питер с осведомлённостью профессионального экскурсовода, знает ныне он Париж, Рим, Мадрид и Калькутту, не говоря уж, разумеется, о Иерусалиме и Харбине. Я довольно часто краду у него разные мысли, не то чтобы прямо присваивая их себе, но укрывая под уклончивой формулировкой – «кто-то, уж не помню, кто именно, замечательно точно сказал...» – и далее по тексту следует какая-нибудь Сашина идея или фраза.

Вообще диапазон способностей этого человека чрезвычайно широк: заядлый меломан, отменный кулинар (он основатель из-

вестной уже во всём мире семантической кухни), отпетый журналист, великолепный собеседник-собутыльник и так далее. Но всё это отступает на задний план перед главным его талантом – художника. Зарабатывая на жизнь тяжёлым ремеслом преподавания, Окунь полностью раскрепостил себя как художника и имеет мужество (или упрямство) идти по очень личной и весьма крутой дороге. Каждый день я заново получаю удовольствие, глядя на десяток его холстов и рисунков в своей коллекции – подаренные им, отцыганные мной, одну работу я даже некогда купил. Меня в его работах восхищает и завораживает незаурядная игра – реальности и мифа, воображения и иронии, виртуозного графического мастерства и невероятной живописной чувственности. Мало кто знает, что художник Окунь пишет на уникальном, им самим изобретённом грунте – это замешанная на клею пыль иерусалимского камня, он специально покупает опилки в городских каменоломнях. Знающие толк во вложении капиталов японцы недавно купили у него несколько больших работ, но не успели заплатить: их ограбили по дороге, и судьба этих людей пока неизвестна. А чтоб не лепетать зазря любительские слова восхищения, приведу я лучше несколько цитат из множества отзывов профессиональных критиков крупнейших израильских газет о разных его выставках:

«Окунь одновременно поэт и визуальный алхимик, его необычные работы являются столь же экспериментом, сколь и поэзией... Его искусство не принадлежит ни к одному современному направлению, ни к одной современной группе. Окунь создаёт художественные баллады, он выдумщик, рассказчик и расписыватель вывесок...».

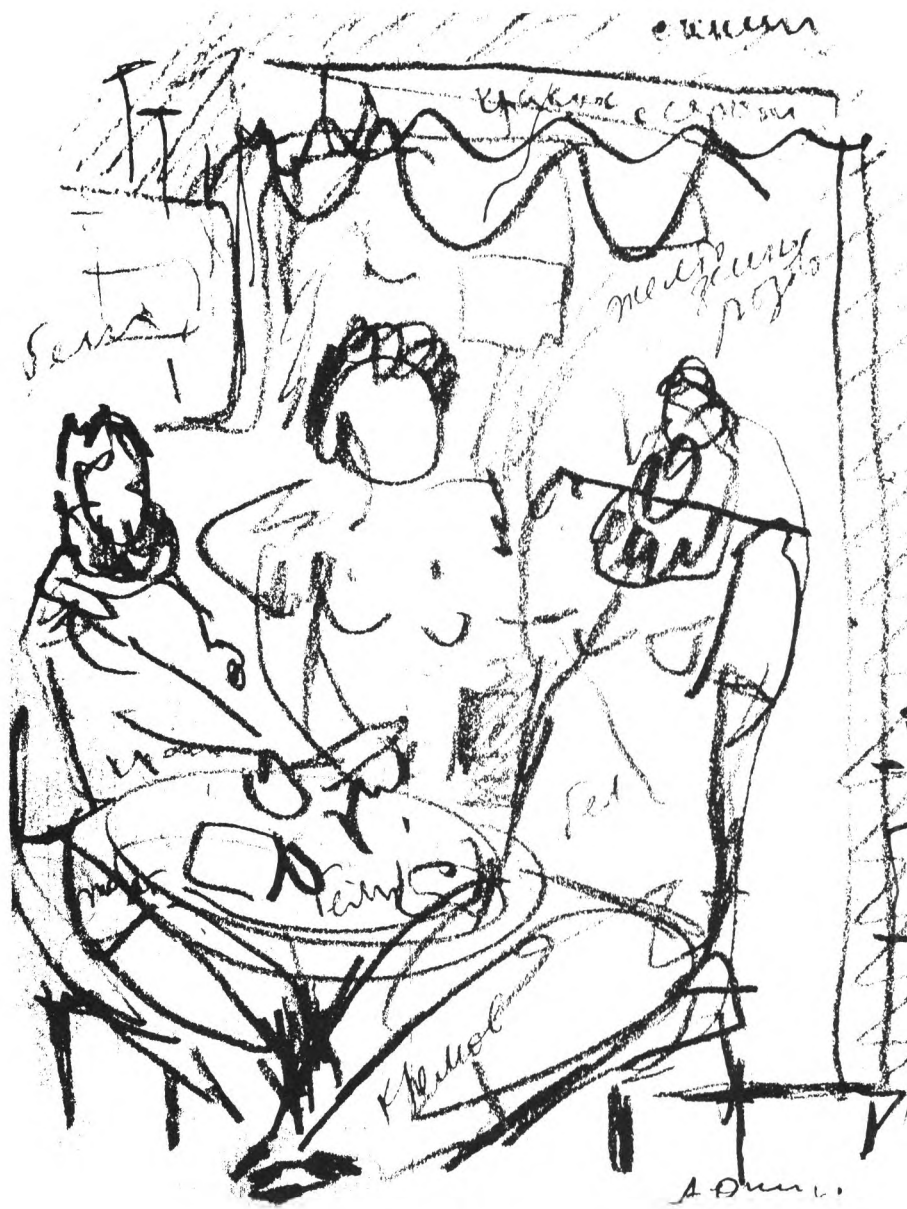
«В отличие от классической наготы Энгра, Рубенса или греческой скульптуры, обнажённая натура у Окуня не выглядит совершенной, лёгкой и соблазняющей, она уязвима, она страдает, она тревожит зрителя. Его тела – это святилища плоти, святилища её повседневного существования».

«Мастерство Окуня во владении карандашом и кистью, способность строить трёхмерные конструкции и, в целом, его творческие идеи – совершенно невероятны. Художник демонстрирует талант и экспрессию, доставляя наслаждение чувству в той же степени, что интеллекту».

«В живописи Окуня больше всего завораживает и восхищает, что за этим искусством стоит незаурядный мужественный человек такого философского и морального уровня, который в наших краях не встречался давным-давно».

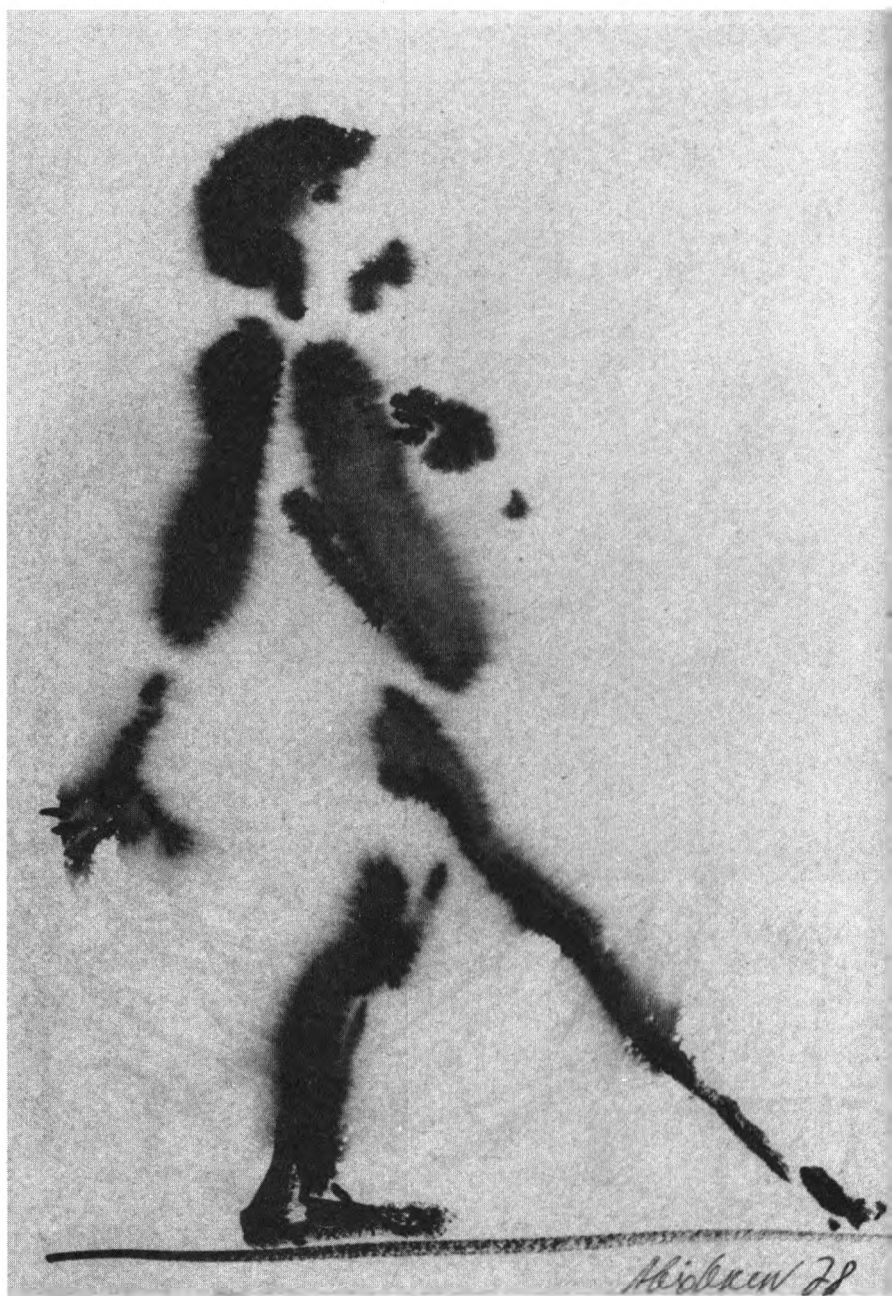
Впечатляет, не правда ли? Мне лично это всё читать было невероятно радостно и улаждительно.

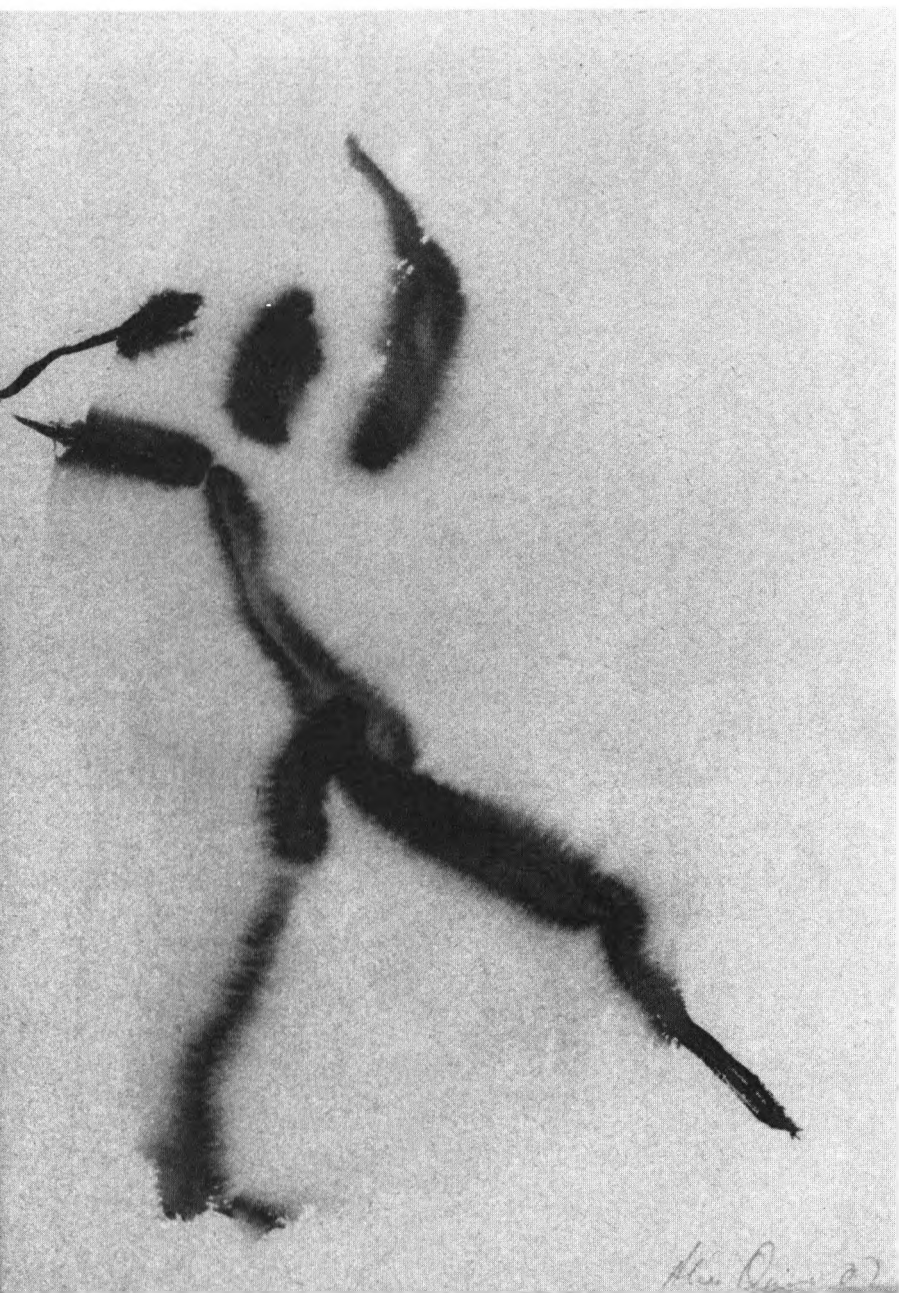
Но радостней всего, что Александр Окунь жив ещё, отменно молод (что это за возраст – полвека!) и полон всяческих идей и замыслов, что счастье и его, и близких. Удачи и здоровья тебе, Саша!



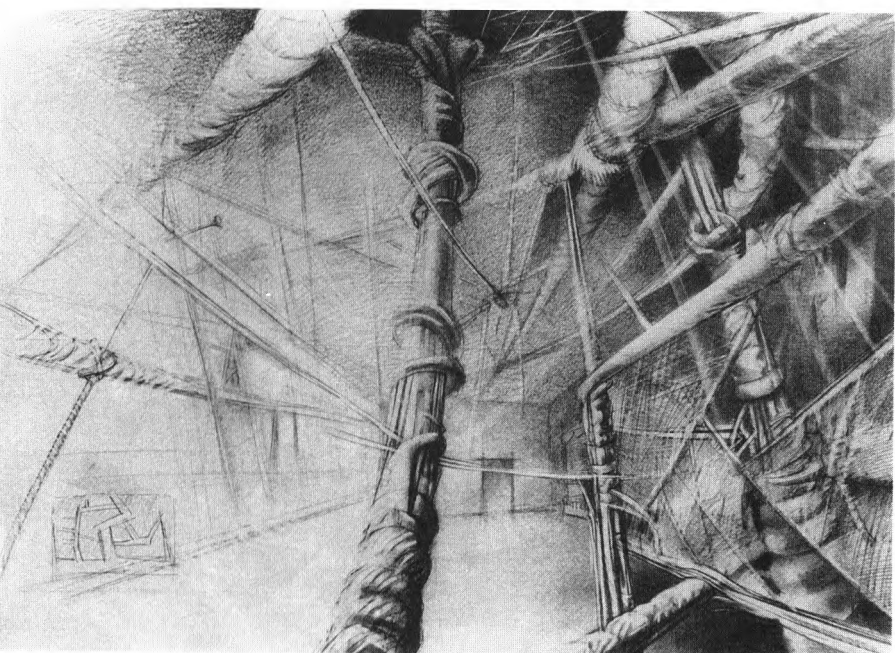


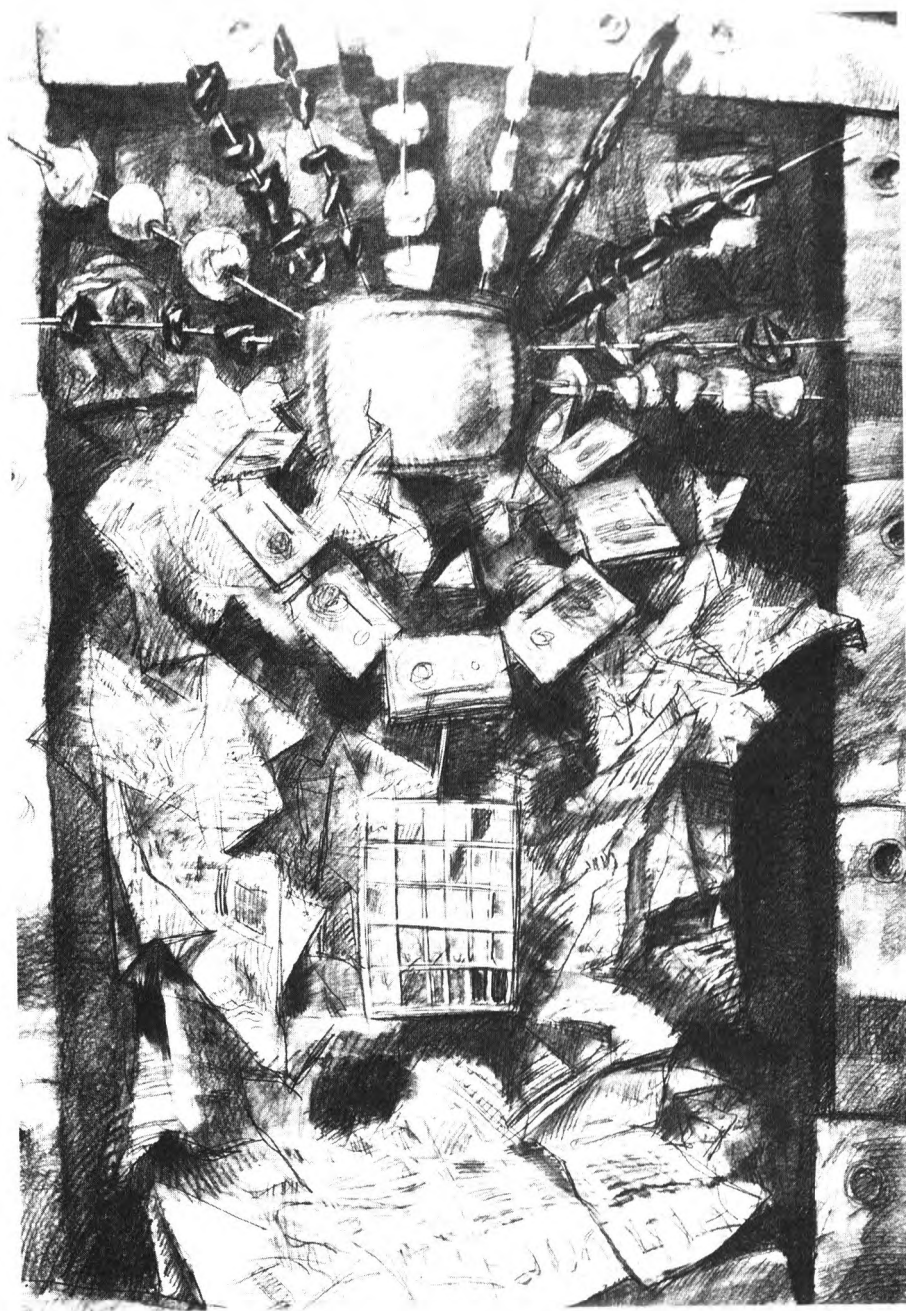
A. O. 82.

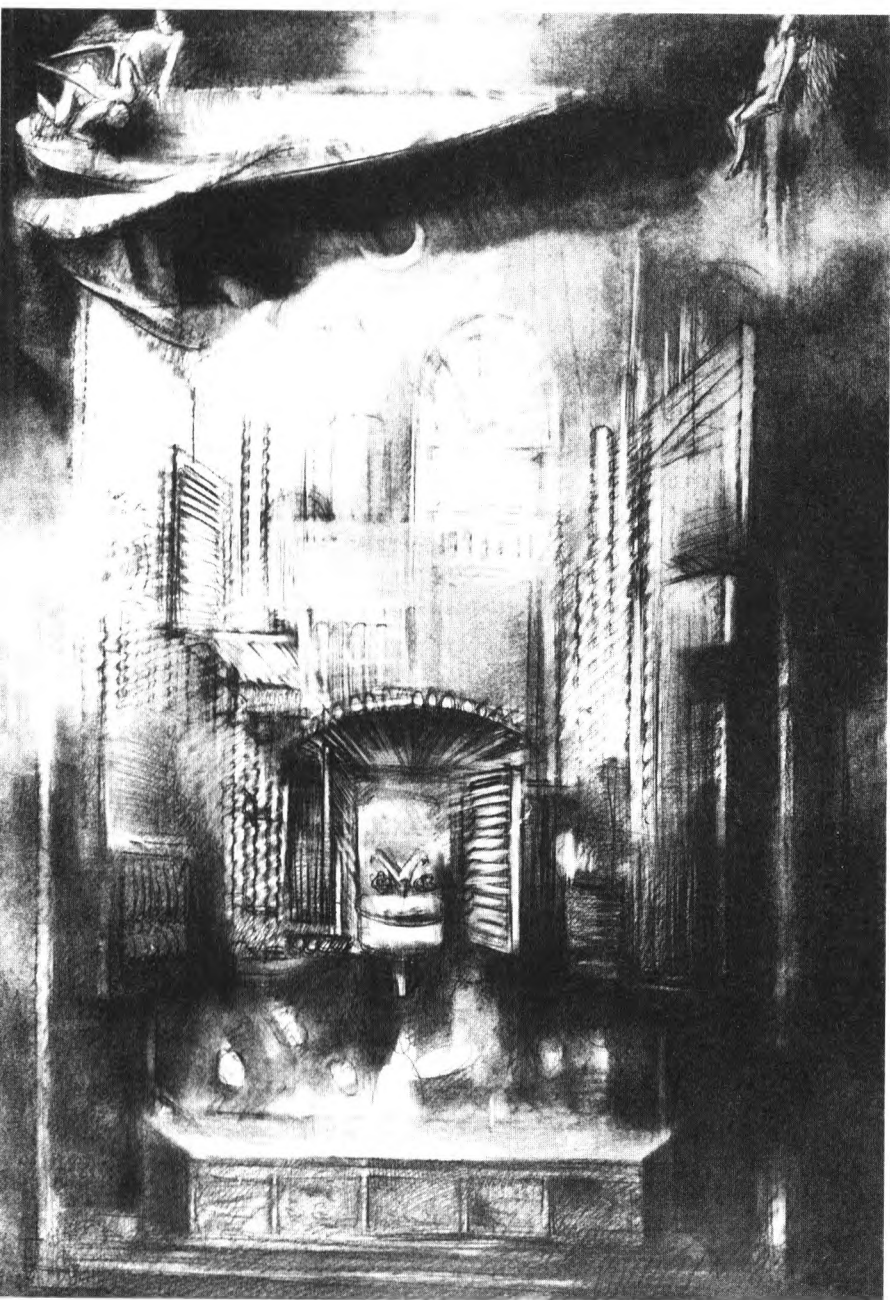












Вадим Левин

АДАПТИРОВАННЫЙ КОРНЕЙ ИВАНЫЧ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Поэтесса Рената Муха (она же – доктор филологии Рената Ткаченко), когда жила в Харькове, написала методическое пособие для учителей английского языка. Случилось так, что, попав в Киев, она встретилась с министерским чиновником и спросила у него, будет ли издана ее работа. Чиновник долго хвалил рукопись, а завершил ответ так:

– Но печатать не будем. Это не наш, не советский, английский язык.

От учителей с большим опытом преподавания русского языка в Израиле я не раз слышал:

– Израильским школьникам трудно понимать то, что читают малыши в России. Почти каждое слово нужно объяснять. Например, "унылая пора" наши дети понимают как "грустная корова"¹.

Из этого следовал вывод, что для обучения израильских детей русскому языку нужно писать специальные упрощенные тексты. А если обращаться к Пушкину или Чехову, Драгунскому или Маршаку, то их произведения следует адаптировать. Специально для Израиля.

Приняв этот социальный заказ, я задумал "зеркальную" книгу адаптированной русской поэзии для чтения в израильской школе. Вот, например, как будет выглядеть в этой книге загадка классика русской детской литературы.

Авторский вариант Корнея Чуковского

Шел Кондрат

В Ленинград.

А навстречу – двенадцать ребят.

У каждого – по три лукошка,

В каждом лукошке – кошка,

У каждой кошки – двенадцать котят,

У каждого котенка

В зубах по четыре мышонка.

¹ На иврите *пара* – корова.

И задумался старый Кондрат:
"Сколько мышат и котят
Ребята несут в Ленинград?"

Глупый, глупый Кондрат!
Он один и шагал в Ленинград.
А ребята с лукошками,
С мышами и кошками
Шли навстречу ему –
В Кострому.

Адаптированный вариант

Шёл себе Хаим
в Ерушалаим.

Глядит:
навстречу Арон

спешит
в Рамат-а-Шарон.

А с ним – живой уголок:
две кошки,
индюк,
носорог,

сто тридцать три крокодила
(все, как один, – из Нила),

двадцать четыре верблюда
(точно не знаю, откуда),

лошадь,
индийский слон...

И всех погоняет Арон.

Вот тогда и сказал себе Хаим:
– Ну, и сколько же в Ерушалаим
проводит зверей
этот старый еврей?
Ну-ка, Хаим,
давай сосчитаем.

Ах, какой невнимательный Хаим!
Это сам он
шёл в Ерушалаим,
а живой уголок и Арон
шли навстречу –
в Рамат-а-Шарон.

Редколлегия высоко оценивает идею детской книжки на нашем – израильском – русском языке и выражает готовность принять участие в ее издании в Библиотеке "Иерусалимского журнала", а также с признательностью отмечает вклад Вадима Левина в перевод израильских ивритских стихов на наш – русский – русский язык, публикуя при этом образцы.

ИЗ НУРИТ ЗАРХИ

Дядя Шая спешил к нам на ужин,
Но споткнулся и шлепнулся в лужу.
Не волнуйтесь, друзья, бога ради.
Мы прекрасно поели без дяди.

ИЗ ЭЛИ СЕТА

Живет на свете длинная собака –
воспитанная, добрая. Однако
такая длинная, что вроде не собака,
а собака-баба-баба-бабака.

Пользуясь случаем и любезным разрешением автора, мы предлагаем вниманию читателей две его неопубликованные, но озвученные "новые старинные шотландские баллады"².

УЗНИК И КОРОЛЕВА

Сергею Никитину

1

Что я скажу тебе, Мария-Анна?
Что я скажу тебе, Мария-Анна?
Что я скажу тебе, Мария-Анна?

В кромешной тьме на каменном полу
шагами отмеряю дни, недели...
На ощупь кружку нахожу в углу –
солёная вода не утоляет жажды.

Что я скажу тебе, Мария-Анна,
когда меня ты призовёшь однажды?

² Эти баллады впервые прозвучали в телевизионном фильме "Сэр Вальтер Скотт". Музыку к ним написал Сергей Никитин. Он же исполнил баллады вместе с Татьяной Никитиной.

2

Со ржавым скрипом отворилась дверь
и белый зверь в глаза мои вцепился.

Не закричу, не потеряю память.
Спасибо, добрый стражник, что, глумясь,
к моим больным глазам поднёс ты факел:
я так мечтал вблизи увидеть пламя!

Гудят шаги по гулким коридорам.

Что я скажу тебе, Мария-Анна?

3

Я так скажу тебе, Мария-Анна:

– Твоё Величество, Мария-Анна!
Не стану льстить и не открою тайну,
а повторю, что всем давно известно:
на свете нет прекрасней королевы,
и справедливей королевы нет.
Все острова, моря и океаны
давно твой суд, покорные, признали,
и молча слушают тебя владыки,
и принимают старцы твой совет.
А я – злодей, чьё место на галерах,
всего лишь на изгнание осуждённый, –
пришёл к тебе просить, Мария-Анна,
не справедливости, а милосердия.

Что суждено услышать мне в ответ?

4

Твои глаза, моя Мария-Анна!

А стражник бьёт железной рукавицей.
Он прав: я должен преклонить колени.
Но я забыл, как преклонять колени.

Твои глаза, моя Мария-Анна!
Ты смотришь на меня, Мария-Анна,
движеньем пальца отсылаешь стражу,
и мы с тобой одни, наедине.
И только длинный-длинный между нами
Твой тронный зал. И Ты сидишь на троне –
Мария-Анна, леди, королева!

– Что ж, говори. Что ты хотел сказать мне?

Я слушаю твой голос, королева.

– Ну, говори!

Я слушаю твой голос.

– Да говори же! – восклицаешь гневно.

Что я скажу тебе, Мария-Анна?

5

– Твоё Величество, моя Мария-Анна!

На свете нет прекрасней королевы.

И справедливей нет.

И беспощадней...

А я – злодей, чьё место на галерах,

я умоляю: будь несправедлива.

О милости прошу, о милосердьё:

не отправляй преступника в изгнание –

убей меня, моя Мария-Анна.

Коснись меня своей рукой холодной. –

Не закричу, не упаду от боли.

Я сам возьму твои святые пальцы

и осторожно уложу на горле.

И перед смертью прошепчу: "Спасибо".

Мария-Анна, будь несправедлива!

Что ты ответишь мне, Мария-Анна?

Что ты ответишь мне, Мария-Анна?

Что ты ответишь мне, Мария-Анна?

БАЛЛАДА О ТОМ, КАК ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ ГЕОРГ IV МЕЧТАЛ ПОПАСТЬ В ЭТУ БАЛЛАДУ³

Его Величество Георг

под номером четвертым

любил охоту, женщин, гог

и увлекался спортом.

Но всех сильнее была в нем страсть

совсем иного сорта –

в балладу страсть мечтал попасть

король Георг Четвертый,

³ В пятьдесят первый день рождения сэра Вальтера Скотта король Георг IV и Поэт – бок о бок, верхом, в шотландских юбках – проехали во главе праздничной кавалькады по Эдинбургу, где родился и жил великий шотландец. (Из биографии Вальтера Скотта).

Чтоб барды прославляли в балладах короля.
Ой, лэлли-лилли-лалли, ой, лэ-ли-ля.

Гремят на рыцаре штаны
и прочие доспехи,
но, как на грех, весьма скромны
военные успехи,
хотя в бою, и за столом,
и выжимая гири
мечтает только об одном
король Георг-Четыре:

Чтоб барды прославляли в балладах короля.
Ой, лэлли-лилли-лалли, ой, лэ-ли-ля.

Вот созывает мудрецов
и восклицает рыцарь:
"Скажите же, в конце концов,
как славы мне добиться!
А не дадите королю
полезного совета,
я в крепость Тауэр велю
отправить вас за это,

Чтоб барды прославляли в балладах короля.
Ой, лэлли-лилли-лалли, ой, лэ-ли-ля.

Наверно, мудрым был совет,
коли Георг Четвертый
немедля снял стальной жилет
и брюки сбросил к черту!
И к Вальтер Скотту он верхом
в шотландской юбке мчится,
чтоб рядом с ним в наряде том
прилюдно прокатиться –

Чтоб барды прославляли в балладах короля.
Ой, лэлли-лилли-лалли, ой, лэ-ли-ля.

Георгов разных – ого-го! –
на свете было много,
но помнят люди одного –
четвертого Георга.
А что о нем дошло до нас?
Что знаем про него-то? –
Сопровождал он как-то раз
Поэта Вальтер Скотта! –

Чтоб барды прославляли в балладах короля.
Ой, лэлли-лилли-лалли, ой, лэ-ли-ля.

Несмотря на неосторожное утверждение автора, что "помнят люди одного – четвертого Георга", люди помнят и пятого. Центральная, чтобы не сказать, центральнойшая улица Иерусалима Кинг Джордж (ДЖОРДЖ А-МЕЛЕХ) – на ней расположены и Главный Раввинат страны (вместе с Главной же синагогой), и легендарный, мифический, пресловутый СОХНУТ (Еврейское Агентство) – названа в честь короля Георга Пятого.

Признаемся, однако, что в то время, когда Вадим Левин переводил балладу, не написанную сэром Вальтером Скоттом, об исторической роли монарха британской империи в деле поддержки мирового сионизма мог не знать даже будущий главный редактор "Иерусалимского журнала".

И потому тоже, мы считаем возможным предать огласке выкраденную нами текст работы недалекого журнала автора, которому помогала Рената Муха.

НАДПИСЬ

Мистер Левин Вадим
мною с детства любим
как старинный английский поэт,
обладатель седин,
поедатель сардин,
англичанин, которого нет.

Мистер Левин Вадим,
здесь ты необходим
ради радости наших детей.
Из-за гор и морей
приезжай поскорей,
англичанин, который еврей.

Лысый Левин Вадим
зря сомненьем томим:
поселись в Маале-Адумим.
Не стесняйся седин –
ты не будешь один
среди Рен, а тем более Дин.

Присоединяемся к приглашению!!!

Редколлегия

И ЭТО – НАСТОЯЩЕЕ

Необязательное объяснение

В почти уже легендарные времена начала Большой алии, начала девяностых, когда Лина и Дато еще не успели открыть свое кафе с необыкновенно вкусной и баснословно дешевой закуской в "Русском" культурном центре на улице Штрауса (был такой...); давным-давно, когда Лариса Герштейн и Михаил Генделев еще не основали возле мельницы Монтефиори уютный и почти взаправдашний Иерусалимский Литературный Клуб с красивым названием ИЛК (был такой...); в незапамятном прошлом, когда Борис Камянов еще не вселился в холостяцкую квартирку неподалеку от рынка Маханэ Иеуда и замечательной своими компаниями рюмочной Нисима (была такая...); а на последнем этаже дома 21 по улице Кинг Джордж размещалась нынешняя Иерусалимская Русская Библиотека (она, слава Богу, есть и даже очень...), – в этой же библиотеке происходила и литературная студия, название которой, от недостатка воображения, списал я с почтового адреса.

Через литобъединение "Кинг Джордж, 21", а таковое, благодаря заботе Клары Эльберт, существует и по сих пор (по новому давно адресу), прошло немало "молодых авторов" в возрасте от шестнадцати до восьмидесяти лет, часть из которых на сегодняшний день – мои уважаемые товарищи по литературному цеху, по Союзу писателей, по нашему "Иерусалимскому журналу", в конце концов. Имена их хорошо известны читателям обаятельной нашей страны, а кому-то – и за ее пределами. Совсем даже не думаю, что смог научить кого-то писать лучше. Однако само существование подобной студии для каждого из настоящих литераторов мне кажется небесполезным, а может быть, и очень даже важным: литобъединение создает так называемую профессиональную среду для тех, у кого ее по каким-либо причинам не оказалось.

Тех же из студийцев, кто не успел еще издать настоящие книги, да и в периодике тоже произведений своих почти не напечатал, – и так бывает, даже при самой настоящей свободе слова не всегда находятся душевные силы на "пробивание" того, что написано, – мне бы хотелось хотя бы вкратце представить в этом разделе. Небольшой размер предлагаемых публикаций вызван лишь горячим желанием как можно быстрее познакомить серьезного читателя с этими авторами, как можно меньше нарушая сложившуюся структуру журнала.

Надеюсь, с каждым из этих имен вы не раз еще встретитесь на страницах журналов, альманахов, сборников.

Игорь БЯЛЬСКИЙ

Надежда Краинская

КОГДА С ЛИЛОВОЙ – БЕЛАЯ СИРЕНЬ...

* * *

Не ворчи ты во сне,
коли рано встаю.
Дай мне сделать уютною
бедность мою.

Я в чувяках тиха,
по сусеку скребу.
Из ежиного мха
заплету ворожбу.

Затрепещет мой ёжик,
колючками – тырк!
По ступеням обложек
кувырк-раскувырк.

Я достану из книжек
берёзовых дров.
Растоплю мою печь,
разогрею мой кров.

Эта печь не видна,
ибо встроена в грудь.
Мне судьба не дана
южной неги вдохнуть.

Я возьму напрокат
лютых вьюг у зимы.
А дровишки трещат,
словно и
не взаимы.

ИЗ ВЕНКА МЕЛКОЦВЕТОВ С ЧЕТЫРЬМЯ СИРЕНЯМИ

Кто не прочёл запоем весь роман,
тот не увидел в точке небосвод.
Что это было? – Истина? Обман?
Из любопытства, на урок вперёд.

Когда с лиловой –
белая сирень,
венок надеть
приличней
набекрень.

Кто на розвальнях
вёз
через яви и призрак дорог
ту, сначала девчонку,
на твой коронованный раут?
Наметает пурга
на ресницы своих недотрог
слёзы сказок
в бильоны
карат.

Алексей Фадеев

ГОЛОСА

ТВОРЧЕСТВО – ЭТО ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Сия заповедь была наклеена на одном из домов города Иерусалима.

– Что вы говорите, разве творчество – это любовь к жизни?!

– О нет, вы не так поняли. Это наша жизнь, по сути, одна нелюбовь к ней самой.

– По сути, вы правы, но вот ведь написано, значит, это так и есть?!

– А кто выступает на вечере, вы не знаете?

– Да там ведь все написано.

– Да я вижу, но неясно.

– Вот вы, сколько лет живете в Израиле?

– Да какое это имеет значение?

– Да такое, тут все надо предвидеть.

Речь начинал некто из великих мира сего. Он выглядел, как это водится, довольно солидно.

– Господа, я давно тружусь в данной стране и люблю ее как никто другой из вас, репатриантов...

В зале раздались аплодисменты.

– Я, вы это знаете, ненавижу антисемитов!.. Я вообще никого ненавижу в этой стране, кто плохо относится к евреям!

Снова раздались гулкие аплодисменты.

– Вы, как понимаете, не очень-то знаете, как я не люблю тех, кто плохо относится к моим речам. И я бы даже вовсе бы изничтожил тех, кто плохо говорит о евреях.

Сидящие в зале евреи переглянулись, как будто спрашивая себя, кто не любит евреев среди самих евреев...

Но выступающий был в азарте, он говорил так, будто для того, чтобы подтачивать любовь евреев к евреям. Так ли это, сам Бог нас разберет.

ВИНОВАТА ЛИ Я

Вот и стало называться то же, что и было, но другими словами. Но все остальное так и осталось в жизни. Власть – разве что эта осталась таким же словом. Слова сменили саму жизнь. И вот поэтому сегодня стало ясным, что не надо много слов. И вовсе не нужны никакие новые названия власти, а нужна только более достойная жизнь.

Все, что происходит сегодня в Израиле, сосредоточено на одних лишь новых словах. Израильские жители зовутся израильтяне! Абсорбция, абсорбирующихся, абсорбщиков! Вот сколько их, неясных и непонятно зачем придуманных кем-то слов!..

Но, кроме слова абсорбция, есть и другие слова: мерказ клита, амута... Да и ещё самое главное – алия!..

То ли я, то ли не я, неясно, что это за слово?!

Но виновата ли я?!

И видимо, настоящая-то суть всех слов относится только где-то в другом полушарии!

И надо напрячь головную коробку, чтобы понять те слова, иначе вы не поймете, что это за слова-паразиты. Слова-паразиты бывают по смыслу правильные, но по факту самих их (существования), не всегда. И существуют они, увы, не так уж и «плохо»!..

И те слова-паразиты давно себе счета в банках имеют и за счет самих тех слов-паразитов делают себе имя.

И уж чего греха таить, надо только подмечать тех вот говорящих.

КОНЦЕРТ

Оратория «В том ли наша вера?». Билеты действительны. В перерыве буфет работает. Во время исполнения главной партии всем молчать. Исполнители, хор и оркестр должны тоже прислушаться. Внимание: У тех, у кого нет пригласительных билетов, будут оштрафованы прямо в зале. В главной партии соблюдать тишину. За неимением лучшего, мы имеем худшее. Песня «Ай да вы хорошие». Исполняется впервые. Спасибо за внимание!

Аплодисментов не будет. Поэтому всем быть предупредительными к исполнителям главных партий. За ними идут в следующем порядке: бас, соловей, разбойник и другие исполнители.

В перерыве – буфет! Все изменения будут объявлены дополнительно! Особое внимание! У кого есть при себе удостоверение личности, выходить по одному для проверки! Будут выдавать жильё. Заранее благодарим тех, кто участвовал в этом концерте. Мы, я, он, она не должны отдать Голаны! При желании написать своё сочинение на тему «Выборы». Матерные и другие слова не присылать! Итальянские евреи запевают последние! В фойе продажа литературных новинок!!!!!!

Семен Суханский

ПОНИМАЯ ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ

* * *

В самом сердце Иерусалима,
В дворике уютном и зеленом,
В том, где мы сидели неделимо,
Глаз пытался обнаружить клены.

А вокруг ботаника Эдема.
Эти виды не замай руками.
Небеса разглядывают немо
Теплый иерусалимский камень

Только прикоснусь к нему и сразу
Времени почувствую стремнину.
На иврите выслушаю фразу,
Понимая только половину.

* * *

Ф. К.

Серпантин, доломитов гряда,
Горы в трещинах и шоколаде.
Справа – Мертвого моря вода,
Слева – скалы и спящие вadi.

Там в горах – Вечный город и Вы
В скорлупе из картона парите,
И меня, упрекая, корите,
Я согласно киваю. Увы...

* * *

Вот я снова прошу, ты, Велик и Един,
Ниспосли мне двенадцать апрелей,
Чтобы больше дождей, чтобы меньше седин,
Чтобы мы и молились, и пели.

Мы рабами там были, откуда пришли,
Было, злые обиды терпели.
Мы, как дождик на землю, по трапу сошли,
Не умея молиться, запели.

* * *

Здесь три тысячелетия назад
Гива пестрела – вотчина Саула.
И шли войска, не нарушая лад
ни песен, ни молитвенного гула.

Ну, а каких-то сорок лет назад
Король Хусейн дворец хотел отстроить.
С тысячелетним эхом трудно спорить –
И это дело не пошло на лад.

* * *

А кто жену сestroю называл?
Кто в свадебную ночь входил к другой,
А после ждал любимую годами?
Кто брата продавал ишмаэлитам?

Но какова расплата за такое
Начало, с позволения сказать?..

* * *

Большие, красные цветы
И красных-красных ягод бусы.
В лесных болотах сплошь следы
Проворных лис и соек грузных.
Пришла пора вас отпустить,
Отстать, не вспоминать, что толку -
Осину ржавую и елку,
И бересту пора забыть.
И подберезовик и грузди,
И ручейков весенних устья
С песчаным дном. Прости, прости,
Мне этого не унести.

ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ

...А улочки, как бубны тьмы веков.
Здесь слышен стон ушедших голосов,
Он вправду вечен и очеловечен,
Известняковых глыб библейский зов.

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

Арнольд Каштанов

ГРУППОВОЙ АВТОПОРТРЕТ

С ОТПРЕЗАННЫМИ УХОМ

Статья, предложенная А. Каштановым, поставила нас перед выбором: либо печатать ее полностью, включая заметки о стихах членов редколлегии, либо отказаться от публикации. Мы, не без сомнений, колебаний, острых дискуссий и проволок, выбрали первое, хорошо отдавая себе отчет в том, что это может быть воспринято, как авторецензирование.

Однако в такой маленькой стране, как наша, пространство для публикаций ограничено и, если по разным конъюнктурным причинам сужать его еще больше, никакой серьезный разговор о литературе невозможен. Статья Каштанова представляется нам началом такого разговора. Мы предполагаем продолжить его в следующих номерах. Стоит ли напоминать о том, что мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора?

Все-таки – напомним.

Редколлегия

Поэты не создают автопортретов. Казалось бы, они, которые все силы души тратят на то, чтобы поведать нам о себе, должны выразить себя полнее, чем кто-либо иной, однако этого не происходит. Пусть Языков воспекает вино, а Гейне предстает неуязвимым в своем ироничном отношении к немцам, – из дневников, писем, воспоминаний и биографических исследований мы знаем, что Языков не пил вообще, Гейне был раним и страдал, а лирический герой Блока совсем не похож на своего создателя. Бунтарь часто оказывается в жизни скромным обывателем, а певец тоски – жизнелюбом.

Прозаик просто не может скрыть своих человеческих качеств, какой бы личиной он ни прикрывался. Таков жанр. Критик Корней Чуковский отметил обилие перечислений в прозе Всеволода Гаршина, потребность наводить во всем порядок. А это было симптомом психической болезни писателя. Даже железобетонная советская проза, изготовляемая по трафаретам, всегда выявляла лицо автора, его национальность, социальное происхождение, рефлексивность, деликатность или хамство, глупость или ум, ханжество или повышенную совестливость.

Ладно, писателям сам бог велел, но и журналисты сплошь и

рядом выражают себя больше, чем поэты. Даже если они пишут об экономике.

Это иногда смущает поэтов, и они начинают доигрывать в жизни образ своего лирического героя. Тот, кто в стихах хулиган и пьяница, начинает дебоширить в ресторанах.

Это недоразумение.

Поэт и не должен себя выражать. Не для того он рожден. Он может оставить нам о себе памятник нерукотворный, но не портрет. Может быть, он создает портрет общества? Портрет своего времени? Много ли мы можем сказать об обществе и времени по псалмам Давида, сонетам Шекспира, поэмам Заболоцкого?

Тем не менее, чувство сопричастности иногда говорит нам, что поэт каким-то образом выразил нас. Мы узнаем себя в поэте. Но ведь если нет портрета, не может быть и сходства с ним. Значит, кроме ментальности и психологии есть еще что-то, портрет в какой-то другой сфере, где мы существуем, сами того не зная.

Имеет смысл попытаться увидеть этот портрет.

Мои заметки ни в какой мере не являются обзором современной русской поэзии Израиля. Я не настолько хорошо ее знаю, чтобы браться за такую задачу. Выбор имен субъективен. Тем не менее, я полагаю, он отражает нечто, реально существующее. Во всяком случае, опустить какое-нибудь имя значило бы исказить общую картину. Как увидит читатель, я шел за текстами, стараясь не столько оценивать, сколько отбирать выразительное. У меня не было никакой предвзятой концепции. Если получившуюся картину в самом деле можно назвать автопортретом, то это наш автопортрет.

1. Чувство.

"Нет, совсем не в раю мы полжизни прожили... А теперь в том краю мы с тобою чужие. ...Но и в новом доме, среди спящего зноя, не нужны никому мы, дружок, с тобою. Хоть земля велика и открыта любому – нет на ней уголка, где бы мы были дома", – подводит Лорина Дымова итог своему странствию.

При этом у поэта нет чувства совершенной ошибки.

Лорина Дымова умеет точно передавать чувство. Ей можно довериться в этом. Давайте и мы будем следить не за мыслью, не за смыслом, а за чувством.

Тому, кто чужак всюду, по известному анекдоту, хорошо в дороге. И у Дымовой:

До чего же прямая на этом участке дорога!

Наконец, нам никто не мешает, никто не толкается...

Тема дороги возникает постоянно, иногда в самых неожиданных местах, и она вовсе не обязательно связана с переселением из России в Израиль и совсем не связана с Агасфером и охотой к перемене мест. Это не кочевье, а нечто совсем другое.

"С той поры я лечу от тебя в поездах, электричках, на север, на запад, к востоку и к югу – но не в силах сбжать от тебя, от себя, и сойти с сумасшедшего круга".

"Я иду под нереальной тяжелой луною".

"Я шла, безумная и смелая, – судьба крутила колесо".

"И ты уйдешь себе бродить, уйдешь бродить по белу свету".

"Что за странный путь начерчен на руке твоей?"

"Куда ты едешь, милый мой, куда?"

"Погощу – и в путь пора: до свиданья, милые!"

Я невольно слежу за глаголами. Беды, усталость, старость, друзья, любимый, времена года, забвение – все приходит, уходит, является из бездны, бродит, то с посохом, то с котомкой. Мне кажется, Лорина Дымова не отдает себе отчета в том, как густо рассыпаны в ее стихах глаголы и приметы дороги. Она наивно пишет, что это у других *"охота всласть постранствовать по свету"* (вспомним, что тема дороги – это романтика бардов шестидесятых, полная противоположность чувству Дымовой), а ей самой это не нужно, *"я просто жить хочу и чтоб меня любили"*.

Словно бы против ее воли в интимную лирику входит железно-дорожная терминология:

*Новое небо, иные друзья,
странные травы...
Что приключилось, радость моя?
– Смена состава.*

Как вся цивилизация в фантастических романах умещается на каком-нибудь межзвездном корабле, так мы в мире Лорины Дымовой живем на транспортной остановке. Приведу одно стихотворение почти полностью:

*– Вы тоже на двадцать пятый?
– Нет, я на сороковой.
– Он тоже опаздывает?
– Да. Ужасное невезенье.
– А что?
– Если я не успею... Он улетит в воскресенье...
И она покачала горестно головой.
– А вы?
– И у меня не легче...
Пропал – ни письма, ни звонка.
Решила узнать...
– Простите, мой поезд!..
– Как жаль! Ну, желаю вам...
– До свидания...*

Чувства переменчивы и капризны. Поэтому и у Дымовой все зыбко и переменчиво. Сегодня: *"Признаемся, что жизнь не удалась"*, а завтра: *"Ничего не удастся, судьба, тебе сделать со мною"*. В одном месте: *"Не слушайте, когда вам говорят, что только юность нам дана как праздник"*. А в другом: *"– Милый мой, чего ты хочешь? Что за мысль тебя гнетет? – Понимаешь, дело к ночи, дело к старости идет... – Ты б хотел расправить плечи? Снова юным ты бы стал? – Нет, об этом даже речи быть не может... Я устал"*. В одном стихотворении: *"Вот бы жить на свете вечно!"* В другом: *"Как все же хорошо, что жизнь конечна"*.

Тоненькая книга стихов "Колыбельная перед разлукой" рассказывает о настоящем и прошлом. Во многих стихах – русский пейзаж, молодые годы. И возникает впечатление, словно в начале пути цыганка нагадала дальнюю дорогу, и вот свершился вроде бы немотивированный и бессмысленный поступок: побег!

Что взять с цыганки. По ее словарю – дорога. Дымовой и мерещилась дорога. Но куда приведет дорога человека, который всюду обречен быть чужим? И однажды Дымова поняла: это побег (название раздела в книге стихов).

Не нужно понимать это слово в таможенно-ОВИРовском смысле. Оно – чувство, судьба. Каждый поступок – побег:

*Ах, как я тебя обманула!
Как план оказался хорош!
В любой поверни переулочек –
нигде ты меня не найдешь.*

Дымова не ставит даты под стихами, а Борис Камянов ставит. Он написал в 71-м году задолго до отъезда:

*...И совершить нетрудный шаг:
Как ни ищите – не найдете!..*

Что это? Случайное совпадение?

Дымова обречена на такую судьбу, не хочет ее. Располагаясь на новом месте, где "среди безумных акаций светлячки и цикады", она боится, что и отсюда убежит, удерживает себя, уговаривает "не коситься на полку, где лежат чемоданы. Опасаться простуды, слушать ветер тревожно, твердо зная: отсюда убежать невозможно".

Почему отсюда нельзя убежать? На это Дымова не дает ответа.

*... Душа, когда ничья,
так страшно уязвима.*

*И каждый чувствует мой взгляд
собаки беспризорной.*

Ей нужен призор, привязь, привязанность к человеку или месту. Нельзя убежать, пока есть надежда на это.

2. Образ.

Что происходит, к примеру, в стихотворении Елены Аксельрод "Там на столе горой тетрадки"? Героиня, возвращаясь домой, подойдя к дверям своей квартиры, обнаруживает, что потеряла ключи от нее.

*...Но зря в бездонной сумке роюсь –
Кефир, очешник, кошелек.
Сию я, к двери прижимаясь.
Лифтер, храпя, подъезд хранит.
А там, внутри, не унимаясь,
Мой телефон по мне звонит.*

Такая малость, а возникает чудо: телефон звонит и по мне. При этом важно все – и лифтер, и тетрадки за дверью, и содержимое

сумки, в которой для футляра очков найдено хорошее русское слово. Без этого звонок не прозвонит.

Из чувства рождается образ.

Поэт не трансформирует реальность, внося в "неодушевленное" нечто чужеродное ему, то есть "духовность". Образ и реальность изначально нераздельны, одно является другим, существует только образ, как существует только эйдос в философии Платона. Аксельрод мыслит и видит только в образной системе.

"Как собака сторожевая, Конуру свою обживаю. Я дожевываю, доживаю День, обглоданный, точно кость. Цепь тяну все куда-то вкось".

В едином и цельном образном мире на равных правах обитают все образы, в том числе библейские и евангельские:

"Я не была ни с этими, ни с теми. Я за покоем ехала сюда. Но в Иордане вздыблена вода, И призраки рожденных в Вифлееме". Даже школьный "Образ Печорина в романе Лермонтова" становится живым человеком: *"Больше не опасен мне Печорин – нынче он бы мог мне внуком быть".*

Когда я читаю: *"Семь лет на исходе почти. Кровь почти поменялась"*, я не могу отделить образное представление от рационального, научного, анатомо-физиологического. "На исходе" – это и физическое, реальное время и Судьба, Завет, Исход.

Из образных представлений возникает представление о себе. В мире, где существуют лишь образы, и мы со всеми нашими чувствами и движениями обретаем существование как образы.

"Уровень жизни – уровень смерти. Кажется, я добралась до таможни. Я безоружна, нате-проверьте! Что вы трясете баул мой порожний? Уровень жизни перескочила. Уровень смерти поманит – обманет. Так уже было: я фары включила и от погони скрылась в тумане".

"Полоумная старуха, побирушка на вокзале, не вино, а бормотуха в замутившемся бокале. Бормочу свои хорей, бормотухой заливаю, что славяне, что евреи – я тихонечко, я с краю".

Сравните, к примеру, с Борисом Камяновым: *"Я – чужих детей ласкатель. Я – чужих поклонник жен. О самом себе писатель. Вечный перщик на рожон."* Это рациональное формулирование, мужское логическое мышление. Формула может быть верной или неверной, гениальной или банальной. Образ, взятый сам по себе, не может быть неверным. Он – данность, реальность.

*С пути, с причастности и с толку сбита,
Куда теперь, седая Суламита...*

Образ проверяется нашим чувством сопричастности. Побирушка, бормотуха, безоружный путник на таможенном досмотре, человек, который не может ответить на некий, может быть, судьбоносный, сигнал телефонного звонка, – если мы понимаем эти стихи, *"не спрашивай, по ком"* – они про нас.

3. Идея.

То, что у Дымовой – импульсивный побег, а у Аксельрод – судьба, у Сары Погреб – сознательный акт, воля и свидетельство прочности:

*Я отвалила родимую глыбу
И получила право на выбор.
Выбрала небо синего цвета.
Длинное лето.*

Нерусское лето.

У Дымовой – вопросы ("...Куда нас занесло? И что мы здесь забыли?"), у Сары Погреб – ответы:

Гида не надо. Сама понемногу.

*Нет здесь черемухи. Нет и жасмина.
Вспыхнувшим порохом
пахнут хамсины.*

В Палестине есть жасмин, хоть иной, чем европейская, разновидности, а хамсин не пахнет порохом. Для Сары Погреб он пахнет. Это **сделанный** поэтический образ.

Он обеспечен всей прожитой жизнью.

На фронт уходят Миша с Левой...

*Губами мы к губам прижались,
Прощальным взглядом обменялись
Да карточками поменялись...
А встречи не было. Война.*

*Ведь я была у них одна на свете,
Соседи помогли б, да не могли,
И вот они в голодном тридцатом третьем
В одесской богадельне отошли.*

*Ни легких черт, ни светлого лица,
Ни белозубой маминой улыбки
Мне не досталось. Я лежала в зыбке.
Отец мой умер. Я пошла в отца".*

Существует предрассудок: художник не дает ответов, он обязан быть спонтанным, и Верлен в переводе Пастернака указывает поэту: "Пусть он выболтает сдуру все, что впотях, чудотворя, наворожит ему заря. Все прочее – литература"¹.

Но спонтанности не бывает. И Лорина Дымова не спонтанна, иначе она не была бы поэтом. В интеллигентном молодежном журнале "Солнечное сплетение" есть "поэма" Пети Птаха под названием "Поэма". Каждая фраза начинается словами: "Мне захо-

¹ Все цитаты в этих заметках, кроме исследуемых стихов, приводятся по памяти, и возможны ошибки в знаках препинания. Поскольку исследование не является научным, мне представляется, с этим недостатком можно скрепя сердце примириться, если помнить о нем.

телось записать..." Фразы друг с другом не связаны. К примеру: *"Мне захотелось записать большими черными буквами: хочется какать и онанировать"*. Так ведь и это не спонтанно. Спонтанно – какать, а не писать об этом. Да и то лишь у грудных детей.

Только осознанность помогает Саре Погреб сохранить достоинство и совесть, только она может совместить светлую память с этим:

Но "Жаль, вас немец не добил!" А вроде верят в Бога.

С ушанки красная звезда – со свастики вдвоем.

И снова у меня в мозгу пылает синагога.

Юзефполь... Дядя мой Исрул горел тогда живьем.

Когда нужно решить, прощать или не прощать, поэт делает это сознательно. Вопрос слишком серьезен, чтобы довериться чувствам. Поэт не позволяет себе этого.

В чувствах нет обиды, злобы, есть лишь любовь, и Сара Погреб, оказавшись вне России, продолжает жить в ней, мечтает о ней:

Порой по шпалам бы пошла... Зажмурившись – прощала.

Рябиною и бузиной не сад зарос, а стих.

Что же противостоит этому чувству?

Осознанность. Существование в иной, вневещной, но очень эмоциональной, энергетически заряженной реальности: в юности Погреб прочно поселилась в стране книг, которая стала для нее *"окрестность души суверенной"*. Она благодарит судьбу за то, что в ее жизни были Пастернак и Цветаева. Теперь, когда вышли книги собственных стихов, оказалось, что кумиры молодости были кровными родственниками.

...Привитые в отрочестве строки

целебно циркулируют в крови.

В стихах постоянно присутствуют то Цветаева, то Пастернак – не строчками и влиянием, а именами, как естественно поступать с членами семьи.

Осознанность – это идея. Каким бы путем ни пришла к своему выводу Сара Погреб, как бы сама к этому ни относилась, она, принимая осознанные волевые решения, не может не быть идеологичной:

Собирайся, народ мой, – ты тоже великий – с вещами.

Есть земля для труда, и любви, и еврейской печали...

Я просыпаюсь поутру впервые в жизни дома.

И не вдали, а здесь умру. Мне с этим повезло.

О том же в конце семидесятых – начале 80-х годов писал Борис Камянов:

Вот ты и дома. Не спеши,

Следи, как в глубине души

Растет прорезавшийся трепет.

Прольются слезы, как стихи:

Господь простил тебе грехи

И вновь тебя из праха лепит.

К стене ты приложишь щекой

И слушай, как журчит покой,

*К сухой душе пробив дорогу.
Ты вновь – у вечного ручья,
Ты вновь – в начале бытия,
Ты снова дома, слава Богу.*

Сегодня это называется ангажированностью. Такие это были годы. "Прольются слезы, как стихи" представляется мне многозначительной обмолвкой: они прольются в результате некоторого интеллектуально-волевого усилия. Собственно, это призыв к медитации. Когда-то Чехов возмутился концом романа "Воскресение": вел, вел (Лев Толстой – А.К.), да и свел все к нескольким строкам из Евангелия. По Чехову, автор романа, даже если он Лев Толстой и роман – "Воскресение", не имеет права так поступать, в его распоряжении лишь собственный материал. Почему же поэту достаточно простой отсылки к Стене Плача?

Потому что истинность **идеи** не подлежит сомнению, нужна лишь смелость, чтобы высказать очевидное и поступить по совести. Противостоит идее не другая идея, а безыдейность. Время противостояния низкой безыдейной лжи требовало не интеллектуального поиска, а характера.

Говорить о русской поэзии Израиля тех лет надо отдельно. Не случайно совсем недавно именно Солженицын, призвавший жить не по лжи, назвал одним из лучших русских поэтов наших дней Лию Владимирову. В журнале "Грани" была тогда напечатана ее поэтическая повесть "Страх", сильнейшее мое читательское впечатление в Израиле. Мы в России и не знали, что строчки "Под небом голубым есть город золотой" написаны русским израильским поэтом Анри Волохонским и посвящены Иерусалиму. Большинство авторов сегодняшнему читателю неизвестны. Эти заметки, как я надеюсь, лишь начало разговора. Кто-то же должен был его начать. Поэзия тех лет еще ждет своего исследователя.

В рамках этих заметок ангажированность, идеологичность и определенность – почти синонимы. У авторов семидесятых-восьмидесятых годов нет "взгляда собаки беспризорной". Потребность в привязанности, привязи, как ни назови, – в **надличном** они удовлетворили – каждый по своему – в **идее**.

4. "Постидеологическая эпоха"

Между Сарой Погреб и Борисом Камяновым, с одной стороны, и Петром Межурицким и Семеном Гринбергом, с другой, лежит пропасть. В нее рухнули прежние идеи, ориентиры, иллюзии, предметы для спора, разговоры о тоталитаризме, социализме, сионизме, русскости и еврействе, и вместе со всем этим – все мыслимые надежды на **общее надличное**.

Я намеренно поставил рядом Межурицкого и Гринберга – поэтов с такими разными, я бы сказал, противоположными поэтическими лицами, если бы это слово было употребимо в отношении лица. Их объединяет инстинктивное сопротивление какой-либо смысловой определенности и при этом – здоровое отвращение к бессмысленной зауми.

Межурицкий появился, когда никаких надежд уже не было. Такое впечатление, что он наслушался сетований унылых людей, признал их правоту, но так и не понял, почему обо всем этом надо говорить скучно.

Мир жесток? Межурицкий соглашается: "Мир до неприличия жесток".

Человек беспомощен? Межурицкий и с этим согласен: "Господь тактично и подспудно свои навязывает цели..."

Поговори с человеком, который так с тобой согласен. Невольно присоберешься внутренне, начиная подозревать, что ты зануда и идиот.

"В середине недели От всего, что болит, Умирал в самом деле Инженер Ипполит. Исчезая со света, он прилег на кровать – И так странно все это, Что и не передать".

"Поэты умирают рано – так трутной изгоняет рой, будь ты хоть дважды Лев Толстой В имени Ясная Поляна".

"За наши выходы-повадки Разбился ангел при посадке, Нас разлюбило Божество, и в довершение всего Израиль сделался Китаем – иначе мы не понимаем". Это стихотворение Межурицкого называется "Из библейских пророков". Названия у него так же талантливы, как стихи.

"Ах, до чего она противная Подчас реальность объективная – ведет себя, как баба пьяная, То есть практически немислимо, Нам в ощущениях наших данная И от сознания независима".

Межурицкий крепче нас всех усвоил, что ничего нового словами сказать нельзя, все уже сказано. Зачем же он не молчит?

"Пчелы жалят задом наперед, Постоянно действуют на нервы И вообще порядочные стервы, Хоть и героический народ. Видеть их нервический полет Все невыносимей с каждым годом – Чтоб я подавился этим медом, Что меня практически и ждет". Я привел полностью стихотворение, давшее название сборнику. Это его, Межурицкого, "не могу молчать".

Уместно вспомнить Ренату Муху, выпустившую недавно книгу своих стихов.

"Один Осьминог подошел к Осьминогу и в знак уваженья пожал ему ногу".

"Вчера Крокодил улыбнулся так злобно, что мне до сих пор за него неудобно".

Пожалуй, есть правда в том, что и Рената Муха, и Петр Межурицкий игривы. Но она хочет играть, а он хочет высказаться. У него есть некое сообщение.

Какое же может быть сообщение, когда все уже сказано?

Только одно: о Межурицком. У него даже, словно в насмешку над всем выше- и нижесказанным в этих заметках, есть стихотворение "Самоидентификация". Я привел бы его здесь, если бы не размеры. Впрочем, нового к тому, что я уже процитировал, оно не добавляет.

Легко диагностировать – "ирония". Кто сегодня не ироничен? Даже тезка Межурицкого... Впрочем, простите, не тезка, он не Петр, а Петя Птах, автор поэмы "Поэма", – и тот ироничен. Диагноз

этот точен настолько, насколько был бы точен диагноз терапевта: "Внутренняя болезнь".

"— Не мучайся, Тит, и на вещи гляди веселее: представь себе Рим, что в распятого верит еврея! — Распятый еврей? Нет, глупей не придумаешь даже: хорош будет Бог, пусть Им персов Юпитер накажет!" Называется это "Иудейские войны". Это слишком глубоко для иронии и самоиронии. То же можно сказать о большинстве стихов.

Впрочем, поискать всегда можно, и кто ищет, тот найдет. Я нашел насквозь ироничное стихотворение. Начинается оно:

*Во сне, в бреду и наяву
Я очень не люблю Москву
И даже сам за что не знаю —
Наверное, я русофоб...*

Кончается стихотворение джентльменским предложением Москве возразиться:

*За наш раздельный упокой
Молись, не слишком попрекая
Себя за наши рандеву
Во сне, в бреду и наяву.*

Это — "сионизм" по Межурицкому. Ирония тут узнается по формальным признакам, не иначе, поскольку объекта нет. Не брошено ни явного, ни скрытого упрека Москве. Значит, самоирония? Но и ее нет. Если жало иронии жалит самого шутника, это еще не самоирония. Это просто уязвимая позиция.

Поэт не высмеял русофобию и антисемитизм, сионизм и русофилию. Высмеивание — это определенная позиция. А он избегает определенности, как черт ладана. Но ведь это само по себе уже — вполне определенная позиция (приходится почти повторить тургеневского Рудина).

Пытаясь найти смысл этого, я сопоставил два текста. Первый — верлибр, озаглавленный "О ментальности":

*"Пока гром не грянет,
Мужик не перекрестится",
Иначе у евреев:
Пока гром не грянет,
Еврей может даже креститься.*

Строй мысли здесь совершенно "губермановский". Технология сотворения "гариков" доступна, и из верлибра можно с грехом пополам сотворить "гарик".

Сравните "губерманизм" Межурицкого с самим Межурицким. Хотя бы, к примеру, со стихотворением, в котором правоверный еврей ходит среди живых апостолов (Межурицкий верен себе и, "сотворяя историческую достоверность", смещает все, что можно сместить, так что Иисус еще жив, а собор Святого Петра уже стоит), так вот, ходит осторожный иудей, посматривает, прислушивается к проповедующим, взвешивает за и *против*, размышляет над услышанным: бог их знает, может, и правы...

*Пусть начнут друг друга люди
 Пуще прежнего любить –
 Хуже, может быть, не будет,
 Даже лучше может быть.
 Только что гадать, ей-Богу,
 Как нам жить наоборот –
 Возвращайтесь в синагогу,
 Не нервируйте народ.*

В первом случае – словесная формула, во втором – настроение, песенность и живой персонаж, полноценный художественный образ, то есть поэзия. И лишь потом – формула.

Из этого, разумеется, не следует, что Губерман не поэт, но также не следует, что любовь публики к Губерману означает ее любовь к поэзии. Губерман не случайно разошелся на пословицы, в известном смысле стал безымянным, как создатели "Одиссеи". Он дает публике словесные формулы. Он может выступать на эстраде в одном концерте с авторами шлягеров. От тех публика требует чувств, от Губермана – формул.

За образами – к песенникам, за формулами – к поэтам.

Но ведь... публика обращается не по адресу. Поэзия жива не формулами.

Губерман поэт, а не, скажем, автор реприз, потому что он сумел создать образ автора "гариков". Этот эпикуреец с точки зрения здравого смысла показывает, как мало смысла вокруг.

*Жить беззаботно и оплошно –
 как раз и значит жить роскошно.*

*Вел себя придурком я везде,
 но за мной фортуна поспевала,
 вилами писал я на воде,
 и вода немедля застывала.*

Такой строй мыслей уже немыслим для сегодняшнего молодого поэта. В эпоху доступных, морально легализированных наркотиков немыслимо "эпикурейство", понимаемое традиционно по Рабле или Пушкину, не абсолютен здравый смысл как таковой. Поэтому "губерманизм" у Межурицкого случаен. Поэт обречен на бегство от формул, как Лорина Дымова обречена на свой побег. Он становится "беспризорным" в пространстве смысла.

Семен Гринберг решительно выходит за пределы этого пространства. Самыми простыми словами он создает совершенно понятный текст, и все понятное в жизни перестает быть понятным. На наших глазах рождается тайна. Сразу же скажу, что эту тайну я до конца не разгадал.

*Когда почти случился Новый год,
 И вместо елки россы нарядили
 Большую ветку северных пород,
 Тогда сказала некая жена,
 Из тех, что покупали и варили:
 – Здесь звезды синие и синяя луна.*

*Ее слова, понятно, рассмешили,
И все пошли наружу, где темно,
И лучше видно, как автомобили
Перед собой толкали светлое пятно.
И правда, синий лунный островок
Светил из глубины необычайно слабо,
Но все же освещал значительный кусок
Холма с усадьбой местного араба.*

Автор наделен редким изобразительным даром. Обратите внимание – в стихотворении нет ни одного эпитета, поэтического образа, метафоры, сравнения. Я насчитал только шесть прилагательных.

Саре Погреб необходима осознанность, чтобы определить свое отношение к России. Такая постановка вопроса для Гринберга как для поэта бессмысленна. Не станет он этим заниматься.

Чем же он занят?

Каждый художник решает какую-нибудь свою задачу. Помните, импрессионисты попытались увидеть мир глазами ребенка, не знающего, что крона дерева состоит из листьев. Гринберг словно бы проверяет, что получится, если отказаться от всех смысловых предвзятостей и всех поэтических приемов, кроме ритма и рифмы.

В отличие от живописца, поэт не может увидеть мир глазами ребенка. Он, начитанный, образованный человек, должен увидеть мир **своими** глазами.

*...И в этом самом царстве без луча,
Жила-была одна аристократка.
Она потом сгорела без остатка,
Хотя написано – погасла, как свеча.
Но нету разницы, когда вблизи колес
Все так податливо, и кости слишком хрупки,
И "быть или не быть" – любительский вопрос,
И свойственное ей движение походки
Дошло до полной гибели всерьез.*

В девяти строчках скрыты цитаты из русской сказки, Добролюбова, Мандельштама ("Аристократка и богачка..."), Шекспира, дважды, если не больше, – Пастернака, Грибоедова ("...все так прилажено, и тальи все так узки"), все это по поводу романа Толстого и с цитированием его строк ("Свеча ее жизни..."), и еще какое-то "движение походки", которое, признаюсь, попросту не знаю, откуда взялось, – и при всем том это стихотворение остается таким же гринберговским, как любая его уличная иерусалимская зарисовка. Толстой что-то сентиментальное про свечу написал, Шекспир не покончил с собой, Пастернак гибелью пококетничал, а Каренина, в чем Гринберг никогда не усомнится, одна среди них всех – живой человек с подлинной бедой.

Как это понимать? И можно ли в это не поверить?

В это ни в коем случае не надо верить. Если у нас возникла иллюзия какого-то определенного смысла (вложить его в стихотворение нам никто не запрещает), это получилось случайно. Гринберг только усмехнется. Не о том речь. Тут тайна.

Мне кажется, начиная стихотворение, Гринберг едва ли знает, что он, собственно, хочет сказать. Так современный художник, покрывая мазками полотно, в середине работы может изменить первоначальный замысел и еще не видит будущей картины.

*...Фамилию свою он не любил,
По-видимому. Сделавши работу,
То есть, когда считал, что завершил,
Внизу рисунка ставил букву "юд".
Считают, он завидовал пилотам,
Которые летят, а в ожидании полетов пьют.
Но сам летать не мог,
И подпись на листе
Казалась точкой, и никем не замечалась,
Верней, она мерещилась везде,
И оставалось
Смотреть вокруг,
Как поступал один писатель, будучи в Сморгони,
Где ходят на лугах все больше женщины и кони.*

В результате получились четыре тоненьких книги стихов, где подпись автора "мерещилась везде". Он так ненавидит банальное, что это может стать его недостатком. Предупреждал же Горький молодых: не бойтесь банальностей. Трудность в том, что не меньше, чем банальное, Гринберг ненавидит приблизительное, необеспеченное слово, вычурность, выпренность, вставание на цыпочки, форсирование голоса, миссионерство, проповедование, пафос, симуляцию чувства, подделку, любую фальшь. Он то и дело обрывает себя на полуслове, недоговаривает, глотает слова.

"На лавке близнецы считали до десяти. Один из них все время ошибался. Солдат сидел напротив и смеялся, Не в силах глаз от мамы отвести. Она ему показывала пальцем На эфиопов с головами травести. И я прислушивался и пытался Часы назад на час перевести. И перевел, но день не удлинил. По улице неспешно уходил Знакомый лапсердак. И я пошел по Яффо, И шел за ним почти до банка "Леуми", Когда последний раз его мелькнула шляпа Меж вразнобой одетыми людьми".

В стихотворении (я привел его полностью и прошу корректора не исправлять слово "десяти") то и дело намеренно сбивается ритм, взгляд намеренно рассеян, автор словно задался целью искать неинформативное, ничего не выражающее. Настроение? Но ведь заранее известно (из опыта прозы, хотя бы), что такая стилистика создает элегическое настроение. Одно неотвратимо вытекает из другого.

Конечно, тайная магия этих стихов, как улыбка Моны Лизы, которая всегда растворена в строчках Гринберга, остается вне пределов моих рассуждений, но она и не отменяет их. Как и у Межурицкого, бегство от определенности оказывается все тем же побегом Лорины Дымовой.

"Постидеологичность" не означает безыдейность. Как граждане демократического государства, Гринберг и Межурицкий, наверное, участвуют в выборах, имеют какие-то политические убежде-

ния, могут быть сионистами, антисионистами, либералами, коммунистами и пр. В рамках моих заметок это не имеет никакого значения. Стихи показывают, что любая идея не может являться для этих поэтов тем, чем была для их предшественников, — **надличным**.

5. Румяная фефела.

Всегда, когда исчезают надличные идеи, люди обращаются к безусловным радостям плоти и начинают абсолютизировать их. "Проклятые вопросы, как дым от папиросы, развеялись вполне. Пришла проблема пола, румяная фефела, и ржет навеселе", — писал Саша Черный.

И вот в Израиле в магазины русской книги забредают редкие покупатели:

- У вас есть "Встань раком"?
- Может быть, "Стань раком"? Нет.
- А "Предисловие к оргазму"?
- Может быть, "Послесловие к оргазму"?

Тоже нет. Книжные магазины стихов не берут. Поэт, как правило, продает свои книги на встречах с читателями. Для этого у него должно быть хоть какое-то имя. Некоторые имена возникли оттого, что автор был, скажем, другом Иосифа Бродского или является автором текстов Иосифа Кобзона.

"Дева с птицей морскою послала братьям письмо. Братья, дайте мне имя — оно долетит само", — написала Анна Горенко в журнале "Солнечное сплетение".

Анны Горенко уже нет. Имя ее еще не долетело. Мне приходится оговорить, что я процитировал не Анну Ахматову (Горенко), а нашу талантливую современницу, прожившую очень мало.

Как же может заявить о себе молодой поэт? Что он должен сделать, чтобы его книгу раскрыли?

На обложке сборника Риты Бальминой "Стань раком" — автопортрет рыжей обнаженной поэтессы в объятиях красного рака.

Если Бальмина рассчитывала на скандал, она ошиблась. Поэтическое описание оргазма я впервые услышал не от нее, а в 1989 году в Вашингтоне, в библиотеке Конгресса, где перед притихшим почти пустым залом их читала обладательница многих литературных премий США Шарон Олдс. Для нас, русских писателей, это было в новинку. Зал дремал.

Автопортреты художниц с нагим телом тоже не новы. В начале века Зинаида Серебрякова вызвала этим бурю негодования. Она стала прообразом героини Лиона Фейхтвангера. В романе "Успех" он изобразил обывательские страсти по этому поводу как предвестие фашизма. Кстати, не мешало бы помнить об этом нравственным сторожам Бальминой.

Сегодня почти никто не обращает внимания на такие жесты. Думаю, не обратили бы внимания даже на автопортрет с отрезанным ухом.

Название и голая женщина на обложке не вызвали скандала, но, все же, заставили читателей раскрыть книгу Бальминой. Некоторые критики тут же полезли в книгу, как под юбку, выискивая

подходящие строчки. Они есть. Но зачем же в скважину замочную подглядывать. Книгу следует читать с начала, с первого ее стихотворения, программного:

*Стань раком, свистни метастазам!
В антракте рыбьего вокала
Любовь саркомой протекала
И саркастическим экстазом
Дождя, отмывшего четверг
До чистоты того искусства,
С которым рак зимует вкусный...*

Приведенная цитата лишний раз доказывает, что поэзия – самый лаконичный способ словесного сообщения. Попробуйте прозой или научным стилем выразить все, что есть в приведенных строчках, где и "саркома-сарказм", и смертельность любовной болезни, и нетерпеливое призывание этого рака и его метастаз, одной из которых может стать поэтическое творчество, и "рак на горе свистнет", и "после дождика в четверг", и любовь как единственный выход из немоты "рыбьего вокала"...

Бальминой важно совместить в стихах филигранного поэта и женщину, которая "ловится в силки физиологии". Декларировано честно и отчетливо. Без звфемизмов. Пророчество Марины Цветаевой: "Будут девками ваши дочери и поэтами – сыновья" – сбылось (сегодня уже не важно, кто дочь, а кто сын). И что же? Цветаевой мерещился вулкан страстей, лава ненависти, испепеляющая виноградники и "крыши с аистовым гнездом", а все, слава богу, кончилось вполне благополучно. Мир стал комфортнее, и поэзия умело пользуется этим благом. Она воспевает комфорт. При этом она может рядиться в какие угодно бунтарские фразы, представляться автору лавиной – стиль выдает скрытую суть. Там, где вместо чувства – наслаждение, неизбежно возникает холодноватая изысканность, поэтическая "порченность", тоже рак с метастазами, и не известно, какой рак страшнее, предложение стать раком теряет всю свою убедительность. Мне еще придется цитировать совсем другую Бальмину, но приходится говорить о холодноватых изысках, как о мотивации многих, может быть, как о каком-то поветрии:

*...Иерусалим – не город
это средство передвижения
смерти
перспектива
so, so -
как странно наше здешнее
существование
как изысканны
движения тела
я, знаешь, люблю элитарность...*
(Иозль Регев)

О любви к "элитарности" можно было бы и не упоминать – она и так видна. Я не могу цитировать молодых авторов "Солнечного

сплетения". Это требует обстоятельного разговора. Урезанные в цитатах, их тексты выглядят, как расчлененное тело.

Анну Горенко, не растерявшую живые чувства и веру в смысл, я процитировал. Ее публикация снабжена фотографией голой женщины с грудным ребенком. После автопортрета художницы такая фотография – закономерный следующий шаг. Скадрировано так, чтобы виден был треугольник волос внизу. Я не подглядываю – мне это навязывают.

Впрочем, стоит ли говорить об этом, когда в стихах известных, уже составивших имя поэтов пестрит от несокращенных обозначений мужских и женских половых органов. В России этого не делают, евреи и тут оказались более русскими, чем сами русские. Венедикт Ерофеев – случай особый, изначально непечатный, и честь его первой публикации не должна кружить головы. Мат не избавляет от ханжества, скорее, наоборот, поскольку в живом языке он стал сознательной игрой на понижение, девальвацией женского достоинства. Закрывать глаза на этот его смысл и означает быть ханжой. Игорь Губерман в своем эссе о Баркове назвал это музой свободы. Если так, Россия всегда была самой свободной страной мира, кроме островка русской интеллигенции, которая, как известно, была страшно далека от народа. Почему ж русские обходятся без нецензурщины? Нет генетической свободы? Или у них сильнее инстинкт родного языка, обязывающий к бережному с ним обращению?

Или у нас что-то с ухом?

Вот, словно бы в укор безнравственной героине Риты Бальминой, герой Бориса Камянова подвергся искушению и с честью вышел из этой ситуации:

*У чайной вдруг ко мне пристала шлюха,
Глядела слепо из-под красных век
И говорила:*

*– Золотко, кирюха,
Я вижу: ты – хороший человек!*

...

А я в ответ:

– Но я женат, красотка!..

Стихотворение "Шлюха" 1973 года я цитирую по книге "Исполнение пророчеств", переизданной в 1992 году тиражом 10 тысяч экземпляров. Героине стихотворения (в тексте то шлюха, то блядь, так что не совсем понятно, кто она, ясно только, что филосемитка по убеждениям) соблазнить поэта, как мы видели, не удастся.

*Вот так мы препирались возле чайной
В калейдоскопе нетверезых лиц.
Там наши души встретились случайно
И, в общем-то случайно, – разошлись.*

Все бы хорошо, да вот мелочи словоупотребления... Поэт обращается к этой женщине при знакомстве: "Дорогая крошка". Представляете такое обращение в толпе у российской чайной? Может, она его за иностранца приняла, ее на доллары потянуло и вся любовь, так что филосемитизм остается под вопросом? Тем более – "красотка",

как в одесских песенках про красотку Мэри и юнгу Билла. В этом придуманном литературном мире девушку можно не только "крошкой", но и "мисс" назвать. Тем более, что когда она, зазывая к себе, обещает "я на закуску огурцов **подам**", возникает подозрение, что и она иностранка, которая училась русскому у официантов "Интуриста".

Берусь показать, что в стихах Камянова это не случайность, а правило.

Вопиющим примером глухоты является для меня вполне пуританская по языку статья Михаила Эпштейна в одном из старых номеров журнала "22". Там он выводит "нерусскую" концентрированность поэтической информации в стихах Пастернака и Мандельштама из еврейского происхождения: в иврите, дескать, концентрация информации осуществляется за счет экономии на гласных. Положим, это казус, но вот напечатали же.

Урок глуховатым мужчинам дает Рита Бальмина. О наших предках – без изысков, но с прежним богатством аллюзий:

*Они покинули очаг.
И догорел дотла
Теленок в золотых лучах
От золота котла.
Устам пустынных древних книг
Их речь была близка,
Но высыхал, иссяк родник
Родного языка.*

О том же в другом месте у нее – уже совсем обнаженно:

*... И мы уже, как волки, сыты
Небесной манною обмана.
Но все еще, как овцы, целы,
За пастухом косноязычным
Туда идем, не зная цели,
Где слово станет неприличным.
Мрем от словесного поноса...*

Про понос Пети Птаха – буквально – мы уже читали.

С языком плохо. Почти безнадежно. Не каждый умеет обращаться с ним, как Сара Погреб, Елена Аксельрод или Рита Бальмина, и молодые, перед тем, как писать, принимают наркотики, черпают из последних резервов. Строчки это обнаруживают. Однажды я проверил себя, спросил у редактора – так и оказалось. Умерла талантливая молодая поэтесса...

Трудно вообразить, что Павел Лукаш употребляет наркотики. Про водку и у него есть, но не под Веничку Ерофеева, а так, как говорят о ней российские трудовые люди, которые, наломав спину за день, садятся вечером к столу. Написано это – здесь.

*В такую погоду пугаюсь почтового ящика:
такое пришлют – не раскрутишься месяц-другой.
В такую погоду побольше б вина и рассказчика
занятых историй, и из дому чтоб – ни ногой.
Хороший хозяин собаку из дому не выгонит.
И мне б не идти, да не хватит на то куражу.*

*Ведь я не из тех, кто возьмет и вдруг что-нибудь выкинет.
Служу не собакой, а все-таки тоже служу.*

Он и сам – хороший рассказчик.

*А мы, дорогая, не едем на юг: погода другая, и лету как-то...
Мы, не отдыхая, живем на югах, Работа плохая – весь день на
ногах. Тебе же не светит и дома покой: там сволочи-дети и я –
не такой.*

Конечно же, он "не такой". А кругом-то – вон какие! Рукоблудием занимаются! Раком встают! Надо б, как-то, поднатужившись, посоответствовать, что ли?.. Он пытается иногда, но – не получается.

*В окне на первом этаже ты появилась в неглиже, как будто
так и надо. Наверное, решила ты, услышав, как поют коты, что
это серенада. И внешним видом поменя, мгновенно вывела меня
из полного покоя. Смотри, как дергается бровь, и если это не
любовь, так что ж это такое?*

Вот незадача. Набрел на такой уж навязчивый мотивчик, а все равно вышло как-то... ну... по-человечески.

Для меня радостно было читать Лукаша. Если бы всегда можно было просто. Но в поэзии это тоже чревато:

*И совсем уже уезжая,
взглядом по небу пройдясь –
замедлиться:
в папы голову утопив,
там знакомая и чужая
засыпает Большая Медведица...*

(Павел Лукаш)

Нетрудно между строк увидеть Маяковского. Переворачивая страницу, начинаю следующее стихотворение:

Был день неверно истолкован...

Это уже Пастернак.

Подражательные строчки бывают почти у всех. Если существует среда, то редактора друзей помогает автору до выхода в свет его книги. Так было в России. У нас, похоже, такой среды нет. Поэту нужно самому быть своим редактором. Все-таки, Маяковский хорошо написал: "Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо".

Зачем же отрезать это ухо?

Господи, помоги, как же отличить пустое слово от значимого, добро от зла? Одного желая, как мы видим, мало, слова изменяют нам, блудят...

6. Слово.

Стихотворение Игоря Бяльского "Взгляд" помечено датой: 1987.

*На соседней скамейке Черняевского лесопарка,
на соседнем диване Дурменьской писательской дачи
шуры-муры заводит примерно такая же пара.
Я бы рад отвернуться, да некуда, вот незадача.*

*И я вижу, как в зеркале, те же коронные жесты.
 Двадцать лет пробежало, а все повторяется снова.
 И, как прежде, на мне поверяются некие тесты,
 заодно и меня проверяя на честное слово...*

Выделено мной.

У поэта есть абсолютно прозрачные стихи, "Взгляд" к ним не относится. Слишком много непонятого. Приходится гадать. Географические названия мне незнакомы. Я предполагаю, что парковая скамейка и дачный диван – это не одно и то же, и в таком случае не об одной паре речь, а о двух. Но не исключено, что я просто чего-то не знаю или не понял.

Итак, парк, скамейка. Шепот, робкое дыханье, трели соловья... Есть люди, любители поэзии, которым и сегодня нужны эти стихи, чтобы ощутить поэзию. Ну и слава богу. Современная поэзия им не нужна. Только не пристало им упрекать современников в непонятности. Получил свою порцию духовной пищи – отойди, дай другим получить. Вот вам, кстати, Бяльский прозрачный и понятный:

*Господь благоволил
 и в молодые лета
 меня огородил
 от Тютчева и Фета.*

Парк. Скамейка. Матерщина из нежного ротика, "колеса" для настроения, может быть – на глазах у всех рука парня полезла... ну, юбка вряд ли имеется, в джинсы. Любители Тютчева и Фета возмущенно поднимаются с соседних скамеек и уходят, Бяльский – "вот незадача" – остается пригвожденным. Что значит, "некуда" ему отвернуться? Отвернуться-то всегда есть куда.

Значит, не помогут прежние поэты, пусть они и великие. Значит, надо искать слова. "Шуры-муры" не нравится?

А как? Как сказать?

Ведь говорится-то о себе. Поэт еще не знает, что он чувствует. *Не может выразить*. "Мысль изреченная есть ложь" – вот и Тютчев пригодился. Тем не менее, Тютчев "изрекал" потому, что это нужно. Мысли неизреченной попросту нет, мы ведь не коровы, чтобы "просто, как мычание" – пробовали, не получилось. Надо искать.

*Общества, телероманы, стиральные средства,
 средства для предохраненья и средства доставки,
 словно нелепые суффиксы или приставки,
 первого смысла уже растащили наследство.*

Слова сопротивляются. Их приходится брать *in vivo* и подвергать проверке. Сотворение стиха – это методология исследования. Бяльский исследует на уровне не образов, а слов.

При такой методологии не могут возникнуть случайные параллели с Маяковским, Пастернаком или кем-нибудь еще, случайных строчек не может быть, такой опасности для Игоря Бяльского не существует. Странно было бы увидеть у него и эксперименты с формой. Это как если бы физиолог попытался стекла в своем микроскопе заменить бижутерией.

Лев Толстой как-то сказал, что, как ни странно, художественное слово должно быть точнее научного.

Между всеми нами есть связь. Обоюдная и, как говорят кибернетики, обратная. Девушка на диване-скамейке едва ли удержалась, чтобы во время "шур-мур" хоть раз не бросить взгляд на мужчину по соседству. Парень едва ли забыл, что он тут с девушкой не один. Возможно, я добавляю от себя. Что ж, чтение стихов всегда – творчество, соавторство. У Бяльского же:

на мне поверяются некие тесты.

Он чувствует связь, чувствует некий Закон (не нравственный!) над собой, чувствует фатальную потребность чему-то – но чему? – соответствовать и не хочет быть более определенным в своем тексте, чтобы не солгать. Исследование еще не дает ему права на большую определенность. И он заканчивает стихотворение, заботясь о его внятности:

*А когда соберется побольше честного народу
проявить свои чувства к известнейшей кинокартине,
на широком экране, искусству, опять же, в угоду,
не соседа – меня разглядит Федерико Феллини.*

Не помню, кто сказал: не мы смотрим на Мону Лизу, а она на нас. Таких "цитат" у Бяльского много. Кто ищет связь, тот всюду находит "цитаты". В отличие от иронической поэзии, "цитаты" у поэта служат не для компрометирования слов, а для отыскания в них нового смысла.

*"Мировая революция закончилась. Улетают "Илы" из Кабула...
Проявила гибкость и уклончивость империализма акула. Про-
скачила все-таки – на шару, на халяву, на муджахеддина. ...И те-
перь уже – необходимо – оставляет конница Варшаву".*

То, что в иронической поэзии – повод для иронии и веселья (как в анекдоте про Рабиновича на пожаре: "Казалось бы, какое мне дело, а все-таки приятно"), тут повод для исследования. Оголившийся в афганской войне фланг заставил развернуться конницу гражданской войны. Прошное вытекает из будущего. Маневр – исторический. Какое уж тут веселье – это автор навсегда уходит из Кабула, Варшавы, веры в светлое будущее, великой державы.

*"...Никому не надо новых звезд. Кончилось. И всем уже видна
над страной гарь небоевая. Только наши души, убывая, все на-
деются..."*

Многозначительно, что стихи, написанные до отъезда и после отъезда, перемешаны в книге. Биография поэта не в хронологии, а в ступенях постижения себя. То, что подвигло уехать, – позади. Начинается постижение новых в биографии слов:

*"Да, никуда не деться, наш наступил черед. Выучив алфавит,
знать бы, что как зовется. Может быть, и Сохнут. Но как бы
еще Исход. Кто не ушел в обход, вряд ли назад вернется".*

*"Но можно ли дважды войти в одну и ту же землю?" ("и стре-
лять по враждебной, вражеской – и все-таки безоружной – толпе?")*

"Братья мои уже тронулись. И пошли".

Стоп. Надо проверить слово "брат":

"...в небесном Иерусалиме, я сторож брату своему. Он тоже правнук Авраама. Но – и Агари. Потому и длится эта мелодрама".

Продуманная неуместность "мелодрамы" в истории сродни "шурам-мурам" в лирике. Как в лирике не помогут Фет и Тютчев, так в гамлетовском вопросе Израилю не помогут прописи гуманистического свойства.

Поскольку я вооружен и, заодно, неосторожен, то он не лезет на рожон и нож не достает из ножен.

Чем глубже проникает исследовательский взгляд, тем больше требуется освещенности. Кажется, Бяльский нашел место, где яркость света – максимальная:

"Я тоже Иерусалим – коловращение знамен, кровосмешение времен, родов и чисел".

"Душа, издевавшая плен, окаменев до самых пят, одушевляет и бетон, тем паче – камни. А что?.. Они-то и парят и светятся во тьму долин. Я тоже Иерусалим..."

Испытание слов поэзией никогда не может быть закончено, поскольку язык – живой.

Поэту приходится проверять не только слово. Наше сознание и не меньше – наше бессознательное замусорены литературными образами. Даже непосредственное чувство почти невозможно передать в его первоначальной свежести. В начале XX века "Сатирик-кон" запретил прозаикам употреблять предложение "Солнце золотило верхушки деревьев". Да, золотило, да, в этом что-то есть, но больше не надо.

Саре Погреб, чтобы выразить непосредственное чувство, приходится оговаривать почти как Межурицкому: "И не вспомнив чеховской фразы, я увидела небо в алмазах".

Михаил Генделев, чтобы, несмотря на запрет "Сатирик-кона", все-таки, выразить свои чувства при закате солнца, предпринимает героические усилия:

*ах горит закат в таких облаках
за нерукотворный что за небосклон
или
не кого благодарить
или
Некого
благодарить
или
низкий тебе поклон
зрительный нерв.*

В образе скрыта опасность вторичности. Может быть, поэтому "в родстве со всем, что есть, уверясь", Пастернак заговорил в поздних стихах о "немыслимой простоте".

К такой немыслимой простоте стремится очень своеобразный поэт Зинаида Палванова.

Однажды, возвращаясь домой на закате, после дождя, от смертельно больного приятеля, я узнала, как сильно я привязана к жизни".

Казалось бы, что может быть банальной: "Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново". Не каждый поэт может позволить себе такую "банальность". Палванова умеет так очистить пространство стиха от стереотипов, что возникает чистый белый лист, на котором все можно писать заново и все будет сказанным в первый раз.

*...И ухажу все дальше от вранья
несчастливого – от возраста и звания,
и возвращаюсь незаметно я
к серьезности и чистоте существования...*

Палванова ищет лишь одно – точное слово для обозначения того, чему еще нет названия. Метафоры, иносказания, всяческая игра слов только мешают. С каждым годом их все меньше и меньше. Исчезает даже рифма. Остаются лишь музыка и самые необходимые слова.

*Как относиться к собственному счастью?
Петь, ликовать, смеяться громко? Или
не замечать, в упор его не видеть,
чтоб, не дай бог, не сглазить, не спугнуть?..*

Или: "Долго и упорно верили изнурительной надежде. Счастье, словно платье, мерили..."

Поэт начинает свою работу там, где "кончается поэзия". Он этого попросту не замечает, поскольку ищет не ее.

А что?

Темой последних стихов оказываются могила кота, скабрезные рисунки на стенах общественного туалета, странный импульсивный смех двух подружек, американки и израильтянки, бывших московских студенток, встретившихся на Красной площади.

*...И приходит
нужный автобус,
и наскоро давит женский смех,
и увозит одну из них,
а на другую
падает первый снег.*

Ну какой во всем этом смысл? Какой может быть смысл в похабщине на стенах общественного туалета?

Палвановой почему-то надо доискаться до смысла, она не верит, что его нет.

Может быть, здесь скрыт ответ на вопрос, с которого я начал свои заметки? Может быть, призвание поэта в том, чтобы искать этот самый "смысл во всем"?

Смысл во всем имеет, между прочим, единственное название – Бог.

7. Гераклевский камень.

*Стихи и вера... Вместе им – никак.
Жизнь обернулась самоистязаньем.
Что за уродца породил сей брак
Душевной смуты – с абсолютным знаньем!*

К такому выводу приходит в своих стихах 90-х годов исповедующий иудаизм Борис Камянов: стихи не соединяются с верой.

Но позвольте... псалмы Давида, "Песнь песней"... Когда-то они соединялись. Что же случилось?

Четверть века назад, совсем молодым человеком, Борис Камянов написал стихотворение о ненависти к себе:

...ненавижу себя я, плебей, Что играю я в жизни шута, Что помалу из князя-еврея Превращаюсь в простого жида. Что по трезвой себя не обижу, А бичую себя во хмелю... Ненавижу себя, ненавижу! Боже мой, получилось – люблю...

Да, получилось так. Поэтому получилось стихотворение. Камянов говорит нам, что получилось противоположное тому, что он хотел сказать, и... публикует это.

Противоположное тому, что он хотел сказать, получается у Камянова часто. Он просит прощения у детей – самообвинение тут же оборачивается обвинением политиков, "в рулетку промотавших полстраны", но ведь обвинять других – совсем не то же, что обвинять себя. Он отворачивается от всех – "никто мне не нужен", – и тут же признается в том, что не может жить без друзей и любимой. Ненавидит себя – это оказывается одной из форм самолюбия. Кается в том, что он, правове́рный иудей, остается "распутной музы преданным вассалом", казнит себя за то, что не может не писать стихи, – это вызывает недоумение, потому что писать стихи и публиковать их – разные вещи, и если писать, не публикуя, нет нужды в публичном покаянии.

Его легко ловить на противоречиях, искусственности, позировании, перехлестах.

Молодой Камянов написал:

Я хотел бы жить в избушке Посреди лесной дубравы, У заброшенной речушки, Где растут по пояс травы...

Спустя несколько лет, когда были все возможности найти такую заброшенную речушку, он уехал в Израиль. Согласитесь, это не лучший способ осуществления юношеской мечты.

В зрелости он пришел к иудаизму, но остался самим собой:

*Чтоб Бога соответствовать желаньям,
Власы натуры я стригу...*

Что уж там – стригу. Перечитайте венки сонетов "Барак и храм". Не стрижет, а режет по живому. При этом он принимает свою забубенную позу:

*А орган, что с небесным раем
Соединяет мужиков, –
Бесповоротно отмирает,
Как партия большевиков.*

Его легко упрекнуть в непоследовательности.

Бог присутствует в его стихах с юности. Естественно, что в юности он – православный. У Стены плача у Камянова появляется надежда, что жизнь можно начать сначала, приобщившись к вере предков на святой земле. Перечитайте цитату из его стихотворения в главке "Идея": "Господь простил тебе грехи и вновь тебя

из праха лепит" – в этом есть христианское, православное чувство, даже если буквально текст не противоречит иудаизму.

Начинается новая жизнь на обетованной земле. В стихах часты упоминания Бога. О каком Боге речь?

*Только память свою и пиру
Я спасти по дороге мог.
И стою на вершине мира,
Над которой – лишь только Бог.*

Откуда взялась вершина мира? Синай не был ею, и Мория тоже. И Голгофа ею не была. Вершина мира – это античный образ, Олимп. Какой над ним Бог?.. Язычник еще не изжит, дьявол искушает.

И вот, наконец, *"на лбу – тфилин... до пояса – талит..."*

И тут же о Боге: *"Поди там объясни Ему, что мы недавно только..."*

Он, Камянов, что-то хочет объяснить про нас Богу и заранее отчаивается из-за неспособности Бога его понять.

Рифмуя к Богу праздные вопросы...

Лучшие умы человечества и простые наивные души, очень часто – детские, испокон веку задавали Богу вовсе не праздные вопросы. От этих вопросов с ума сходили. Бога спрашивали, почему он создал нас грешными, почему обрек на страдания и смерть невинных, почему мир так жесток и добро не вознаграждается. Спрашивали и про слезу ребенка. Вопросов, оставшихся без ответа, много. К чему же **праздные** вопросы?

Если Камянов перестанет задавать свои "праздные" вопросы, изживет в себе "язычество" с Олимпом и лирой, определится, если исчезнут непоследовательность, противоречия, перехлесты, – исчезнет поэтичность.

Вот какое дело.

В стихах поэта столько самоопределений, что это представляется главным занятием Камянова. Некоторые я уже приводил. Их количество говорит о том, что автор не удовлетворился ни одним и продолжает искать. Он говорит о себе такие вещи, на которые далеко не каждый решится. А потом находит еще более резкие. А потом оказывается, что он клеветал на себя и был не таким уж и грешником. Он громоздит одну автохарактеристику на другую, лепит собственный образ, но жизнь ломает образ, он лепит новый, и снова неудача, и так без конца. Автопортрет не получается никак.

Если однажды он получится, Камянов перестанет быть поэтом.

В "Ионе" Платона Сократ говорит, что поэтом движет божественная сила. Он сравнивает ее с силой гераклеийского камня, который Эврипид назвал таким знакомым нам словом: магнит. Магнит не только поднимает железные кольца, но и влагает в них собственную силу поднимать другие кольца. Мы говорим – намагничивает железо. И вот Бог через поэта кольцо за кольцом поднимает всю цепь. Так утверждает Сократ и продолжает: *"песнетворцы не в своем уме творят эти прекрасные песни, но когда войдут в*

действие лада и размера, опьяненные и одержимые, точно вакханки, которые черпают из рек мед и молоко в состоянии одержимости, – а пока в своем уме, то нет".

Сегодня функцию намагниченных колец взяли на себя музыка, шлягеры, телесериалы, все массовое искусство. Посмотрите на молодых зрителей в зале, когда на эстраде – их кумиры. Ток в этой цепи намагниченных колец или, как сегодня говорят, **энергетика** ошеломляет. Еще немного – и произойдет пробой, короткое замыкание, взрыв.

Кумиры, опьянение, одержимость – это язычество.

Автопортрет – это ведь тоже кумир, тоже язычество.

"Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли; и дабы ты, взглянув на небо, и увидев солнце, луну и звезды, все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им..." (Второзаконие, 4).

Поэт сопротивляется язычеству.

Поднимаясь все выше и выше по кольцам сократовской цепи, он сам сложил с себя сократовскую миссию, отделяется от нас, оставляя промежуточные звенья другим, и приближается к Началу.

Иной поэт искренне провозглашает себя язычником, но верить ему в этом нельзя.

Сегодняшних поэтов трудно сравнить с вакханками. Если в стихах нет холодной, трезвой профессиональной работы над словом, нет и предмета для разговора. Поэт творит "в своем уме". Но он ничего о себе не знает, и потому не нужно быть Сократом, чтобы "сократовским методом" прийти от этого утверждения к выводу: "значит, ты согласен, что поэт творит не в своем уме".

Где-то там, в далеких сферах, разомкнулась сократовская цепь. Кто не способен опьяниться подобно вакханкам, ощущает разрыв цепи, потерю связи. *"И каждый чувствует мой взгляд собаки беспризорной".*

Ток перестал идти, что-то случилось с нами, что-то происходит с нашими чувствами, образами самоидентификации, с нашим здравым смыслом и нашим ощущением мира, с нашими нервами – проводниками всемирного тока.

Поэты надеются замкнуть цепь. Им приходится искать смысл во всем, проверять чувства, идеи, слова. Они проверяют звено за звеном. У них много работы. Дай им Бог.

Ефрем Баух

*ХРАМ ДАВИДА ШАХАРА**

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ЖИЗНИ

Все возвращается на круги своя, но каждый раз в новом измерении. Семь романов недавно ушедшего от нас выдающегося ивритского писателя Давида Шахара – «Лето на улице Пророков», «Путешествие в Ур Халдейский», «День графини», «День привидений», «Нингель», «Сон в ночь Таммуза» и «Ночи Лютеции» – выдвигая на первый план то один, то другой образ, меняют при этом перспективу разворачивающегося повествования и самой воссоздаваемой реальности.

Автора можно уподобить одинокому бегуну на дальние дистанции. Писателям «поколения государства», таким, как Ицхак Авербух-Орпаз, Амалия Кахана-Кармон, Йорам Канюк, Алеф-Бет Йеошуа, Амос Оз, к которому принадлежит и Давид Шахар, необходимо было все начинать сначала, ибо их время – это эпоха разрушения мифов и построения новых. Я называю целую группу литераторов, но каждый из них вынужден был искать свой путь в одиночку.

Давид Шахар на сегодняшний день – единственный ивритский писатель, предпринявший грандиозную попытку создать разветвленную художественную систему, воплощенную в цикле романов. Их общее название – «Храм разбитых сосудов». Второе название – «Луриана» – эпопея получила по имени одного из главных героев Габриэля Ионатана Лурия, которое в свою очередь связано с именем великого каббалиста Ашкенази рабби Ицхака Лурия (ХА-АРИ). Фабульное пространство романов вырастает, подобно годовым кольцам дерева, вокруг небольшого «пятячка» – эпизодов жизни иерусалимского подростка в годы британского мандата. Имя этого мальчика – Давид Шахар. Повествование движется от детства к зрелости, от мальчика – к взрослому человеку, живущему в независимом Израиле, но непрерывно возвращается назад, очевидно, чтобы поверить «сознательные» поступки героя юношеским бескорыстием и детской наивностью. Казалось бы, несущественное «реалистическое» событие меняется, обрастая подробностями, заново оживая в самых разнообразных ипостасях под повседневно-обыденным, психологическим, лирико-символическим, фантастическим и, наконец, мистическим углом зрения. Читатель, вошедший в мир Шахара, проходит все его «круги», каждый раз как бы наново

* Из подготовленной автором к печати книги «Ивритская литература: тексты в момент реальности и в момент мифа». В основу публикуемой главы легло предисловие к роману Д. Шахара «Лето на улице пророков» (БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ, 1991, Иерусалим). Цитаты из романа, переведенного на русский язык Н. Вольберг, приводятся по этому изданию.

осознавая архитектонику «Храма разбитых сосудов».

Может быть, именно потому, что проза Шахара начала приходить к читателю только в 60-е годы, «с опозданием» и «с другой стороны», она сразу привлекла к себе внимание – необычной образностью, особым языком, сложной системой взаимосвязей и сюжетных линий. Постепенно этот цикл выдвинулся на авансцену израильской прозы. За сравнительно короткий срок Шахар создал «тотальную» литературную систему, охватывающую на экзистенциальном уровне всю пестроту и сложность израильской жизни.

Человеческая личность в разнообразнейших ее измерениях – детство, семья, домашнее хозяйство, психологический климат, культура, со всеми элементами влияния Запада и Востока, исторические события, кризис зрелости... Именно многомерность повествования создает особую атмосферу парадоксально сталкивающихся и причудливо взаимодействующих субстанций, привнесённых из разных концов света в этот «колодец времени», стены которого хотя и обросли реальным мхом земного существования, но в глубине своей хранят неизменно живую воду божественности Вселенной.

«КОЛОДЕЦ ВРЕМЕНИ» – ИЕРУСАЛИМ

Тяжесть поднимаемых проблем и затрагиваемых тем, грозившую превратить его произведения в унылый энциклопедический справочник, Шахар преодолевает, переходя от образа к образу через кризисы и разломы в неевклидовой системе координат. Наверное, так же совершают «скачки» объекты в эйнштейновском, релятивистском пространстве-времени, где разные системы движутся по разным для «внешнего наблюдателя» законам.

Намеренная «концентрированность» текстов Шахара постоянно провоцирует ожидания, которые по ходу повествования исполняются совсем не так, как предполагает читатель, создавая тем самым дополнительное напряжение, поэтическую разность потенциалов между земным и небесным. Так же «внезапно» Шахар меняет стилистику. Он использует весь арсенал средств, чтобы читателя ни на миг не оставляло тревожное любопытство, неослабевающее ощущение «слежения» за неким «Великим Сознанием», единым духом, объемлющим всю человеческую цивилизацию.

В романах можно выделить несколько накладывающихся друг на друга странствий, точнее, путешествий в глубины духа.

Первое, как бы заложенное в фундамент эпопеи, странствие, смысл которого раскрывается в самом названии «Храм разбитых сосудов», – это каббалистическое путешествие к источникам изначального света, согласно учению ХА-АРИ, – к истокам Сотворения мира. Это, длящееся через все романы Шахара, по сути, незавершенное путешествие возложено автором на Габриэля Ионатана Лурия и его соратников.

Второе, «сопутствующее», пронизанное эротическими мотивами странствие, – это романтическое путешествие к ключевым ис-

точникам и колодцам детства, к радостям и разочарованиям в так называемой личной жизни. В начале странствия – мальчик, чье чистое легкое дыхание ощущается на страницах, впрочем, так же отчетливо, как и тягостная зависимость героя от «других», от взрослых. Далее – подросток, юноша, которому жизнь преподает свои уроки, и главный из них – отсутствие прямой связи между глубиной переживания и активностью действия. Мы видим героя в разных ипостасях: свидетель событий и разве что косвенный их участник, а по своему духу – романтик, сочинитель, фантазер, гораздо более чувствительный, чем те, кто его окружает. И все же он обречён быть сторонним наблюдателем, на которого то оглушительно, то незаметно обрушивается поток взрослой жизни.

Волна третьего путешествия несет героя к основам иудаизма, так необычно и странно преображающегося в современной израильской реальности. Мальчик, взрослеющий в Иерусалиме ашкеназов и сефардов, жителей Меа Шеарим, включая и фанатиков Натурей-карта, в Иерусалиме поэтов-парнасцев и поэтов-ханаанцев, проходит все переживания и радости развития в себе новой особи – израильской. И опять, вбирая историю, прошлую и совершающуюся на глазах, он играет в ней роль пассивного, но чуткого наблюдателя.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ СВЕТА. ЛУРИАНСКАЯ КАББАЛА

Смысл названия цикла «Храм разбитых сосудов» Давид Шахар в одном из интервью объяснял так: «Введенное ХА-АРИ понятие **разбивание сосудов** это, по сути, одна из идей, к которой пришел человек в поисках ответа на вопрос: если Всевышний творит лишь добро, то откуда в мире берется зло? Ответ таков: Богу (ХА-АРИ называет его **ЭЙН-СОФ** – Бесконечность) для создания физического мира необходимо было пространство. Но так как Бесконечность заполняет всё, следовало её сжать, сократить и найти свободную точку, из которой и возникнет физический мир. После сжатия Бог ввел в эту точку материальный мир, который, сам по себе, лишен всякого смысла. Содержание и смысл он может обрести лишь тогда, когда в него вдохнут душу. И тогда Бог осветил этот мир одним-единственным божественным лучом, но мир не выдержал и взорвался. Другими словами, четыреста лет назад ХА-АРИ пришел к выводу: мир является продуктом великого взрыва, и все мы родились в этом взорванном мире. Каждый из нас – малый осколок, несущий в себе каплю божественного луча света. Мы все – плоды взрыва, в результате которого в этом мире нет ничего, что находилось бы на своем месте. Все мы – осколки разбитых сосудов. Каким же образом это исправить? Бесконечность обладает слишком большой мощью, чтобы можно было на неё повлиять. Но каждый человек может исправить самого себя, и основой этого процесса является единственное и неповторимое бытие, переживание своего времени и места, самое интимное и личностное. Это переживание я ощутил в детстве, здесь, в Иерусалиме, как и

ХА-АРИ. Оно и стало основой моего мировоззрения и моего творчества. Ощущение чуда возникло у меня однажды, когда я был на военных сборах, вернее, даже не чуда, а какого-то необъяснимого счастья: я получил по почте журнал, в котором был опубликован мой первый рассказ. А через несколько дней я увидел эти страницы в туалете: кто-то еще получил журнал и распорядился им по собственному усмотрению. С тех пор я не ожидаю ничего, но знаю: всё, что вершится, само по себе – чудо».

Начиная писать роман «Лето на улице пророков» (1969), Шахар не знал, во что он выльется. Счастье сочинительства поглощает годы. А ведь большего счастья в жизни и нет.

Время идет. Каждая глава оборачивается романом в триста страниц. «Так оно складывалось само по себе», – говорил Шахар.

С первого романа постепенно, но неотступно выясняется, что главным поводом в пути к «Храму разбитых сосудов» для автора является искусство в своеобразной и неповторимой иудейско-израильской форме «поисков утраченного времени». Единственным преимуществом мальчика-рассказчика, взрослеющего и стареющего, является именно роль рассказчика. И все образы – Габриэль Лурия, выражающий себя на каббалистическом языке; Таммуз, выражающий себя языком драматурга; поэт Эш-баал Аштарот, воссоздающий необычными метафорами «ханаанский мир» – отражают внутренний мир рассказчика. Он – демиург, несмотря на то, что всё время изображает себя удрученным, разочарованным, даже подавленным. По сути, это чисто романтическая позиция, согласно которой искусство – высшая ценность, творящая мир, в центре которого – творец, красками ли, словами пытающийся соответствовать «образу и подобию» Того, кто его сотворил. И как Тот вдохнул жизнь в него, пытается и художник вдохнуть жизнь в мир, расширяющийся годовыми кольцами романов эпопеи.

С опубликованием седьмого романа Шахара «Ночи Лютеции» прояснилось, что цикл этот не может быть завершен, как не может быть завершена попытка решить проблему Времени. Художественная система, являющаяся одновременно и жизнью автора, так и останется по самой своей концепции открытой, ибо как можно описать время, которое всё завершает и не завершает ничего? Естественно, что ощущение открытости особенно остро в последнем романе. Уход из жизни автора кажется лишь досадной случайностью в созданном им и уже без него развивающемся мире.

«ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ»

«Да будет!» – свежестью и первозданной мощью этого возгласа, брошенного мальчиком вглубь «колодца времен» и возвращающегося многократным эхом, сразу и с места начинает разворачиваться повествование в романе «Лето на улице Пророков» – первом романе эпопеи. Мальчик вытаскивает ведро воды из глубин колодца, и в этот миг над ним возникает фигура Габриэля Ионатана Лурия, только что вернувшегося из своего путешествия

в Париж. Образ Габриэля запечатлевается в детской памяти «поднимающимся из отверстия колодца вместе с ведром воды».

На колышущийся облик мальчика накладывается облик главного героя его жизни; они сливаются на поверхности воды, и сияющий венчик вечности хранит бранные образы обоих от исчезновения в глубинах летейских вод.

«Я отодвигаю крышку и всматриваюсь в темную поверхность воды. Тонкий защитный слой керосина, маслянистый, отбрасывающий разноцветные отблески, образующие как бы сияние вокруг моей головы, которая поднимается из воды и скрывает ее глубину и поверхность и возвращает мне мой голос – «Хо-хо-о-о», – охлажденный камнем и железом».

Тонкая пленка керосина предохраняет колодезную воду от личинок малярийных комаров подобно тончайшей лаковой пленке на старинных картинах, сохранившей для нас образы прошлых столетий.

Колодец – источник жизни в доме, на улице, в Иерусалиме... Старая Пнина, тетка Габриэля, все время в беспокойстве: то совсем нет дождей, и зимний сезон, провисающий между еврейскими праздниками – Ханукой и Ту-би-Шватом, всухую движется к своему завершению; то – сплошные ливни, угрожающие смыть и двор, и дом, и жизнь (ведь дом стоит над колодцем), и погрузить всю улицу Пророков в пучину вздувшегося в долине Иосафата (она же – долина Страшного суда) ручья Кедрон. Только один Габриэль пророчески спокоен, курит сигарету, погружён в «странную беспечность» и как бы между прочим проборматывает в дни засухи: «Да, да, сосуды пустеют», а в период угрожающих ливней: «Сосуды не могут вместить изобилия».

Странные приступы слепоты посещают Габриэля. Он настолько чувствителен к свету, что даже внутри дома от луча, косо падающего из окна на страницу книги, может получить солнечный удар. Тонки и сверхчувствительны глазные сосуды Габриэля. И лишь намного позднее автор поймет, какая связь между колодцами, которые не могут вместить изобилия вод, и глазами, которые не могут вместить изобилия света.

Мы только-только начали читать, а перед нами уже развернулась предельно плотная экспозиция романа, с первых же страниц втянувшая нас в самую глубину повествовательного водоворота, сразу же увязавшая самые поверхностные детали с нитями того первозданного света, который чист, как основа творения, как возглас – «Да будет свет!».

По части таких узловых экспозиций, то внезапно, то исподволь возникающих из потока повествования, Давид Шахар – большой мастер. Так запросто обронить слова, вмещающие лурианскую концепцию мира, наложенную на генетический страх перед всемирным потопом; так тонко намекнуть на одну из основополагающих идей Каббалы – ивритские слова *ани* (я) и *эйн* (ничто, нет меня) состоят из одних и тех же букв, только в разных сочетаниях; личность как бы вычеркивает себя, исчезает в ослепительном свете Божественной эманации.

«Это звезды, – сказал мне Габриэль и добавил: – Небесное воинство... – Где-то зашуршала и приоткрылась дверь, и из щели, возникшей в непроницаемой толще темноты, пролилась наружу струя света, которая достигла основания кипариса, росшего у входа в наш двор, и обернула низ его ствола лоскутком дня. Прохладные легкие языки ветра перешептывались между деревьями и приносили издалека, из-за горы Скопус, запах влажной земли и еле слышные голоса – напевные и резкие, пронзительные, скрежещающие голоса ночной жизни... И стена Старого города, и горы вокруг, Масличная гора и гора Скопус, погруженные во тьму, – все присутствовало тут, и дыхание останавливалось под тяжестью древности, страшной по своим нечеловеческим размерам, по длительности своего существования за пределами человеческого века, по своему равнодушию к маленькому человеку, копошащемуся на её поверхности...»

Только Габриэль может противостоять мощи этого равнодушия, будучи необыкновенно связан с этой «тяжестью древности», которая, по сути, вечность. Ведь он может заглядывать в нее, как в стеклянный шар, подобный гигантскому аквариуму для золотых рыбок. Обнаружив там скопления пауков, он может обернуть свой гнев птицами и кошками, которые принимают этих пауков уничтожать. (И тут старуха Роза напоминает о спасительной паутине, заслонившей Давида в пещере от царя Саула, разыскивающего его, чтобы убить.) Благодаря присутствию рядом Габриэля, мальчик чувствует в глубине пещеры, в сущности, могильного склепа, что «течение времени слилось с жизнью камней так, что камни превратились в заповедное пространство, стерегущее время».

Давид Шахар верен законам ассоциативной памяти. Зная, что только ассоциации могут как бы случайным сцеплением событий оживить прошлое, он сталкивает предельно конкретное с предельно отвлеченным. Благодаря этому событие врезается в память во всей своей остроте и непосредственности – например, натуралистическое описание похорон с «желтовато-зеленоватой ступней» покойной между простынями, с телом, которое хоронят без гроба, связано с фразой Габриэля, весьма отвлеченно выражающей высшие истины: «Евреи здесь торопятся разбить сосуд в тот момент, когда он опустеет, чтобы он возвратился скорее к праху, из которого взят». Мальчик непроизвольно продолжает ассоциацию, думая, что речь опять идет о колодце, высыхающем из-за отсутствия дождей, – в свои четырнадцать лет он явно ближе к пониманию сущности мира, чем многие взрослые.

Завершая первую главу романа – «Истоки памяти», Шахар мгновенно переносит нас почти в сегодняшний день (с этим приемом мы встречаемся во всех его книгах). Писатель с самого начала пытается придать всей разворачивающейся эпопее характер «не повествования»: «После того, как прошло четверть века и я случайно узнал – об этом я расскажу в свое время, – что Габриэль Ионатан Лурия – это тот человек, который сочинил «Храм разбитых сосудов», мне стало ясно, что есть связь между человеком, который вычеркнул свое имя из книги жизни, и между тем излу-

чающим уверенность и радость, успокаивающим светом, которые он распространял».

И кружится в «колодце времени» водоворот «не повествования», подобный подзорной трубе, наставленной на двор и дом, в котором писателю повезло провести дни его детства – «на спуске улицы Пророков, на границе с Мусрарой, в которой родился Габриэль Ионатан Лурия в первом году двадцатого века, за двадцать шесть лет до того, как родился я».

В водоворот этот тягиваются толпы людей, кишаших у Шхемских ворот Старого города. Издалека в полуденном иерусалимском солнце и люди, и экипажи кажутся сошедшими с полотен мастеров эпохи Возрождения. Кружатся вещи, найденные мальчиком в подвале дома: шарманка, ржаво воспроизводящая звуки «Марсельезы», и турецкий кинжал, вокруг которого разворачивается один из внутренних сюжетов романа... Кружатся «черные одушевленные столбы» абиссинских монахов, и эфиопский император Хайле Селассие – во всех ослепительных регалиях генеральского мундира. И отец Габриэля – реликвия времен Османской империи – «консул, бек, с наголо выбритой головой, пышными усами, в цилиндре, всегда вместе с прислуживающим ему долговязым и тощим сеньором Моизом и матерью Габриэля». Эта неразрывная троица, описываемая с юмором, переходящим в гротеск, шумно проходит через весь роман и неожиданно для читателя, а быть может, и для самого автора, персонажи начинают обретать легендарную ауру.

В «нижнем» пласте жизни происходят события, трагический накал которых достигает небесного уровня. Всю свою жизнь дед Габриэля, один из лучших столяров Иерусалима, с любовью мастерил для синагог *аронот ха-кодеш* (шкафы для хранения свитков Торы). С великой униженностью просил он у синагогальных старост хоть немного денег в счет оплаты за искусный свой труд, чтобы семья имела возможность встретить субботу. Дошло до того, что у деда не оказалось и самой мелкой монеты для покупки свечей, и тогда он согласился – против своей воли – вырезать большой крест из масличного дерева для русского монастыря.

«Однажды ночью, когда крест был закончен, проснулась маленькая Ентеле и выглянула на улицу через круглое окошко; она увидела большой крест, распростертый во всю длину и ширину на блестящих в лунном свете камнях мостовой и ползком продвигающийся к предназначенному для него месту в русском монастыре... В нескольких шагах от мастерской группа евреев, возвращавшихся с ночной молитвы у Стены плача, наткнулась на столяра, несущего на своей спине крест, и в следующую же ночь его дом был подожжен».

ВЫСОКАЯ НОТА НАПРЯЖЕНИЯ

Из «нижнего» пласта, с его суетой, скандалами, изменами, жестокостью, бедностью, болезнями и смертями, возникают звуки рояля. словно «гладкие и прохладные стеклянные шарики» скатываются в дрожащие «витиеватые звуки цитры, сопровождавшие

арабского певца». Ночной воздух начинает «дрожать от нарастающего напряжения, ибо отрывистые звуки западной музыки не растворялись в восточных мелодиях». Они создают «взрывчатую смесь, готовую вспыхнуть от малейшей искры», и несчастный пианист в укрытии своей комнаты творит чудеса. «Непонятно, во сне или наяву падала вдруг первая чистая нота в раму открытого окна, подобно вспыхнувшей звезде, которая мгновенно наполняет пространство черного неба волнами скрытой, вибрирующей в самой глубине человеческого существа жизни, так что перехватывало дыхание, и ей вслед вторая нота застывала светом, подобно второй звезде... и еще звезда, и еще... и пустое пространство наполнялось упругими волнами ожидания того, что вот-вот звуки воплотятся в точки света – и завершится пунктирный абрис созвездия, созвездия Близнецов, например...»

Стоит музыке пресечься на этой высокой ноте напряжения, как место её в сердце заполняет страх перед бесконечным и холодным пространством между звездами, «подвешенными в пустоте без всякого смысла».

По ступеням этого трепещущего, готового исчезнуть в любой миг и все же вечно скрытого за реальностью мира можно войти в лунную ночь, мистически-прекрасную ночь Иерусалима, когда выплывает полная оранжевая луна и повисает «в необъятном и вечном безмолвии, которое сообщает ночи в Иудейской пустыне высокий накал потустороннего мира и объемлет подножие вселенной волнами пространства, покоящегося на плечах гор».

Так *пространство повествования*, начинаясь с «низин жизни», идет ввысь, увенчиваясь лунной иерусалимской ночью мощно разворачивающегося *реального пространства* подъемов и бездн – долины Кедрона, Масличной горы, Храмовой горы – пространства, где можно охватить единым взглядом всю духовную историю мира, с Давидом, Соломоном, Христом и Магометом...

Однако над этим миром существуют еще более высокие сферы, касающиеся самых сокровенных тайн Вселенной и человеческой души.

Вот тринадцатилетний Габриэль, ставший «сыном заповеди» (*бар-мицва*), спускается в Кедронскую долину, «за голубем, навстречу луне, которая сбрасывала с себя рыжее облачение и кидала его на неясные очертания Моавитских гор». Мистическая интуиция и причастность к высшим сферам дают мальчику возможность спокойно и уверенно, двигаться над пропастью, между гробницами пророка Захарии и сына царя Давида Авессалома.. Голубь садится на край скалы. Линия божественного напряжения протягивается – через голубя, долину Иосафата, точку, в которой соприкасаются восточный склон горы Скопус с западным склоном Масличной горы, через тело мальчика, лежащего животом вниз на выступе скалы с вытянутыми вдоль тела руками, – к луне: «...Трепетали нити, которые пряла луна из все усиливающегося страстного томления одного мира по другому, пока не открылся канал, соединяющий сферы, и не хлынуло сквозь него на Габриэля щедрым потоком дыхание луны, исторгнутое ее жадными багря-

ными устами и несущее в себе лиловую серебристость ее кожи».

Женское начало, столь амбивалентно описываемое каббалистами, связанное с прародительницей ведьм Лилит, с Евой, вкусившей от запретного плода – «в тот миг все человечество ощутило на губах вкус смерти» (книга Зоар), – столь же амбивалентно сталкивается в этом эпизоде с библейской притчей о жертвоприношении Авраама. Габриэль приносит в жертву голубя совсем недалеко от горы Мория, на которой Авраам занес нож над своим сыном Ицхаком. Габриэль совершает это, зная, что «со смертью голубя придет конец и его душе». Бог не посылает ему Ангела и агнца: «Барашек не запутался в чаще рогами, и кровь голубя... пролилась на жертвенник, на котором не было дров». И не было огня, чтобы усладить Его «вдыханием души», души, которую Он вдохнул в того, «кто погиб вместе с жертвой, но не простил Ему».

МГНОВЕНИЕ ПРОБУЖДЕНИЯ

Описание «мгновения пробуждения» – это, можно сказать, метафорическое описание того художественного принципа, который со временем становится основным в романах Шахара.

«Мгновение пробуждения, этот переход от реальности сна к реальности жизни, тяжелое и болезненное мгновение, даже если открывающиеся глаза плоти призваны освободить человека от кошмаров сомкнутых глаз духа, ибо это мгновение относится к числу непостижимых мгновений обновления мира, возникновения света, во время которых родовые муки охватывают творца, и его творение, и роженицу, и ребенка, и мир, и его спасителя».

Все эти ощущения и мысли раскручиваются и переплетаются в анфиладах «Храма разбитых сосудов», начинаясь с детства автора, когда бездонный переход «из сознания во сне к сознанию вне сна» столь быстр и неосознан, что и боль тоже не осознается, а переход скорее полон ликования, как переход из одной комнаты в другую «в заколдованном дворце». Это ликование сродни мистическому чувству радости, охватывающему праведников, несущихся на колеснице ввысь сквозь анфилады высших чертогов к престолу Божьему. Так открывается канал, связывающий романы Шахара с мистической «литературой чертогов» (*сифрут ха-хехалот*), литературным течением, возникшим еще первые века новой эры в Эрец-Исраэль и в Вавилоне. Тем не менее, Шахар, с его попытками экзистенциального познания мира, принадлежит двадцатому веку. Он знает, что «мир дня и мир ночи являются лишь разными состояниями сознания человека при пробуждении», что состояние человека во время сна сходно «с реальностью, в которой пребывает душа перед рождением и после смерти, и которая находится за пределами и дня, и ночи», что проникают туда «только особые сны, такие, от которых в памяти не остается ни следа», и только особым – творческим – напряжением человек способен удержать нечто от тех, мгновенно стирающихся дневным сознанием, «снов мира».

Шахар строит свою прозу по законам, которыми пользуются каббалисты при толковании Священного писания, различая четыре ступени раскрытия этих текстов (они называют это *пардес* – аббревиатура слов *пшат*, *ремез*, *друш*, *сод*). Первый верхний слой – «буквальный смысл» (*пшат*), за ним – «намеки» (*ремез*), затем – «комментарий» (*друш*) и после всего этого остается «тайна» (*сод*). Автор обильно пользуется ассонансами и ассоциациями, которыми столь богат иврит, и уже самой игрой слов наслаиваются смысловые пласты; текст насыщен цитатами из священных книг, которые воспринимаются совершенно органично, ибо родились в лоне того же языка и стали неотделимой частью тысячелетнего еврейского сознания, и, разумеется, облако, покров, веяние, печаль *тайны* пронизывает ткань всех его романов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

Так называется последняя глава романа «Лето на улице пророков» (*Каец ба-дерех а-невиим*), составляющая почти треть всей книги. После всех перипетий предыдущих глав Шахар возвращается к изначальной точке: прежде, чем представить Габриэля читателям, он пытается его представить себе по рассказам тех, кто знал Габриэля, и видится он ему силачом с огромными усами, похожим на турка, торгующего коврами.

К удивлению автора, Габриэль воочию возникает перед ним совсем иным – европейским денди в «белой шляпе, круглой, твердой и украшенной черной лентой; в синем пиджаке с золотыми пуговицами, в белых отутюженных брюках и с тростью...» Такое ощущение, что автор как будто только начинает примериваться к образу Габриэля: то застает его врасплох выслушивающим упреки матери, то в момент, когда тот бреется. Более того, Габриэль Лурия вроде и сам ищет самого себя. Но и научная истина, которую ему преподавали в Сорбонне, куда он уехал из Иерусалима изучать медицину, представляется ему всего лишь знанием «о том, что такое истина и что такое ложь, которому поклоняются язычники от науки, завладевшие миром». Бросив учебу, Габриэль уехал в глухую бретонскую деревню на севере Франции с ее старыми домами, «столетиями, погруженными в сон», с ее христианской верой, столь же тяжеловесной, как сработанные из гигантских дубов кровати-шкафы, на которых там спят и поныне. Он даже испытывает странное, смешанное с тревогой и страхом наслаждение, ложась в эту кровать, похожую на огромную резную шкатулку, *арон а-кодеш* (Ковчег Завета).

Болью, корчащей все его тело, приходит к нему ощущение вины, глубоко загнанное в подсознание: когда-то в детстве дед подарил ему шкатулку с ключиком, похожую на миниатюрный Ковчег Завета (удивительна у Шахара эта игра, когда, словно матрешки, из гигантского ларца-кровати извлекается меньший ларец, подобие Ковчега Завета, а из него – совсем малый ларец – шкатулка, и каждый увенчан колоннами и капителями, родоначальниками ко-

торых являются колонны Иерусалимского Храма). Дед тайком показал внуку новый *арон а-кодеш*: он делал его для этих мошенников, синагогальных старост, которые должны были ему деньги еще за прошлую работу; подлостью и мелочностью они ничем не отличались от монастырских служек, но ведь не для них делал старик работу, а для Всевышнего. Малыш Габриэль по наивности своей, хвастаясь шкатулкой, выложил все матери, которая тигрицей накинулась на старика-отца, и тот... тронулся умом.

Но главная вина Габриэля упрятана еще глубже: причесанный, в синей курточке с золотыми пуговицами, внучек избегал свихнувшегося столяра, боялся, что кто-нибудь признает в этом сумасшедшем, вечно что-то бормочущем про себя старике, его деда. Как это характерно для эмансипированных поколений евреев галута, стеснявшихся своих бормочущих молитвы дедов...

Все дальше и дальше уходит Габриэль от очистительных высот Иерусалима, в лунатическом равнодушии своем дойдя в одну из ночей до крайних пределов языческого мира – каменных столбов на берегу моря: «Гигантские столбы, уходящие правильными рядами по направлению с востока на запад, установка которых потребовала от древних язычников удивительных знаний, эти мудрено расположенные каменные гиганты, как и скалы на берегу залива, как и волны моря, как и далекие созвездия, распространяли тот же нездешний равнодушный холод, поскольку они относились к той же безличной системе земли, и моря, и звезд с открытыми слепыми глазами, которые бессмысленно вращаются в темнице собственных орбит, следуя слепым законам, продиктованным слепыми силами, которые в слепоте своей сотворили сами себя».

Но космический круг, несущий Габриэля по своей орбите, должен замкнуться внезапным взрывом и катарсисом – таковы уж законы повествования, обретенные Шахаром еще в первом романе цикла. Габриэль Лурия в униформе с крестом на спине (он служил в это время посыльным) идет к кальвинистскому священнику, судя по всему, – высокой персоне.

«Дверь отворилась, и священник протянул руку, чтобы взять посылку, а второй рукой начал рыться в кармане, чтобы вытащить несколько монет на чай носильщику. Когда священник поднял голову, Габриэль увидел под черной шляпой лицо Маленького Срулика, лицо Израиля Шошана, своего давнего друга еще со времен иешивы рабби Авремеле в Старом городе и иешивы рава Кука...» Если для Габриэля эта встреча явилась поначалу неожиданностью, кальвинистского миссионера Израиля Шошана она потрясла: «Он отпрянул назад, наткнулся на стол и ухватился одной рукой за его край... он судорожно заслонил глаза, словно защищая их от невыносимого зрелища».

И тут раздается возглас Габриэля, не менее, если не более относящийся к нему самому, нежели к доктору Шошану:

«Срулик, Срулик... Что ты тут делаешь?»

«А может быть, я и вправду умер?» – думает Габриэль, ибо ужас, каким был охвачен Срулик, увидев его, могло нагнать только

привидение. Самый верный способ узнать, не отлетела ли душа, это отыскать свою тень, – вспоминает Габриэль. – Я ищу свою собственную тень, а может быть, и Маленький Срулик мертв, как и я, но только он не знает этого».

«Его веселость еще увеличилась, когда он посмотрел вокруг и не нашел ни одной сколько-нибудь заметной тени – ни своей, ни Маленького Срулика. В сероватом свете, пробивающемся сквозь вечные туманы, окутывающие северные города и скрывающие яркий глаз солнца, его глаза различали только мягкие оттенки и полутона, плавно сливающиеся друг с другом и не имеющие никаких четких очертаний».

Этой веселостью, скорее похожей на паническое пробуждение от сна, от лунатического равнодушия, когда внезапно во всей остроте видишь, до каких пределов ты опустился, завершается роман «Лето на улице Пророков».

ИСКУССТВО И ЭРОС – ДВА КРЫЛА ТАЙНЫ ЖИЗНИ

Физическая любовь, несущая в себе духовное слияние любящих душ, согласно Каббале – одно из главнейших чувств, которые пронизывают мироздание, сотворенное Богом. Эта тема в разных вариациях развивается в следующих за первым романах «Путешествие в Ур Халдейский», «День графини», удостоенном престижнейшей литературной премии Франции – премии Медисис в 1981 году, «Нингель», «День привидений». Но особенно широко тема любви, земной и вечной, освещена Шахаром в шестом и седьмом романах цикла (по выражению автора, главах, вратах) «Сон в ночь Таммуза» и «Ночи Лютеции».

Тему «вечной» любви, по Шахару, может выразить лишь искусство, окрыленное верой. В одном из интервью последних лет на вопрос: «Не кажется ли вам, что Габриэль Йонатан Лурия все еще не осуществил обещанное в начале своего пути?» Давид Шахар отвечает: «В конце шестого романа есть некое прозрение героя, а точнее, автора, которое я бы назвал «Судебный процесс, возбужденный потерянными раем против автора-творца». Подсудимый старается отдать себе отчет в отношениях между творцом и творением, между Создателем и его созданием. Это – главное в романе и, в определенной степени, во всей эпопее. Речь опять о внешней оболочке жизни и нагой душе под ней, о той «скорлупе» (*клипа*, скорлупа – еще одно каббалистическое понятие), которую человек пытается пробить всю свою жизнь».

Интенсивные поиски «тайны жизни» Шахар продолжает в седьмом своем романе «Ночи Лютеции». В том же интервью на вопрос: «Видите ли Вы сегодня некое завершение «Лурианы»?» – он отвечает вопросом: «Хватит ли мне жизни предать бумаге в рамках «Лурианы» всё то, что я бы ещё хотел написать?»

Один из героев романа «Ночи Лютеции» выражает свое отношение к французскому художнику Эжену Делакруа, вернее, к его полотну «Иаков, борющийся с Ангелом»: «Не только громоздкие

крылья этого существа... перестали меня интересовать, но и сама картина... выглядящая как пышная и зализанная декорация... Но само существование этой картины отдает чудом, неким тайным смыслом, попыткой понять это явление: как в новое время французский художник находит душевную необходимость отнестись к чему-то, что произошло некогда, тысячи лет назад... в маленьком племени пастухов, кочующих между пустыней и дальним краем Средиземного моря... Как это случилось, что нечто, написанное когда-то на языке маленькой горстки людей, заброшенных в дальний угол владеющей миром империи, и сегодня заставляет биться сердца тех, кто живет в ином обществе и говорит на ином языке...».

Жизнь – от мгновения до вечности – выразиима лишь искусством и любовью. Вот два крыла жизненной тайны.

И если автор останавливается перед этой тайной в бессилии, к ней продолжают пробиваться – праотец Иаков, художник Делакруа, красавица-цыганка Лютеция. Она говорит о любви, которую нельзя купить за все золото мира, о любви, как о чуде, которое мгновенно ускользает из рук, стоит лишь захотеть его поймать. Она говорит об этом на фоне той же картины Делакруа: ведь Иакова в ту ночь тоже пытается ухватить чудо: «Если я влюбляюсь, то всем сердцем, всей душой, всем своим существом». Лютеция во имя любви к писателю-цыгану давно отринула наследство вместе с «великой честью буржуазного статуса». Бывшая кальвинистка Лютеция ненавидит «христианское ханжество и всяческие церкви», но тайну своей любви открывает именно в церкви...

Давид Шахар перелопачивает весь мир – от Каббалы и ханаанского мировоззрения до христианской эзотерики, – чтобы посредством искусства, вдохновленного эросом, найти путь к тайне существования и веры. По сути, задача эта неразрешима. Такие романы, как «Лето на улице Пророков», «День графини», «Сон в ночь Таммуза», сегодня можно без всякого преувеличения назвать классическими в новой ивритской литературе, но, при всем при том, выясняется, что корни чуда борьбы Иакова с Ангелом следует искать не в Париже или в сонной бретонской деревне. Давид Шахар чувствовал это, борясь с самим собой в мире, к которому принадлежал, из всех сил стараясь не быть вытянутым из экзистенциальных глубин на поверхность рейтинговой суеты сует. (Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала его ведущим писателем на иврите, а во Франции он удостоился высшей награды – ордена Почетного легиона...)

Писатель, конечно же, мечтал о разгадке сокровеннейших тайн существования, но, как и сам он предполагал, на это ему собственной жизни не хватило...

ПРОЩАНИЕ С ПОЭТОМ

В Ташкенте умер поэт Рудольф Баринский. Умер не молодым – за шестьдесят, но и не старым – еще бы жить и жить, писать и писать.

Каждое новое имя в прозе – особенно, если прозаик в зрелом возрасте, – вызывает любопытство: что это за новое слово? Какой опыт за спиной у писателя? О чем он расскажет нам? Каждое новое имя в поэзии – особенно, если поэт не молод, – вызывает недоумение: он что же, вдруг начал писать или раньше не издавался? А если второе – то почему? Ведь времена, когда не печатали, прошли.

О "вдруг" говорить не будем – с поэзией Рудольфа Баринского мы, раскованные еврейской самоуверенностью и сравнительно либеральными временами молодые завсегдатаи литературно-театральных коловращений, познакомились более тридцати пяти лет назад. Тогда поэт как бы и не нуждался в публикациях – их заменяло авторское чтение в многочисленных компаниях, на вечерах, – как потом стали говорить, тусовках. Читающий нараспев, завышая тональность чтения все выше, будучи старше всех участников вечера – мэтр! – он неожиданно резко обрывал стихотворение безупречно выверенным на слух финалом, нередко парадоксально оспаривающим всю фабульную концепцию стиха.

Нет, он вовсе не был чужд некоего детского тщеславия "автора публикаций". Крохотная подборка стихотворений в "Звезде Востока", сборник детских стихов на двоих в местном молодежном издательстве и прочее в том же духе – всегда лежали на видном месте; дескать, вот, и меня печатают; а уж его истории о потрясающих отзывах всех мыслимых и немыслимых звезд российской словесности, истории, большей частью выдуманные, что было хорошо известно их невозмутимым от многолетней закалки слушателям, – давно стали частью иронического фольклора дружеского окружения поэта. Но километры вышаганной с ближайшими друзьями поэзии, снисходительная – мэтр! – оценка мощного впечатления, производимого этим чтением, – это была правда! Мир реальный был ему малознаком. Этот мир существовал лишь как повод уйти в себя, превращая в поэзию воспоминания послевоенной юности, жизнь своих друзей, неразрешимые моральные дилеммы советского времени. "Жить без пользы надоело, а для пользы не дадут!" – сформулировав это однажды для себя, он расплатился за нерешительность по самому высшему счету.

Это раздражало! Мы все, жившие рядом с ним много лет, чего только не делали, чтобы окунуть его в тугой водоворот коллективных эмоций, бытовых сотрясений и околотворческой суеты... он органически не мог быть частью коллектива! Любитель театральных компаний, родственных и товарищеских застолий, он даже там

– и весьма быстро – оказывался в самоизоляции, откуда выход был лишь на диалог с кем-нибудь одним через стихи, читавшиеся тут же, в углу, где поэт гасил шум и толчею магией поэзии, обволакивающей на какие-то мгновения и его, и слушателя.

Огромная часть его стихов посвящена конкретным людям, многие имена упомянуты в текстах стихотворений, и это естественно для поэта, чье самовыражение – диалогично, чей слух нуждается в отзыве, причем немедленно, тут же... Потребность, нет, не в оценке, не в реакции, а в соучастнике некоего таинственного ритмического действия приводила к ночным телефонным звонкам, когда слушатель (один!) – на том конце провода превращался в зрительный зал, поначалу – со сна – плохо соображая, что происходит, но сон очень быстро уходил, и власть напряженного, диктующего свою волю баритона отпускала лишь тогда, когда он – поэт – снисходительно отпускал вас в быт, сон, ночные и дневные реалии, во все то, что есть не поэзия, следовательно, – не жизнь, не дух, не существование!

А мы еще ворчали: "Рудик, ну дай поспать!"

Путешествия по пространствам превращались в парение духа. Ленинград, куда он несколько раз приезжал погостить, становился Петербургом ушедших столетий, как будто поэт прожил всю свою жизнь там, и в те самые времена! Это был странный театр, где актер, режиссер и зритель сливались в одно, и лишь понимание обреченности попытки уйти от своего времени выводило поэтический образ из стилистической мистификации.

Уникальный в своем космополитизме Ташкент, с его почти семейной свободой общения и отсутствием кондиционеров (что приводило к вышагиванию бесед по вечерним улицам, где даже самые неосвещенные места не могли быть опасны), этот Ташкент стал органической средой существования исповеди, азиатско-светской альтернативой советско-державному холоду. Ташкент был для Баринского абсолютно своим, как будто природным убежищем, что так воодушевляло поэта в шестидесятых, но стало для него непреодолимым барьером в девяностых.

С Израилем получилось иначе. Рудольф Баринский был ошеломлен своей неготовностью к пониманию страны. Там – ему все было понятно, это было – его, от детства до вымученной зрелости со всеми драмами перехода. Здесь – все другое. Ему показалось, что слишком много придется изменить в себе, чтобы остаться самим собой. К этому он не был готов. Он умер в Ташкенте, внезапно, не оставив нам времени, чтобы понять, кто же был все эти годы рядом с нами – и под запыленными кронами аллей, и в телефонной трубке ночных рифмованных исповедей, и потом, недолго, в гостях – под бездонной чернотой шомронского неба.

Это – особенно если речь идет о человеке исключительном, всегда бывает внезапно. Увы... Внезапность потери еще никого и ничему не научила. Но мы, слава Богу, живы не только задним умом, но и той высотой духа, которая нам – в завещание – остается от поэта.

Игорь МАРКОВ

Рудольф Баринский

Я ЦЕЛОВАЛ БОСЫЕ НОГИ СЛОВА

ГАЛЕВИ

Я не люблю кастильской розы куст,
Хотя весной его цветенье дивно.
Но розовая алчность этих уст
Под старость лет душе моей противна.
Не возбудит волнения в крови
Его цветенье под весенним небом.
Я не был верноподданным любви,
Рабом желаний собственных я не был.
Себе ни разу в жизни не солгал,
Я целовал босые ноги слова.
Я жил. Я мыслил. Я существовал
Под неусыпным оком Иеговы.
Мне было больно — я хранил свой крик,
Мне было страшно — я не падал духом.
Я б лучше вырвал собственный язык,
Чем стон ловить свой почерневшим слухом.
И, если правда есть, то, видит Бог,
Мне низость не служила одеяньем.
Родившийся в изгнании, мой слог
Ни разу не молил о подаянье.
Мне не грозит богатство. Дом мой пуст.
Разграблен храм, как будто Бог здесь не был.
Я не люблю кастильской розы куст
Под чужеземным мне испанским небом.

* * *

Топай, топай, тополь,
По кривой дороге
То ли в Мелитополь,
То ли к Таганрогу.

Ты иди по селам
Украинским краем,
Там в земле веселой
Дед лежит мой, Хаим.

* * *

С этого момента не клади поклоны.
Пуля метит в ментик – попадает в клены.
И бежать от смерти нет резона вовсе.
Пуля в сердце метит, попадает в осень.

Зачернеют галки над осенним лугом,
Будет пуле жалко метить в сердце друга.
Жизнь твою отмерят секунданты строго,
Пять шагов к барьеру – это даже много.

По осенним тропам тихо, дождик, сейся,
Пуля метит в клены – попадает в сердце.
Что-то очень быстро жизнь пошла по кругу,
Сухо грянет выстрел – и не станет друга.

* * *

Император едет в Павловск,
Охраняем и храним.
Император едет в Павловск.
Свита следует за ним.

Вот проехали заставу.
Вот столица позади.
Что там слева? Что там справа?
Что там будет впереди?

Золотого солнца парус
Тихо движется в зенит.
Император едет в Павловск.
Свита шпорами звенит.

Месяц май стоит в природе.
Облака роняют пух.
И не надо о свободе
И ни тайно, и ни вслух.

На Руси любому тяжко.
Как и нынче, так и встарь
Под кнутом в одной упряжке
И холоп, и Государь.

И совсем не в этом дело.
Суть не в том, кто правит суд.
Жить без пользы надоело,
А для пользы – не дадут.

Пораженья и победы –
Все растает, точно дым.
Император в Павловск едет.
Свита следует за ним.

1978

* * *

Я рос в квартире коммунальной,
Где чад стоял средь бела дня,
Где свет небес в окошке дальнем
Не проливался на меня.

С утра кастрюли и корыта,
Их грохот до сих пор не стих.
Здесь крыша русским словом крыта
Соседок яростных моих.

Здесь спорили и те, и эти,
И пили водку, погода.
Качалась на волнах столетья
Здесь коммунальная ладья.

Ее железами латали.
Варили щи. Давили вошь.
Здесь предпочтенье отдавали
Сукну армейскому. Ну, что ж!

Оно надежней в носке было.
Его любил Великий Вождь.
И потому сукно носила
Россия вся и в снег, и в дождь.

Была на френч армейский мода
Всем западникам вопреки.
И лишь одни враги народа
Донашивали пиджаки.

Но, видно, боги нас хранили,
И с нашим верным Рулевым
Тридцать седьмой мы переплыли
И подошли к сороковым.

И распахнулись настежь двери.
И в тот же миг, и в тот же час
Мы стали братьями по вере

И сестрами, еще не веря,
Что это сказано про нас.

Да, видно, боги нас хранили,
Хранили коммунальный быт.
Чего мы только не носили,
Какие пиджаки не шили,
Что до сих пор в глазах рябит.

Ах, этой линии свободной
Простой покроей судьбы народной,
В котором время учтено.

Не дай нам Бог, чтоб стало модным
Опять армейское сукно!

1982

* * *

Теперь отсюда, только вот куда:
Считать свои конечные года
До самой до последней остановки?
В Кейсариин красиво, как всегда.
Стучат по камню каблучков подковки,
И солнце припекает без стыда.

В театре Ирода сегодня ни души,
Ну, точно мы с тобой в такой глуши,
Которую не отыскать на карте.
Но вот афиши говорят, что завтра
В театре Ирода, в том каменном театре
Балет английский, аглицкий балет.
В лицо нам дует ветер кейсарийский.
Он рвет афиши с языком английским,
В котором нам с тобою места нет.

1996

* * *

Мы едем в Иерусалим,
Туда, где синее над ним
Не выцветает небо.
По обе стороны шоссе
Леса сосновые в росе,
Поля и запах хлеба.

Дорога вьется меж холмов,
Где черепичный верх домов,
Почти как у Ван-Гога.
Там ослик тащит на себе
По той извилистой тропе
Какой-то скарб убогий.

На перекрестке двух дорог
Ветхозаветный ветерок
И пряный привкус мяты,
И тоненькая, как лоза,
Скосив библейские глаза,
Девчонка с автоматом.

1996

* * *

Вот так и жить. Читать Тору в субботу,
Под кожей, в тисненном переплете,
И свечи золотые зажигать.
А в остальные дни, как и ведется:
По-русски материться с инородцем,
И по привычке страшно власть ругать.

1996

* * *

В Иерусалиме, может,
или возле Цфата,
где, даст Бог, я буду тоже
все равно когда-то,

где в субботу стеарином
оплывают свечи,
где живет мой друг старинный,
как и я, не вечен,

даже в это время года,
я себе толкую,
там – приличная погода,
нам бы здесь такую.

Нам бы здесь тепла немного,
радостей житейских,
чтобы высохла дорога
от дождей апрельских.

1993

Михаил Агурский

ЭПИЗОДЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Я ткнулся в некоторые институты, но евреев уже не брали. Осталось только программное управление. Года два назад меня звал к себе руководитель лаборатории программного управления крупного почтового ящика Лев Макаров, который тогда редактировал мою книгу. Макаров казался мне интеллигентным, собранным человеком, и в минуту слабости я позвонил ему, спросив, остается ли в силе его прежнее приглашение.

— Конечно! — подтвердил он и пригласил на переговоры. Макаров работал в Научно-исследовательском институте технологии машиностроения, который был головным технологическим институтом Министерства общего машиностроения, выпускавшим ракеты и космические корабли. Попастъ туда еврею было трудно, но дискриминация, начатая Келдышем в Академии Наук, еще не распространилась на военную промышленность.

Я мало верил в реальность этого варианта, да и не особенно хотел его. Это было на всякий случай.

Все попытки, однако, устроиться в другие места проваливались одна за другой, и тут я получил сообщение от Макарова, что меня берут в НИИТМ. Это означало, что я снова прошел проверку КГБ, которое опять не выдвинуло против меня возражений.

Я воспринял это фаталистически, может быть, так и надо было, ибо не знал, как развернутся события в будущем. Если бы я не пошел в военную промышленность и уехал, как и все, в 71-м году, то хлебнул бы в Израиле много горя.

2 января 69-го года я вышел на работу в НИИТМ. Уже через день-два мне захотелось оттуда бежать куда глаза глядят. Такого со мной еще не бывало. Это было самое бесполезное, самое кафкианское из всех моих мест работы.

Ситуация напоминала детскую игру "Цирк", где, кидая фишки, игроки стремятся, преодолевая разные препятствия, добраться наверх. Вот ты уже у самой цели, но фишка выводит на трапецию, и ты возвращаешься к исходной точке.

Я утратил свободу, утратил досуг, не смог закрепиться на интересующей меня работе. Каждый день я должен был ездить в Марьину Рощу час с четвертью с двумя пересадками в битком набитых автобусах. Но хоть бы работа была стоящая!

Я целый год изучал макроэкономику, философию науки, управление научно-исследовательскими работами, я понял, что весь НИИТМ с его несколькими тысячами сотрудников — никому не нужная паразитическая организация, от закрытия которой все только выиграют.

БУНТ РАБОВ

*Из угрюмого здания цирка,
Что стоит у Центрального рынка,
Убегают, все пути распутав,
Двое маленьких злых лилипутов.*

Илья Рубин

В то время, когда я переходил в НИИТМ, до меня стали доходить первые слухи об организованном сионистском движении. Организованном в том смысле, что люди действовали не в одиночку. Я не был в их числе. Я не верил еще, что отъезд может осуществиться в нормальной обстановке. Я ожидал драматических событий. Поэтому соображение, что работа в военной промышленности может помешать моему отъезду, меня не тревожила. При наступлении таких событий не имело бы значения, где я работаю. Кроме того, когда я поступал в НИИТМ, в первом отделе мне сообщили, что я не имею права ездить за границу два года после ухода из института. Стало быть, худшее, что мне грозило, как я думал, — это ждать два года после увольнения.

По существу же, в стране хотели обратить евреев в сословие рабов. Нельзя было ожидать, что народ, давший уже при советской власти и политических лидеров, и дипломатов, и военачальников, и хозяев экономики, согласится возвратиться в униженное состояние сословия, высшей мечтой которого было бы получить должность зав. лабораторией в ЭНИМСе или старшего научного сотрудника в ИАТ. Евреи были задавлены и унижены в гораздо большей мере, чем все остальное население. Народ был лишен корней и покатился, как перекасти-поле. И рабы взбунтовались. Наслушавшись передач "Голоса Израиля", ослепленная победоносной славой Израиля, группа особо отчаявшихся стала биться головой об стенку. Я тоже был раб, но еще боялся к ним примкнуть. Была большая группа идеалистов, даже фанатиков, но, как я теперь понимаю, многие из них не могли бы приспособиться ни к какому режиму. Такие люди полагали, что их личная неприиспособленность является следствием угнетения и унижения. Может быть, так оно и было, но этого уже нельзя было исправить. Мудрые слова Филарета, что нельзя решать свои внутренние проблемы внешним способом, оправдывались. Я не был ориентирован на то, чтобы решать свои проблемы переселением в другую страну. У меня были другие мотивы. Я мог приспособиться к разной обстановке, но и этому был предел, как я вскоре убедился.

НИИТМ

*Советские ученые внесли в науку вклад,
Пустив электростанцию в пять тысяч киловатт.
Стоит электростанция, могуча и сильна,
На атомной энергии работает она.*

Сергей Михалков

НИИТМ был создан искусственно в силу внутренней динамики советского военно-промышленного комплекса. Устинов, стремясь расширить базу личной власти, был заинтересован в увеличении числа министерств военной промышленности, которую он опекал.

Известно, что в США авиационная и ракетная промышленности не отделены друг от друга, ибо специфика ракетной промышленности заключается лишь в сборке ракет, а, вернее, в их испытательных стендах. Одна и та же американская фирма имеет и авиационное, и ракетное производство.

Исходя из чисто бюрократических соображений ракетная промышленность была выделена в СССР из авиационной, в результате чего были продублированы все административные и вспомогательные службы. В каждом министерстве полагается иметь головной технологический институт. Был он, конечно, и в авиационной промышленности в виде НИАТа, который я упоминал в связи с ЭНИМСом, точнее, в связи с письмом Владзиевского-Воронова. НИАТ был старым квалифицированным учреждением. НИИТМ же был организован из людей, понятия не имевших о производстве летательных аппаратов. Его основой послужило бывшее конструкторское бюро патронной промышленности. Работники новых ракетных заводов, административно оторванные от авиационной промышленности, понимали, что в лице НИИТМа они имеют дело с самозванцами и говорили это в лицо. Они предпочитали пользоваться услугами НИАТа с черного хода. Но они научились также и использовать его в своих целях. Они нарочно, выбирая самые неразрешимые проблемы, заключали с НИИТМом договоры на специально завышенные суммы, заранее зная, что ничего выполнено не будет. Но это невыполнение давало им основания оправдывать срыв той или иной задачи отсутствием должной помощи со стороны НИИТМа. В результате НИИТМ чудовищно и неестественно разрастался.

Макаров, показавшийся было мне интеллигентным специалистом, оказался тупым, невежественным интриганом. В одной его лаборатории числилось более 100 человек, и хотя все они много работали, их фактическая деятельность была отрицательной.

Лаборатория проектировала ненужные собственные системы программного управления, хотя могла пользоваться тем, что сделал ЭНИМС или НИАТ. Чтобы оправдать это, придумывались теории о специфичности ракетной промышленности в отношении программного управления, хотя никакой такой специфичности, конечно, не было.

Лозунгом Макарова было:

Говорить одно, думать другое, а делать третье!

Это был чисто сталинский подход. Вероятно, Макаров был также связан с ГБ, поскольку первым распространял различные провокационные слухи.

Когда стало известно о бегстве Анатолия Кузнецова, Макаров тут же пустил слух, что Кузнецов – еврей и его настоящая фамилия – Зайчик.

Но он был пигмеем по сравнению с главным боссом – главным конструктором Михаилом Ивановичем Ковалевым. Ковалев был хитрый, сметливый, но технически безграмотный мужик, под начальством которого было 600 человек. Чтобы бдительно охранять свои тайны от возможных конкурентов, он держал в своем большом кабинете старого еврея (тот же прием, что у Владзиевского и Трапезникова), который один имел право отвечать по телефону в его отсутствие, а также присутствовать при всех его разговорах. Ковалев не пропускал ни одного изобретения своих подчиненных, чтобы не навязать своего соавторства, и набрал столько авторских свидетельств, что заработал звание заслуженного изобретателя. Это был наглый профессиональный эксплуататор.

Поразительно, как он обращался с секретарем парторганизации! Обычно парторг института исключительно влиятельный человек. В НИИТМе он был посмешищем, и Ковалев мог выгнать его из кабинета, обругав при всех.

Когда я поступал в НИИТМ, я не знал точно, чего от меня хочет Макаров, но быстро понял. В НИИТМе почти не было технически грамотных людей, знавших иностранные языки. Как и во все "ящики", туда сбивались серые люди, получавшие там более высокую зарплату. Но, как я быстро убедился, работа в "ящике" для динамичного человека была невыгодна, ибо лишала его всевозможных приработков: лекций, консультаций, публикаций. Ничтожная публикация, чтобы получить разрешение, должна была пройти чудовищные барьеры, так что охота публиковаться отпадала. Все динамичные люди рано или поздно уходили из "ящиков" либо в гражданскую промышленность, либо в Академию Наук, либо в учебные институты. В "ящиках" оседала серость. Были, конечно, исключения, но немного.

Макаров хотел, чтобы я стал чем-то вроде ученого еврея по составлению высокоумных записей, отчетов, а, может быть, и писания для него книг. Первое же задание меня глубоко возмутило. Макаров получил много денег на разработку токарного станка с программным управлением, не сделав, по сути, решительно ничего. Он хотел оправдать себя псевдонаучным отчетом, в котором доказывалось бы, как в результате якобы большой работы была установлена нецелесообразность разработки.

Ковалев вначале меня не знал, но месяца через два приказал:

– Будешь работать только для меня, – и Макаров прикусил язык.

Я начал составлять проекты новой структуры отдела, его штатных расписаний, писал предложения по технологической политике

ракетно-космической промышленности и даже составил проект постановления Совета Министров СССР о развитии программного управления, который после незначительных изменений был утвержден и подписан Косыгиным.

Коллегой моим и соседом в отделе оказался один из немногих евреев НИИТМа Илья Иоффе, работавший здесь лет тридцать. Когда-то он был толковым конструктором, но давно превратился в фантастического бездельника и неудержимого болтуна. Он практически ничего не делал, но Ковалев и Макаров покровительствовали ему по старой дружбе. Впрочем, у Иоффе был козырь. Он был один из двух (кроме меня) сотрудников отдела в 600 человек, который понимал английский. Будучи человеком толковым, он мог разобраться в иностранной статье. Иоффе был скептиком, ничему не верил, слушал иностранные "голоса". Когда скинули Дубчека, он сказал:

– Сила солому ломит.

Израилю он сочувствовал, но главным его интересом был спорт. Этот пожилой еврей был страстным болельщиком и выполнял важную функцию в отделе в качестве спортивного комментатора. Иоффе не давал мне жить. Он то и дело поворачивался ко мне и втягивал меня в бесконечные разговоры.

Впереди него сидела пожилая женщина в должности главного специалиста, таких было в отделе три человека. Ей оставался год до пенсии.

Рядом сидела конструктор, дочь знаменитого полярного летчика Леваневского, про которого во время войны ходил слух, что он якобы перелетел к немцам. Был еще парень, славившийся тем, что в свое время ухаживал за дочкой Суслова. Один золотушный техник с дегенеративным лицом, записавшийся в дружинники, вслух мечтал о том, чтобы уйти в милицию. Он носил с собой кассеты и признавался, что испытывает удовольствие, когда ему удастся избить задержанного. В конце концов, двери отверзлись, и его взяли в милицию. Такими не бросаются.

В НИИТМе царила паранойя секретности. Мало того, что все здание тщательно охранялось и войти туда можно было только по пропускам, соблюдался принцип, согласно которому все сотрудники не должны были друг другу доверять. Большое количество так называемой секретной документации хранилось в первом отделе. Ее можно было получить только под залог пропуска до конца рабочего дня. Были особые блокноты с пронумерованными страницами. Их брали также до конца дня и в них заносились "секретные" записи. Имелось два машинописных бюро: секретное и несекретное. Секретное перепечатывало содержимое блокнотов. Ни одну бумагу, считавшуюся секретной, нельзя было оставлять на столе, уходя даже на несколько минут. Документы, блокноты и т.д., взятые из первого отдела для работы в своей комнате, нужно было нести скрыто, за пазухой, чтобы люди, попадавшие в коридоре, не могли об этом догадаться и силой завладеть секретами отечества. По сравнению с теми организациями, где я работал раньше, НИИТМ выглядел аракеевской

казармой. Я поставил себе целью уйти из НИИТМа сразу после защиты, которая затянулась из-за очереди.

Но и в этом мире было вольномыслие, открыто существовавшее в стране повсюду. В стенгазете отдела вычислительной техники была помещена статья, где весьма откровенно высказывалось сомнение в целесообразности вторжения в Чехословакию. Когда в 69 году началась Война на истощение, и советские газеты стали перепечатывать фантастические египетские сводки о неимоверных израильских потерях, я был свидетелем любопытного разговора, правда, не в НИИТМе, а на знаменитом предприятии в Подлипках, где ранее был генеральным конструктором Сергей Королев, и которое проектировало космические корабли.

В отдел главного технолога, где сидело человек двадцать, вошел сияющий жлоб и с торжествующим видом стал перечислять израильские потери.

— Ну, теперь все пойдет иначе, — потирал он руки.

Но его ликование было испорчено русской женщиной (там все были русские), которая насмешливо заметила:

— Сколько мы это слышали! И сотни сбитых самолетов, и сотни подбитых танков. Я в это нисколько не верю.

Я помалкивал. Но у себя в отделе не скрывал симпатий к Израилю и старался вставить словечко о его достижениях. Однажды я сказал, что Израиль разрабатывает свой самолет. Я слышал об этом по радио. Речь шла о заводе в Бейт-Шемеше. Я понимал, что завод авиационных двигателей не может не быть частью системы производства всего самолета. Парень, которому я это сказал, хотел поднять меня на смех:

— Не может быть!

— Увидишь!

Я не прерывал, однако, после своего перехода в НИИТМ ничего из того, что начал раньше. Договорившись с Питиримом, я написал большое историческое исследование об антирелигиозной кампании 22-го–23-го годов, затеянной Лениным и Троцким и парализованной Сталиным, Зиновьевым и Каменевым. Сталин в особенности желал дискредитировать детище Троцкого, христианский радикализм, т. н. "обновленчество", и восстановить консервативную, этатистки ориентированную традиционную церковь. В этом и был истинный секрет неожиданного освобождения патриарха Тихона в 23 году. Это было очень серьезное поражение левого коммунизма. Зиновьев и Каменев, помогавшие Сталину, не отдавали себе отчета в том, каковы будут последствия всего этого дела.

На эту работу у меня ушло полгода. Вечера я проводил в библиотеках, куда отправлялся сразу после НИИТМа. Это исследование резко расширило мое понимание двадцатых годов советской истории.

НОВЫЕ СВЯЗИ

*Гонят холод в прошлое
Вешние лучи,
Не кропают дошлые
Справки стукачи.
Бороденки длинные
Носит стар и млад.
Речи прогрессивные
Шпарит либерал.*

Александр Зиновьев

После переезда в Беляево-Богородское я обнаружил там многих людей, с которыми у меня были общие знакомые. Постепенно в районе создался свой микромир. Одно из центральных мест занимал Юра Глазов, изгнанный из Института востоковедения за подписание. Он, в частности, подписал особо известное письмо, адресованное коммунистическому Совещанию в Будапеште. Дом Глазова был всегда открыт и напоминал проходной двор. Знакомство с Глазовым было для меня первым явно диссидентским контактом, от которых я ранее воздерживался. Юра описан в книге Дэвида Бонавия, и я не хотел бы его повторять. В это время Глазов начал склоняться к христианству, в чем активно поддерживался Мишей Меерсоном.

Юра мог неожиданно встать посреди разговора и предложить:

– Ну, а теперь, давайте помолимся, – и начинал вслух читать "Отче наш".

Должен сказать, что к таким вещам я не привык. Никто из моих церковных знакомых не сделал бы такого. Молитва на людях, если только она не является частью обряда, как, например, освящения еды, дело интимное. Кстати, в 62 году, изучая Соловьева, который в конце жизни порвал с Львом Толстым, я нашел многие примеры того, как Толстой злоупотреблял молитвой на людях, даже позировал Репину во время молитвы.

Мотто Юры была духовность и, когда он рационализировал свой разрыв с кем-либо, обычно он ссылался на ее отсутствие у оппонента. Юра целиком жил в мире Самиздата и укоризненно посмотрел на меня, когда убедился, что мир этот имеет для меня второстепенное значение, что я живу среди идей, независимо от того, напечатаны они типографским способом или на пишущей машинке.

Юра был центром общественного беспокойства, вокруг него капились постоянно какие-то валы. Его стали даже облыжно обвинять в сотрудничестве с ГБ, и накликал он это на себя лишь странностями своего поведения. За ним устроили добровольную слежку и заметили, что по вечерам он иногда стоит у окна, в то время как напротив в поле кто-то якобы помахивает фонарем. Были и другие, подобные этим, шизофренические обвинения.

Глазов был полуеврей и тогда еще не допускал мысли об Израиле, не считая себя евреем.

Неподалеку от Глазова жил известный поэт Наум Коржавин (Мандель), среди предков которого, говорили, были цадики. Коржавин постоянно торчал у Глазова. Наум еще не был полностью исключен из официального мира, и, хотя его стихи уже не печатали, но неплохая его пьеса "Однажды в двадцатом" шла время от времени в Театре им. Станиславского и пользовалась в Москве большой популярностью.

Наум рвал и метал. В минуты особого возбуждения он начинал бегать взад-вперед, судорожно потирая руки и изрыгая проклятия. Он полностью утратил душевное равновесие, что не давало возможности работать. Политическое диссидентство просто загубило его как автора – из-за его повышенной эмоциональности. Дома у него жил молодой одессит Саня Авербух. Он скрывался от властей, будучи уже сионистским оперативником. Саня всех знал, часто ездил в Ригу, его имя с уважением произносилось в русской программе "Голоса Израила". Саня имел вид профессионального революционера-подпольщика. В свое время он был исключен из института и высшего образования не имел. Саня писал стихи, но его главным личным талантом была телепатия. Как и Куни, которого я видел в 53 году в Калининвичах, он мог угадывать местонахождение спрятанных предметов и вообще обладал незаурядной интуицией. Узнав, что я сионист, он стал немедленно на меня давить.

- Подавай заявление на выезд, – требовал он.
- У меня же в Израиле нет родственников!
- Чепуха! – смеялся Саня, – ни у кого нет! Придумаем!
- Ты знаешь, где я работаю? Уйду оттуда и года через два подам. Так они меня никогда не отпустят.
- А ты Слепака знаешь? У него была работа почище твоей, а уже подал.

Санькина сионистская пропаганда падала на благоприятную почву, но я пока не делал практических выводов.

В одном доме с Коржавиным жил математик Коля Н. Его доминирующим качеством было необыкновенное, профессиональное, сказал бы я, ехидство и всепоглощающая страсть к practical jokes, в чем он был неутомим. Был я с ним как-то на лекции известного биолога в Вычислительном центре Академии Наук. На таких лекциях обычно раздают бланки, куда нужно внести свое имя и название организации, где ты работаешь. Коля записался дважды разными почерками – под именем знаменитого основателя теории множеств Георга Кантора, жившего в XIX веке (выглядело это так: Г. Кантор, Академия Наук ГДР), а затем под именем Г. Менделя – Чехословацкая Академия Наук.

Замечу, что страсть устраивать "покупки" широко культивировалась среди московской интеллигенции и имела глубокие корни. После войны этим славились артист Хенкин и композитор Никита Богословский. Потом большую знаменитость приобрел на этом поприще известный физик, академик Мигдал. Как-то, переодетый в форму пожарника, он явился с брандспойтом в руках на еженедельный семинар знаменитого Петра Капицы и, по примеру матроса Железнякова, разогнавшего Учредительное собрание в 18-м

году, глухо сказал виднейшим физикам, собравшимся в зале:

– Освободить помещение! Здесь будут проходить занятия пожарной команды!

Академики и профессора пробовали роптать, но Мигдал быстро выпроводил их вон.

Мой старый знакомый, художник Боря Алимов, рассказывал, как целая компания сговорилась познакомить Дуракова с женщиной по фамилии Дурасова. Удовольствие заключалось в моменте, когда представляемые называли друг другу свои фамилии.

Во всем этом была определенная компенсация за бесправие и, возможно, даже и некоторая истерия, но, повторяю, трудно понять жизнь советской интеллектуальной элиты без этого культа practical jokes, анекдотов, острот, "покупок". В этом, кстати, ключ к правильному пониманию Александра Зиновьева. Люди не жалели времени, а подчас и больших денег на различные инсценировки. Лучшие истории входили в фольклор. Было много людей, не произносивших слова в простоте. И Коля был из них. С его лица не сходила ехидная улыбка, он все время находился в поисках жертвы.

Одним из любимых его занятий было чтение вслух поэмы Леонида Мартынова о том, как поэт Бальмонт читал публичную лекцию до революции в провинциальном городе Омб (Омск) и тем побудил, сам того не зная, к действиям местного анархиста. Любил он очень и Сашу Черного.

Другой мой сосед, математик Валя Турчин, был уже очень известен как соавтор письма Сахарова и Роя Медведева. Он тоже занимал видное место в когорте московских остряков и покупателей и имел в этой области незаурядный талант. В свое время он работал в Обнинске и был одним из четырех составителей крайне популярного сборника "Физики шутят". Когда я с ним познакомился, Турчин был доктором физико-математических наук и работал в институте Келдыша.

Валя был большой оригинал и самобытник. Как и я, он глубоко интересовался теорией эволюции и заканчивал рукопись "Инерция страха", где изложил любопытную кибернетическую теорию общества и эволюции. Уверен, что Турчин, наряду с Зиновьевым, является одним из самых серьезных и блестящих умов, выдвинутых русской интеллигенцией в наше время.

Особое влияние оказала на меня супружеская пара философов – Юра Давыдов и Пиама Гайденоко. Они отлично знали современную западную философию. Юра – специалист по новым левым, а Пиама – по экзистенциализму; тогда она уже опубликовала книгу о Кьеркегоре. Они были разочарованы в диссидентстве, а я, кстати, никогда к нему и не принадлежал, хотя и был, как и они, неконформист. Их отпугнула саббатинская богема, к которой они на короткое время примкнули.

Были у нас и разногласия. Пиама написала статью против Леонтьева в "Вопросах литературы", а я Леонтьева любил не столько за содержание, сколько за интеллектуальную независимость и способность идти против течения. У них я встречал многих философов, писателей и критиков. Среди их друзей, тоже живших по

соседству, был талантливый литературовед и большой оригинал Юра Гачев, сын болгарского коммуниста, сгинувшего в период чисток. Как и Даниил Андреев, он старался ходить босиком, купил избу по старой Калужской дороге и вообще делал только то, что хотел.

Там же я познакомился с Юзом Алешковским, тоже жителем Беляева. Известный писатель, в своем кругу он славился как гроссмейстер по матерщине. Его университеты были в воркутинских лагерях.

От Юры и Пиамы я впервые услышал о реальном существовании прототипа солженицынского Сологодина, Дмитрия Панина, которого те очень хвалили, со смехом рассказывая о его планах основания рыцарского ордена и ссылке всех неверующих на благоустроенный, но не обитаемый остров. Панин, по их словам, был русский католик, и я сразу отнесся к этому подозрительно, и вовсе не из вражды к католицизму. Я говорил выше, как увлекала меня в свое время жизнь Эдит Штейн или же личность Даниэля Руфейзена. Я замечал выше, что религия у советской интеллигенции, уже широко вошедшая в моду, превратилась в ницшеанскую дубинку, в мандат на элитарность. Этот мандат давал право презирать "бесов", "материалистов", "врагов Божиих". Со временем стало ясно, что интеллигентных православных в России все же много, и, кроме того, оставался вопрос о десятках миллионов православных простолудин.

Авторитарную личность это не устраивало, ибо понижало возможность самоутверждаться. Русский же католицизм давал полную элитарность.

Одним из самых удивительных жителей Беляево-Богородского был исключительно симпатичный человек, много лет проводивший на работе в одной из коммунистических стран. Там он попал под влияние католического епископа, что не помешало ему стать глубоко верующим православным, оставаясь, к тому же, формальным членом партии. Он стал аскетом, не расстававшимся с творениями святых Отцов.

Жилые кварталы Беляево-Богородского находились совсем недалеко от нового Университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Университет этот готовил кадры для советского проникновения в так называемый "третий мир". Поэтому всем жителям нашего района постоянно приходилось соприкасаться со студентами из "третьего мира".

В нашем районе можно было наблюдать настоящий звериный расизм. Как-то поздно вечером ждал я автобуса на остановке около рощи, окружавшей университет. Стоял, кроме меня, студент негр и пожилой мужчина в длинном старом пальто. Автобуса долго не было, и негр, не утерпев, ушел пешком.

Пальто сердито спросило меня:

- Чего он здесь делает?
- Как что? Учится.
- Учится! А ночью на остановке что делал?
- Автобуса ждал.

– Автобуса ждал! Старого чекиста не проведете! Я-то знаю, что он делал: проходящие машины считал! И вообще, что они у нас делают? Нечего им здесь делать!

– Ведь и мы у них бываем.

– Мы – другое дело. Нам можно. А им нельзя!

Одна дама при мне сказала в автобусе довольно интеллигентному африканцу, который ее чем-то не устроил:

– Вам здесь не обезьянник!

– Хуже! – нашелся африканец.

В другой раз контролер троллейбуса хамски привязалась к невзрачному арабу, обвинив его в обмане. Я не выдержал и вступился...

ПО СЛЕДАМ ОТЦА

В марте 69 года вышел перевод воспоминаний моего отца о Ленине в "Советиш геймланд", и я тут же получил письмо из Гродно от незнакомого мне некоего Обермана, просившего меня от имени немногих оставшихся там евреев передать материалы об отце в Гродненский музей. Он уже обращался туда, однако, директор "дал понять, что сын Агурского не проявил должного внимания к увековечению памяти своего отца".

Я был возмущен и тут же написал Оберману письмо, объяснив, как именно обстояло дело, и что именно я обратился в этот музей несколько лет назад и, по существу, не получил ответа. Оберман вскоре сообщил, что показал мое письмо директору музея, который заявил ему, что ждет от меня материалов, и что напишет мне.

"Что касается причин, – писал Оберман, – почему дирекция музея не ответила на Ваши письма, мне сказали следующее: тов. Агурский высказал пожелание, чтобы обеспечили его семью дачей на месяц (или более)".

Оберман просил меня всячески "пойти навстречу" музею.

Я прямо задохнулся от ярости! Конечно же, не эта идиотка из музея, просившая у меня кожаную куртку, способна была придумать такую злобную клевету. Это могло идти только от натренированных в клевете и дезинформации партийных работников Гродненского обкома, которые, по инструкции из Минска, стремились во что бы то ни стало не допустить даже упоминания того, что в Гродно жили евреи, да еще участвовали в революции. Это мне-то, москвичу, нужна дача в Гродно! Письма от директора я, конечно, не получил.

В то же время я узнал, что известный журналист Савва Дангулов собирает материалы о связях Ленина с Америкой. Я позвонил ему и спросил, знакома ли ему фамилия отца. Он ничего не знал, но сразу согласился приехать. Через некоторое время Дангулов упомянул отца в "Правде" и опубликовал о нем очерк в "Дружбе народов", который включил позднее в сборник своих очерков "Двенадцать дорог на Эгль". Видно было, что он копался в закрытом архиве Ленина и читал записи бесед отца с Лениным.

БУБЕР

По рекомендации Ведерниковых ко мне обратился архиепископ Минский (ныне митрополит Ленинградский) Анатолий (Мельников), назначенный по линии Всемирного Совета Церквей в Комиссию по диалогу с иудаизмом.

Вероятно, я лучше него знал положение вещей, хотя от Михаила Занда он узнал бы больше. Владыка Антоний был человек очень интеллигентный и мягкий. Встретились мы в московской гостинице "Советская". Я посоветовал ему прочесть Бубера, но предупредил, что Бубер не признается ортодоксальным иудаизмом, и что вообще, прежде чем вступать в диалог с религиозными евреями, стоило бы проверять их credentials. Я крайне сомневался, что среди его партнеров по диалогу будут ортодоксальные евреи, что, разумеется, и обнаружилось.

Бубера на русском языке не существовало, и я легко убедил владыку финансировать перевод одной из его книг. Кроме прочего, мне хотелось этим помочь одному бедствующему диссиденту, полагая, что он может сделать отличный перевод, в чем я, как оказалось, заблуждался.

СМЕРТЬ ИЗРАИЛЯ ГНЕСИНА

*На шоссе шуршат машины,
В магазинах толчея.
Все прошло, Абрам Пружинер,
На исходе жизнь твоя.
Ты скрываешь раздраженье;
Непочтеньем оскорблен.
Хоть к особому снабженью
И к больнице прикреплен.*

Наум Коржавин

Израиль Гнесин впал во фронду. Он был страшно разозлен, что ему приходится с мучениями подыматься на 5-й этаж на костылях. Несколько лет он просил райком поменять жилье, но безуспешно. Он уже был непрочь поговорить на скользкие темы. К Израилю-стране он относился с симпатией, все же ворча, но не сильно. Но к любым разговорам о христианстве относился враждебно.

Раз у него собрались старые белорусские большевики-меньшевики. Их еще оставалось десятка два в Москве. Свадебным генералом среди них был мой старинный павлодарский знакомый Абрам Бейлин. Но слава земная – преходяща.

Где стол был яств, там гроб стоит.

В Москве начала циркулировать рукопись Евгении Гинзбург "Крутой маршрут", где Бейлин был описан как ее злой гений во время чисток в Казани. Он-то ее и посадил. Старые меньшевики стали обходить Бейлина стороной, он стал объектом обструкции.

Настроение Израиля изменилось, когда ему, наконец, дали однокомнатную квартиру в Кузьминках и прикрепили к парторганизации Ветеринарной академии, находившейся по соседству. Он тут же выпрямил свою партийную линию и перестал колебаться. Но большим фанатиком все же не стал. Что вы хотите от человека, который дома говорил по возможности только на идише? Он по-прежнему жадно слушал новости об Израиле-стране и не питал никаких симпатий к арабам. Верхом его неконформизма был визит в Кратово на дачу к Вольфу Меню. Израиль снимал в то лето дачу по Казанке. Я, конечно, предупредил, кто он и кому симпатизирует. Вольф Меню произвел на Израиля большое впечатление.

Я напомнил как-то Израилю об уничтожении отцовских рукописей, виновником чего был он. Израиль посмотрел на меня испуганно, широко открытыми от изумления глазами и почти теми же словами, что Геня в 54 году, спросил:

– Вос зогст ду?

Израиль преждевременно погубил себя чрезмерной страстью к лечению, что усугублялось правом лечиться в привилегированных больницах для старых большевиков. В одной из таких больниц ему сделали операцию предстательной железы, которую могли бы и не делать. Тут я оказался свидетелем, во что оборачивается бесплатная, да еще и привилегированная советская медицина.

После операции врач сказал Риве:

– Вашему мужу нужен послеоперационный уход. У нас всего одна ночная сестра, ее на всех не хватает. Если вы готовы заплатить, найдется человек, согласный смотреть по ночам за вашим мужем.

Эти услуги стоили ни мало ни много 15 рублей за ночь. Еще нужно было платить 2 рубля в день санитарке: итого 17 рублей в сутки. Месячная пенсия Израиля была меньше 80 рублей. Легко себе представить, во что обходилось бесплатное лечение, если учесть, что и еду приходилось носить из дому, ибо питание в советских больницах невообразимо дурного качества из-за вселенского воровства.

Израиль скрупулезно использовал месяц или полтора, которые ему, как персональному пенсионеру, полагались в больницах. Весной 69 года он снова лег на положенный ему месяц в больницу в Сокольниках и оттуда уже не вышел.

Соседом его оказался антисемит, тоже персональный пенсионер.

– Чего это у вас такое безобразное имя? – стал он приставать к Израилю.

– Не хуже, чем у вас! – парировал тот.

Соседа его звали Николай Александрович, как последнего русского царя. Все это Израиль рассказывал мне на идише в присутствии соседа:

– А шварцер! – жаловался он.

Израиля часто навещала его старая любовь Маня. Как-то она

посидела с ним и ушла. Израиль радостно приподнялся на постели и, гордясь, спросил:

— А правда, она еще красивая?

Это было правдой. Маня вплоть до самого моего отъезда сохраняла следы прежней красоты.

Через несколько дней случился инфаркт, и Израиля не стало. Похороны его тоже были омрачены бесплатной медициной. В советских бесплатных больницах платят огромные деньги работникам морга за замораживание. Деньги эти алкоголики взяли, но труп вовремя не заморозили, в результате в крематории было трудно находиться рядом с гробом, и среди пришедших на похороны пошел слухок, мол, племянники денег пожалели.

Я давно простил Израилю все, что выпало от него на нашу долю. Могу понять, почему он требовал уничтожить отцовские рукописи. Откуда он мог знать, что через несколько лет все изменится? А опасность сесть была вполне реальна. Спасла его, думаю, хромота и костыли. В ГУЛАГе он был бесполезен.

Похоронили Израиля почти рядом с домом, на Кузьминском кладбище. Я тяжело переживал его смерть.

ЗАЩИТА

*Девчонка плачет, ничего не надо.
Ни Элюара, ни чужих планет.
Она и кибернетике не рада.*

Надежда Григорьева

Наконец, в мае 69 года наступила моя очередь. Пришло много хороших отзывов на диссертацию, а один, совершенно неожиданный, был подписан директором Института математики Сибирского отделения Академии Наук академиком Соболевым, который рекомендовал мне написать книгу на основе диссертации. На защиту пришел Ратмиров и очень хвалил меня. Кандидатское звание было присвоено единогласно, и вечером того же дня я пригласил всех в ресторан "Россия". Было приятно слышать, как один из сотрудников Воронова, Саша Кельман, сказал, что он уверен, что я с равным успехом мог бы защищать диссертацию и в других областях. Он назвал биологию, экономику и историю. Пропустил, по незнанию, лишь богословие. Со временем его пророчество сбылось.

Система защиты в ИАТ была двухступенчатая. Диссертацию должен был сначала утверждать общий ученый совет института. Это чудовищно затягивало сроки выдачи кандидатского диплома. Пока же я продолжал отбывать крепостную барщину у Макарова и Ковалева.

ВЫСТАВКА В ПАРИЖЕ

*И одно мое спасенье – консервы,
Что мне Дарья в чемодан положила!
Но случилось, что она, с переляку,
Положила мне одну лишь "Салаку".
Я в отеле в их, засратом, в "Паласе",
Запираюсь, как вернемся, в палате,
Помолюсь, как говорится, Аллаху
И рубаю в маринаде салаку!*

Александр Галич

Летом 69 года Ковалев, Макаров и еще один сотрудник Ковалева, Телятников, отправились в Париж на международную выставку станков. Записались они на это мероприятие за два года и прошли все сложные инстанции утверждения. Условием включения в такие делегации было знание иностранного языка. Все трое невежд указали в анкете, что якобы знают французский и даже посещали уроки, хотя вряд ли продвинулись далее приветствий.

В порядке наставления, я сказал им брать на выставке все проспекты и рекламы, какие смогут найти, пытался что-то втолковать по технической линии. Говорил, что по выставочным экземплярам на Западе судят в основном о возможностях фирмы, а не о действительной продукции. Но главная забота троицы была, конечно, другая: в точности, как в известной песне Саши Галича, они закупили консервы, чай, водку, шоколад, колбасу, чтобы не тратить в Париже валюту.

Устроились в какую-то вшивую гостиницу и первым делом пошли к консьержке просить кипяток. Объяснить ей, что они хотят, оказалось весьма сложно. Поняв, она сказала, что в этой гостинице нельзя есть в номерах. Выяснилось, что, по жадности, они вселились в почасовой бордель.

Телятникова, как младшего, Ковалев и Макаров заставили таскать проспекты в чемодане. Их же главная цель была посетить знаменитый среди советских туристов склад барахла. По сравнению с этим складом, известный своей дешевизной магазин Тати, выглядел как бутик Ива Сен-Лорана...

Когда гастролеры вернулись в Москву с чемоданом проспектов, из них нельзя было выудить и двух связанных слов о виденном на выставке. Они решительно ничего там не поняли. Они заранее рассчитали, что отчет за них сделаю я по привезенным проспектам.

Передо мной стояла поистине грандиозная задача! Я должен был написать работу объемом в несколько сот машинописных страниц за две-три недели! Вообще, это было нереально, но как истинный стахановец, трудясь днями и ночами, я написал отчет и, окончив, ужаснулся, подобно отцу Федору из книги Ильфа и Петрова, со страху взобравшемуся на неприступную скалу.

Отчет Ковалева и Макарова был частью общего отчета всей делегации. Они торопили меня, чтобы самим узнать, что же они видели на выставке, о чем, повторяю, не имели ни малейшего

представления. Ковалев был так поражен сделанным мною, что в благодарность дал мне месяц лишнего отпуска. И как! Он разрешил оформить командировку, куда я сам захочу. Мне нужно было побывать по делам работы в Куйбышеве, но я взял также командировки в Ленинград и в старинную столицу Литвы Тракай – известное курортное место.

В Ленинград я поехал с Таткой, побывал у знакомых, походил по музеям.

ТРАКАЙ

*Вы, математики, открывшие секрет
перекладывания спичек.*

Николай Олейников

Поводом к посещению Тракая был семинар по математической логике, к которой я не имел никакого отношения. Однако цель семинара была сформулирована столь расширительно, что я, подав тезисы доклада на весьма постороннюю тему, все же был включен в программу семинара.

Приехав, я понял, что мой доклад там не к месту, и снял его. Зато я отлично провел время! Погода стояла изумительная, и каждый день можно было купаться в Тракайском озере. Однажды утром, когда там купались несколько логиков, я вздумал рассказать им полуполитический анекдот. Юра Гуревич, тогда еще свердловчанин, подозрительно посмотрел на меня, и вообще создалась некоторая неловкость.

Когда я ушел, бдительный Гуревич набросился на Гастева:

– Ты этого человека знаешь? Кто он? Что это он вдруг такие анекдоты рассказывает?

– Знаю, – твердо ответил Гастев.

– Давно?

– С сегодняшнего утра.

– И ты ему доверяешь?

– А ты посмотри, какой у него нос! – сказал Гастев и этим решающим аргументом закончил полемику.

Сосед по комнате, Гриша Розенштейн, имел привычку разговаривать, будто представлял могущественную, закрытую для посторонних, корпорацию ученых (он был выпускником Лесотехнического института), и когда я заговорил о теории эволюции, несколько не удивился, так как "мы", т.е. "они" давно этот вопрос окончательно решили. Жил с нами и Илья Шмаин, неплохой математик, несмотря на много лет, потерянных в лагерях.

21 августа была годовщина вторжения в Чехословакию. Утром группа логиков, в основном из Ленинграда, вышла из гостиницы с импровизированными эмблемами в честь Чехословакии. Между ними и их испуганным шефом Шаниным завязался нелепый политический диспут. Шанин выдвигал не имевшие отношения к делу аргументы:

– Вы еще молодежь, – упрекал он своих учеников, – вы не знаете, что такое фашизм.

Собрание логиков оказалось "зловредным сборищем". Ничего, конечно, не шло далее фронды, но коллаборационистов не было...

На обратном пути из Тракая я заехал в Вильнюс, а оттуда в Минск к владыке Антонию. Я как бы очутился в далеком прошлом. Владыка пригласил меня отобедать. Мы сидели вдвоем за длинным обеденным столом. Перед хозяином стоял серебряный колокольчик, по звонку которого в комнату входил седой как лунь старик с древней окладистой бородой. Он подавал на стол яства, достойные пера Чехова.

После обеда мы прошли в кабинет, где был большой проигрыватель. Мы беседовали под музыку Шютца и Монтеверди...

По возвращении в НИИТМ меня вызвали в отдел, занимавшийся внедрением технического и научного опыта, и потребовали заполнить бланк, в котором следовало указать экономию, которую я принес государству своей поездкой в Тракай. Слегка побрыкавшись, я сел и не без удовольствия написал, что одна из идей, заимствованная мною на семинаре в Тракае, принесет приблизительно 18 750 рублей экономии. Руководство отдела было довольно. Только недавно оно составило такие бланки, и я был едва ли не первый, кто их успешно заполнил. Мой отчет служил длительное время образцом в назидание, как следует успешно пользоваться передовым научно-техническим опытом.

СЕКРЕТНЫЙ ОТЧЕТ

*Но храбрые чекисты из пятой опергруппы
Злодейскую упряжку схватили под уздцы.*

Из песни

В НИИТМе меня ждал и неприятный сюрприз. Было принято новое постановление, что все отчеты о заграничных поездках должны быть секретными, дабы враг не знал, как советские люди пользуются его достижениями.

Сама идея секретного отчета в секретном институте о поездке в Париж была нелепа, но сколько там было нелепостей и почище.

Итак, составленный и уже отпечатанный, мой исполинский труд, где, кстати, и имени моего упомянуто не было, оказался преступным и незаконным. Его нужно было перепечатать в секретном машинописном бюро (я говорил, что в НИИТМе было два таких бюро: секретное и несекретное). Но секретное бюро ничего не печатало с уже напечатанного в другом бюро. Следовало от руки переписать весь титанический отчет в секретный блокнот, а из него уже секретное машинописное бюро могло печатать все, как полагается.

Я взмолился!

Начались длительные переговоры, в результате коих Ковалеву удалось убедить начальницу первого отдела пойти на тяжелый

обман партии и правительства. Обман заключался в том, что секретное бюро взяло незаконно рассекреченный отчет уже в напечатанном виде и, задним числом, на обратной стороне каждой страницы отпечатало номер этой страницы и индекс, чтобы создать ложное впечатление, что отчет якобы печатался секретным образом.

При всей мании секретности в НИИТМе вскоре разгорелся еще один скандал. Молодому амбициозному начальнику отдела Антропову, создавшему себе множество врагов, подстроили ловушку. Кто-то побывал на выставке в ФРГ и, представившись в разговоре Антроповым, попросил представителя фирмы выслать ему проспекты, дав сокровенный адрес НИИТМ. Существовало правило, согласно которому сотрудникам "ящиков" можно было посещать международные выставки на территории СССР и беседовать с иностранцами, не называя своего имени и уж, конечно, организации.

Услужливые немцы выслали Антропову материалы, и того потянули в первый отдел. Однако у него было покровительство и удалось вывернуться. Не думаю, что добрались до истинного виновного. По-видимому, трюк был проделан через третье лицо, не работавшее в НИИТМе.

Система секретности трещала под нажимом коррупции. В один прекрасный день перед моим столом возник, как Мефистофель, румяный, элегантный, седовласый грузин с брюшком. Я с удивлением уставился на него.

– Разрешите представиться, – сказал, излучая лучезарную улыбку гость (назовем его Гардинашвили), – доцент Тбилисского политехнического института.

Гардинашвили явился непосредственно ко мне.

– Вы – лучший специалист по западной технике. Я все время читаю ваши переводы и рефераты. Я пишу докторскую и очень интересуюсь новинками.

Короче, Гардинашвили предложил мне package deal. Я обязывался разыскивать ему статьи наукообразного вида и с большим количеством формул и переводить их на русский, а он сам делал бы из этих статей нужный коктейль, представив затем за докторскую диссертацию. В Тбилиси и Баку это было обыкновением, за деньги, разумеется. Конечно, и мои услуги должны были быть щедро оплачены. Но как он попал в НИИТМ? Таких к нам не пускали.

– Я пошел в ваше министерство, папрасыл и мне разрешили, – обольстительно улыбаясь, объяснил Гардинашвили.

Говоря по-русски, он дал там взятку. А почему это должно удивлять?

Незадолго до этого на Тульском черном рынке появились револьверы. ГБ направило туда сотрудников, и продавца нашли.

– Нужен автомат, – потребовал сотрудник ГБ.

– Автомат?! Невозможно.

– Есть зелененькие (т. е. доллары).

– Это другое дело.

Назавтра принесли автомат, и ГБ накрыло всю сеть.

Было одно крайне отрицательное последствие моей работы в НИИТМе. Я дал подписку не общаться с иностранцами, что вклю-

чало даже представителей народов братских стран.

Сейчас это коснулось моих отношений с Олегом Прокофьевым. Он давно разошелся с Соней и уже почти семь лет добивался разрешения на брак с англичанкой – искусствоведом Камиллой Грей. Вопрос обсуждался на высших уровнях: Хрущевым, Косыгиным и застопорился после бегства на запад Светланы Алиппуевой. Олег советовался со многими, в том числе и со мной. В последнее время главным его юридическим советником стал Алик Штротас. Честно говоря, я считал это немыслимым.

И вдруг летом 69 года их брак разрешили в рамках обмена шпионами. Работа в НИИТМе делала невозможным мой визит к Прокофьевым. Я позвонил Олегу и объяснил ему, что пока видеться с ним не могу.

МАФИЯ

*Когда наступает тьма
И мир погружается в сон,
Ползет тараканов тьма
Со всех щелей и сторон.
Из всех отдушин ползет
И, что подвернется, грызет.
Александр Зиновьев*

Мои акции в глазах Ковалева резко поднялись. Он стал прочить меня в зав. лабораторией, которая занималась бы ключевыми вопросами технологической политики ракетно-космической промышленности. Меня прохватил холодный пот. Прощайте, любые надежды на отъезд. Вот тут меня уже совсем не выпустят. Я повел себя по испытанному швейковскому рецепту. От работы не отказывался, но делал втихую все, что подрывало мое будущее в НИИТМе. Решающий случай подвернулся. 14 октября Московская Духовная Академия устраивала свой годичный акт. Я давно приглашался туда. В последние годы я пользовался вольной жизнью, а теперь надо было отпрашиваться на день у Ковалева. От меня требовалось что-то очень срочное, а я потребовал отгул. Ковалев после длительных препирательств дал этот отгул, не спрашивая для чего, но не простил мне этого. Он говорил, что раз я ему не пошел навстречу, то и он будет вести себя также. Разговоры о лаборатории заглохли, и один сотрудник сказал мне:

– Ты просто не понимаешь, как еврей у нас трудно получить место заведующего лабораторией.

Впрочем, через месяц-другой наступил детант с Ковалевым. Он стал проявлять прежнюю благосклонность и взял меня с собой в Сетунь на закрытую выставку. Стал я похаживать и в министерство.

Однажды Ковалев пригласил меня на совещание. Приехал главный технолог знаменитого Днепропетровского ракетного завода, где генеральным конструктором был Янгель. По постановлению Совета Министров завод должен был в трехгодичный срок

освоить серийное производство "изделия", оборудование для которого должен был спроектировать НИИТМ. "Изделие" имело огромный диаметр, и было ясно, что речь идет о новой баллистической ракете.

– В постановлении записано изготовление станка? – спросил я.

– Нет, – скромно ответил главный технолог.

Меня это поразило. Такой станок был лимитирующим, и то, что его не вписали в постановление, где указываются обычно все суб-подрядчики с мельчайшей точностью, говорило, по меньшей мере, о преступной халатности.

Спроектировать же и изготовить тяжелый станок за два года в советских условиях было физически невозможно, тем более без постановления Совета Министров, ибо требовалось найти завод-изготовитель, а производственные мощности заводов расписаны на много лет вперед.

– Есть выход из положения, – придумал я. – Западногерманская фирма Воеhkingер рекламирует на русском станки, которые она поставляла США для производства корпусных деталей ракеты "Сатурн". Если они рекламируют это на русском, значит, готовы поставлять такие станки СССР.

Разумеется, со стороны немцев это было грубым нарушением политики эмбарго, но капиталистов сие обычно не тревожит. Я, разумеется, ожидал, что главный технолог с радостью уцепится за мое предложение, ибо качество и поставка в срок были бы гарантированы.

– Нет! – поразил меня главный технолог. – У нас нет валюты.

Это была нелепица, ибо на что-то, а на ракеты СССР никогда не скупился.

– Хорошо, – уступил я, – в предложениях чехов есть станки близкого габарита. Я не сомневаюсь, что они заинтересованы в любых заказах.

И это не понравилось главному технолог:

– Мы хотим, чтобы станок был спроектирован в НИИТМе.

Это уже выходило за рамки моего понимания. Главный технолог отнюдь не производил впечатление идиота, но то, что он предлагал, заведомо ставило под удар его организацию. Он не получит станок в срок, а когда получит, то отвратительного качества, и сам же с ним намучается.

Я принялся срочно обдумывать ситуацию и часа через два зашел к Ковалеву:

– Михаил Иванович, мне кажется, что "Днепр" нарочно хочет, чтобы мы спроектировали станок, тогда они будут иметь отговорку, когда не уложатся в срок. Поэтому-то они и отказываются от импортных станков. Ведь их доставят в срок и отговорки не будет. Как бы вам не влипнуть.

Ковалев отвел глаза:

– Может, ты и прав, только молчи.

В результате, было принято предложение о проектировании станка.

Здесь для меня вскрылась истинная функция НИИТМа. Кова-

лев отлично знал свою роль – быть громоотводом для генеральных конструкторов в случае невыполнения ими правительственных заданий в срок. С этой целью те намеренно составляли проекты постановлений Совета Министров таким образом, чтобы их нельзя было выполнить, прежде всего, по вине технологических служб, за которые сами они не отвечали. Такая игра была возможна только в том случае, если те же генеральные конструкторы страховали НИИТМ от неприятностей. Перед лицом грозного, но невежественного Политбюро сложилась мафия, защищавшая себя от настойчивых попыток навязать им нереальные сроки. Ковалев был мальчишкой для битья, но щедро вознаграждался за это. Я думаю, что его реальная зарплата была в 3–5 раз выше номинальной...

Наконец, я получил свой кандидатский диплом и стал отчаянно искать работу. Но диплом только создал затруднения, ибо сузил количество мест, на которые я мог бы претендовать. Всюду я получал отказы, несмотря на отличные данные: свежий кандидатский диплом, список публикаций, даже книг, изобретений и, что еще важнее, знание иностранных языков. Антисемитизм рос как снежный ком, к чему добавлялось не совсем необоснованное подозрение, а чего это еврей уходит из "ящика"? Оттуда сами не уходят. Что у него на уме?

Самый характерный случай произошел в библиотеке Ленина. Я встретил Сашу Михайлова, в прошлом аспиранта вороновской лаборатории. Теперь он работал начальником отдела компьютеризации библиотеки. Он пообещал, что никаких проблем с приемом на работу в его отдел не будет. Я открыто спросил о еврейском аспекте проблемы.

– Да что ты! – замахал Саша руками. – У нас это не имеет значения.

Оставалось побеседовать с главным инженером библиотеки. Тот допрашивал меня полчаса. После разговора у Саши опустились руки, он не смотрел мне в глаза.

Когда я пришел в НИИТМ, то встретил там бывшего сотрудника рамировской лаборатории Эдика Амбарцумяна. Поработав с полгода, Эдик вернулся в ЭНИМС. Посмотрев на него, дрогнул и я. Снова вспомнилось пророчество Зусмана, что все равно вернусь в ЭНИМС, вспомнил уверения Бороды, что ЭНИМС – первоклассное научное учреждение. Конечно, это было не так, но по сравнению с НИИТМом это был РЭНД или Массачусетский технологический институт. Я позвонил Зусману и сказал, что готов вернуться. Зусман был рад, но, как и прежде, следовало получить "добро" от Васильева. Через некоторое время Зусман огорченно сообщил:

– Мэлиб Самуилович! Ничего нельзя сделать. Положение изменилось к худшему.

И до ЭНИМСа дошел за это время запрет на прием евреев. Кто работал, того не гнали, а новых принимать отказывались. Распространялось это и на полуевреев.

Как-то обсуждался состав делегации на конференцию в ФРГ. Эмиль Рабкин, чистый еврей, прошел, а Эдик Тихомиров, полуев-

рей – нет. Генерал КГБ, отвечавший за формирование делегации, объяснил Рабкину:

– Мы не антисемиты. Ты вот еврей, но мы тебе доверяем. А Тихомирову нет.

– Почему?

– Как почему? Чего это он хитрит? Зачем взял фамилию матери?

ТАЙНЫЕ ДИССИДЕНТЫ

*Мой дядя жертва беззакония,
Как все порядочные люди.*

Борис Пастернак

С нового 70-го года уходила на пенсию женщина, главный специалист, сидевшая в нашей комнате. Я с ней никогда не разговаривал. Вдруг она подозвала меня:

– Вы здесь белая ворона. Я чувствую, чем вы дышите. Я уже немолода и ни с кем никогда не говорила по душам. Если бы вы знали, как я все ненавижу.

Муж ее исчез в чистках 30-х годов, недавно умерла дочь от рака. Вероятно, это потрясение и толкнуло ее на откровенность. После войны она работала в СТАНКИНе преподавателем. Она рассказывала об антисемитизме тогдашнего секретаря партбюро, а теперь заместителя директора ЭНИМСа Кудинова, как он венчался в церкви и как его на этом подловили. От нее я узнал, что Тамбовцев был старый стукач, угробивший множество людей. Она звала меня в гости, но я так и не выбрался. Часто навещал ее один экономист, тайной всепожирающей страстью которого была поэзия Николая Гумилева. Он не жалел на книги Гумилева никаких денег и знал всего Гумилева наизусть. Я недолго проработал в НИИТМе. Кто знает, какие еще люди там были?

Сколько раз я убеждался, до какой степени обманчива внешняя лояльность советского человека: в Меленках ли, Муроме, Куйбышеве или Москве. Какие пожары готовы вспыхнуть в его душе от тлеющих угольев, оставленных террором, тотальным грабежом, обманом?

ЧЕЙН И СТОКС

*Вином упиться? Позвать врача?
Но врач убийца, вино – моча...
На целом свете лишь сон и смех,
А он в ответе один за всех!*

Александр Галич,
"Поэма о Сталине"

Юра Гастев давно писал кандидатскую диссертацию. Он считался лучшим переводчиком математической литературы с английского и, кроме того, был монополистом по проблемам философии математики в энциклопедических изданиях.

Список его публикаций превышал сотню. На его защиту в Плехановский институт собралось множество народа. Все шло, как обычно, пока не наступила очередь заключительного слова самого Юры. Отблагодарив кого только можно, он, ухмыльнувшись, добавил:

— Я хотел бы еще поблагодарить докторов Чейна и Стокса за полученные ими результаты, которые оказали глубокое влияние на мою работу.

Я поперхнулся и переглянулся с Ильей Шмаиным. Чейн и Стокс были любимыми героями истории, которую Юра любил рассказывать.

Известно (я это хорошо помню), что в одном из бюллетеней о здоровье умирающего Сталина говорилось про симптом Чейна-Стокса, который специалистам известен как показатель предсмертного дыхания. Юра был в это время в ссылке в Эстонии. Прослушав радио-бюллетень, ссыльный врач сказал друзьям-сологерникам (среди которых был Юра Гастев):

— Ну, Чейн и Стокс ребята надежные, не подведут!

Никто, кроме нас, а также Алика Есенина-Вольпина, который тоже был на защите, не понял намека. Вскоре эта история пошла гулять по Москве.

ВЗЛОМ У ОСТАПОВА

*С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.*

Борис Пастернак

Весной 70-го года умер престарелый патриарх Алексий. У Остаповых сразу начались неприятности. Несмотря на то, что патриарх оставил формальное завещание, согласно которому все его личные вещи предназначались Остаповым, его имущество было опечатано, а завещание патриарха опротестовано, как не имеющее юридической силы. Утверждалось, что его вещи были не личные, а принадлежали патриархии. Данила Остапов вскоре был уволен на пенсию. Он страшно изменился, сгорбился, глаза стали слезиться, и из крупного вельможи он превратился в немощного старика.

Остаповы знали, что патриарх не вечен, и загодя выстроили дом в Загорске, боясь остаться в казенной лаврской квартире. Незадолго до кончины Святейшего, они начали переезд в новый дом. Через несколько дней после его смерти в оставленную, хотя еще и не полностью, квартиру Остаповых в Лавре вломились ночью воры. Одно это уже было странно. Лавра была неприступной крепостью, которую не удалось захватить полякам в Смутное время в 1612 году после длительной осады. На ночь Лавра закрывалась огромными массивными воротами. Как туда могли проникнуть воры, уму непостижимо! И воры-то оказались странными, перевернув все вверх тормашками, они не взяли ничего!

Отец Алексей, рассказав мне это, осторожно спросил:

- Как вы думаете, чего они там искали?
 - Честно говоря, у меня нет сомнений, что воры искали какую-то рукопись Святейшего.
 - И мы так думаем, – признался Алексей.
- Я полагаю, власти боялись, что патриарх оставил либо завещание, либо мемуары.

ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

*Рвутся нити,
Слабнут связи,
Надоевшие служить.
Леонид Мартынов*

В июне 70-го года исполнилось 20 лет со дня окончания мною школы, и энтузиасты нашего класса предложили собраться и отметить эту дату. Собралось человек пятнадцать, отправились в ресторан "Балчуг".

Вовка Иоффе, ставший инженером по ракетным двигателям после окончания Полиграфического института, осторожно оглядевшись, спросил:

– Ну, а все живы-то?

Живы были пока все, но к давно освобожденному Эрику Вознесенскому, который стал ученым-экономистом в Ленинграде, добавился еще один сиделец, притом совершенно неожиданный, бонвиван Вовка Аксентович, сын полковника из правительственного аппарата.

Он окончил Военный институт иностранных языков, испанское отделение, и был направлен в Восточный Берлин. Всегда склонный к сладкой жизни, рано ее вкушивший, он задумал бежать на Запад, но проболтался, был арестован и отсидел три года. После освобождения он опустил. Приходил к кому-либо из друзей, садился под дверьми и говорил:

– Не уйду, пока не дашь денег.

Боря С., окончивший Автомеханический институт, ушел в ГБ, но пришел на встречу в форме морского офицера:

– Чего ты в моряка нарядился? – спросили его.

– Да я какой хошь мундир надену!

И похвалился, что только вчера с друзьями по работе выпил в честь удачи важного дела в одной стране. В какой, правда, не сказал.

Большинство выпускников класса не пришло. Не явившийся Додик защитил кандидатскую и стал ученым секретарем одного из химических институтов Академии наук. Я видел его однажды издали на эскалаторе в метро. Он стал неузнаваемо солиден. Ему-то и было суждено через несколько лет открыть список покойников в нашем классе. Я видел его некролог в "Вечерней Москве". Алкоголизм в молодые годы не прошел даром. А толковый был парень...

Вовка Коровин после окончания театрального училища был од-

но время в труппе Хабаровского театра. Как-то встретил я Гришу Абрикосова, который был уже известным артистом Вахтанговского театра.

— Я говорил Володе, — с сожалением сказал Абрикосов, — ничего у него не выйдет.

Но Коровин вдруг стал известным, сыграв роль молодого Ленина в кинофильме "Семья Ульяновых". Это было его акме. После его взяли в театр Транспорта, но в кино он уж больше не снимался.

Валя Алексеев, по слухам, стал едва ли не проректором Института международных отношений. Игорь — известным физиком-теоретиком, с ним я довольно часто виделся. Коля Парин был уже крупным ихтиологом. Саша Аллилуев заведовал биохимической лабораторией. Дима — специалист по защите от радиоактивных излучений. Остальные были инженерами, врачами, научными работниками, военными. Лева Шейнкарь, не дошедший с нами до десятого класса, стал активным сионистом. Он прославился тем, что дал объявление о том, что преподает иврит. К месту расклейки объявления образовалось паломничество. ГБ тотчас запретило принимать объявления о преподавании иврита. Против Левы в "Вечерней Москве" появился фельетон, рассказывавший, что он ни с того ни с сего избил водопроводчика, зашедшего в его квартиру. Вероятно, это была провокация.

Про девушек из параллельной, 19-й школы я знал очень мало. Одна из них, очень милая, Ира Волкова, председатель совета отряда, вышла замуж за моего одноклассника Эдика Пихлака, врача. Узнал я и о трагической судьбе Инги, дочери генерала, у которой мы бывали не даче. Она поступила в театральное училище, была принята в труппу московского театра. Оказавшись рядовой актрисой (а это не легкая судьба), спилась и жила теперь с рабочим бензоколонки. Хорошенькая Вета Капралова из ее же класса вышла замуж за известного артиста Зельдина. Куда делись остальные? Ясно, происхождение из Дома Правительства, из семей генералов, министров не принесло многим большого счастья.

Примерно в то же время принял я участие в последней встрече моей группы станкиновцев. Мишка Клавдиев, женившийся на умнице Инне Фельдман с журналистики МГУ, работал в атомной промышленности. Вспоминая свои проделки на сборах в Наро-Фоминске, он сокрушался:

— Ну и дурак же я был тогда! Простите меня!

В 70-м году на венгерской выставке станков я снова встретил Йожку Шторка. Он стал коммерческим директором крупнейшего венгерского завода "Чепель", то есть одним из ведущих венгерских технократов. Сейчас это был не тот человек, что в 57 году. Он говорил о советской экономической политике в отношении Венгрии с раздражением. Несколько лет после этого мы обменивались с ним поздравительными открытками.

В конце 70-го года я последний раз виделся с Наташей. Ее муж закончил Академию внешней торговли, и они уехали за границу. Больше о ней я ничего не слышал.

СМЕРТЬ ВОЛЬФА МЕНЯ

*На плетеный коврик
Упадает крест.
И потом бессильная
Валится рука –
В пухлые подушки,
В мякоть тюфяка.*

Эдуард Багрицкий

Умер Вольф Мень. Не исполнилось пророчество архимандрита, крестного отца его жены. Не обратился он в христианство. Умер евреем и сионистом. Его смерть была большим ударом для его семьи. Хоронили его в Малаховке, на еврейском кладбище. Александр прочел кадиш над головой отца по всем правилам отцовской веры. Пришел на похороны и мрачный Эрнст Трахтман. Пять лет продолжалась уже его борьба за выезд и все еще безрезультатно. Я уходил с кладбища с чувством светлой грусти.

ДЖАНХОТ

Летом 70-го года я подался отдыхать в Геленджик и импровизированным способом добрался до ущелья Джанхот, куда ходили катера из Геленджика. Там был Дом отдыха, пионерлагерь и небольшой поселок, где удалось снять комнату. Место очень красивое. Я много читал. Там впервые прочел я "Большие надежды" Диккенса, книгу, которую полюбил надолго. Один из героев ее, "бледный молодой джентльмен" Герберт Поккер, воспринимал свои поражения как победы. Когда его били в драке, победителем он считал себя. Если не было денег, он видел в своем плачевном состоянии необходимую ступень для прыжка к богатству. Дружья считали его неудачником, но в конце концов выяснилось, что он-то и был наиболее приспособленным к жизни. В этом была жизненная мудрость, и я запомнил урок.

Не одно это, конечно, привлекало меня в этой книге. Я полюбил ее всю. Она была близка моему восприятию жизни.

В Джанхоте я познакомился с прелестной девушкой Ирой Г., внучкой генерала армии. Отец ее, полковник, служил в Краснодаре, а она была студенткой местного университета. В Джанхоте она работала вожатой в пионерлагере. От нее я многое узнал о законах советской военной касты. Она рассказала, что браки между детьми военных допускались в пределах некоторой разницы в звании родителей. Разница эта не могла превышать одну-две ступени. Дочь генерал-майора могла выйти замуж за сына генерал-лейтенанта или наоборот. Большие разрывы не допускались, дабы не вызвать общения между людьми слишком разных положений. Правда, при такой системе стороны, вступавшие в брак, не считали себя слишком связанными, и это считалось нормой.

Однако дочь крупного военного могла выйти замуж, например, за молодого лейтенанта, карьера мужа в этом случае была обеспечена. Военная каста строго хранила замкнутость и в случае внешних браков исключала детей из своей среды.

ГОРДИЕВ УЗЕЛ

*Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле.*

А. Пушкин

Вернувшись в Москву, я понял, что могу искать новую работу еще несколько лет. Тогда я принял решение разрубить гордиев узел. Это решение сыграло ключевую роль во всей моей дальнейшей жизни. Я дал себе зарок уйти из НИИТМа не позже 7-го ноября, даже если никуда не устроюсь. Это было рывком в неизвестность. Так никто не поступал, тем более, обладатель кандидатского диплома. Сионистское движение усиливалось, и я уже боялся оставаться в "ящике". В принципе, я мог сделать это еще в 69-м году, но тогда не был готов к этому внутренне. Я преодолел свой страх. Я понимал, что меня не выпустят из России сразу, и решил искать работу только на несколько ближайших лет. Появилась и надежда. Воронова вдруг выбрали академиком по Дальневосточному филиалу Академии Наук. Он уезжал заведывать институтом кибернетики и заверил меня, что, как только устроится, будет готов взять меня туда на работу в области биологической кибернетики. 7-е ноября приближалось. В конце октября я подал заявление об уходе, сказав Макарову и Ковалеву, что ухожу обратно в ИАТ младшим научным сотрудником. Это выглядело правдоподобно. Если бы я сказал, что просто увольняюсь, это вызвало бы подозрения.

Меня вызвала общественная комиссия и стала уговаривать не уходить, предлагая работу заведующим сектором в отделе, связанном с внедрением компьютеров. Я отказался и 7-го ноября стал свободным и безработным. Простился я с Ковалевым и Макаровым холодно.

КАТАЛОГ

*Но бьет тимпан! И над служителем науки
Восходит солнце не спеша.*

Николай Олейников

Увольняясь из НИИТМа, я рассчитывал на несколько источников заработка: на ВИНИТИ, на переводы для "Гардинашвили", но было и еще кое-что. У Алексея Остапова была давняя идея. Биб-

библиотека Духовной академии имела много иностранных книг, поступавших туда хаотично из разных источников. Литература эта насчитывала почти 20 тысяч томов на десятках языков и была совершенно неупорядочена. Никто не знал, что там есть.

С одобрения Филарета мне было поручено составить каталог иностранного фонда. Я должен был проводить в библиотеке три дня в неделю. Ездить в Загорск каждый день было крайне долго, и мне разрешили ночевать в лаврской гостинице. Питался я в столовой для преподавателей. Я с большим удовольствием принялся за работу сразу после ухода из НИИТМа. Литература была в основном религиозная, философская и историческая.

У меня уже давно была своя классификация религиозной литературы. Я стал разделять книги по языкам и внутри каждого языка расставлял их по своему классификатору, снабжая каждую краткой аннотацией. Эта работа дала мне огромный познавательный скачок, ибо такого рода литература была недоступна в стране. Были там книги и на иврите, и литература на идише. Имелся полный комплект Вавилонского Талмуда, молитвенники. Было множество современной религиозной периодики: католической, православной, протестантской. Академию однажды посетила делегация ордена иезуитов и подарила большой комплект литературы, изданной Папским Восточным институтом. У меня сложились наилучшие отношения с заведующим библиотекой о. Владимиром Кучерявым и его сотрудниками. Поначалу я наслаждался тишиной и покоем Лавры. За могучими стенами царил тяжелая, средневековая, необычная для нашего времени тишина. Шум с улицы не проникал. Я запирался в номере, читал и писал. Но через несколько месяцев монастырская обстановка начала угнетать меня. Я стал каждый день ездить в Загорск на электричке, несмотря на то, что на дорогу в один конец тратил почти три часа.

"Грузинские" мои занятия не имели желательного объема, и после нескольких переведенных мною статей, обильно усеянных интегралами, прекратились.

Зато в ВИНИТИ дела шли как нельзя лучше. Наладились отличные связи с редактором серии Матвеевко, некогда крупным инженером в автомобильной промышленности, а ныне пенсионером. Он буквально засыпал меня работой.

В начале 71-го года я договорился прочесть в ИАТе цикл из пяти лекций: "Теоретическая биология и управление", хотя вероятно, хватило бы и двух. Я, пожалуй, перегнул. Первая лекция прошла с большим успехом. Собралось человек сто. В ней я говорил о кибернетической интерпретации молекулярной биологии, а также критически рассмотрел методологию биохимических исследований. Последующие лекции были о кибернетическом подходе к теории эволюции, критерии оптимальности в биологии, кибернетической теории формообразования.

Мои публикации в этой области умножились. В особенности я горжусь статьей "Критерий оптимальности в биологии", носящей натурфилософский характер, в которой я выдвинул ряд аргументов против дарвинистской концепции борьбы за существование.

Долгое время я считал свой интерес к кибернетической трактовке биологии некоей изолированной областью, отличной от прочих моих интеллектуальных занятий, но после того, как прочел Тейяра де Шардена, а потом и Раймона Арона, считающих биологическую эволюцию частью общей истории, я понял, что никогда не нарушал цельности своих интеллектуальных взглядов. Я всегда был увлечен традициями средневекового гуманизма, который нашел свое высшее выражение у Гете. Гете подходил ко всему как к интегральному целому, не признавая распада знания на совокупность замкнутых областей. Мне хотелось дойти до всего.

В то же время сказывалась инерция ряда прежних затей. Ведь у нас с Вороновым был договор с издательством "Экономика" на издание книги. Меня вызвали на заседание редколлегии, куда приглашался так называемый авторский коллектив. Договор раньше рассматривался как весьма перспективный. Однако на заседании главный редактор дал понять, что вопрос об экономической реформе уже потерял свою прежнюю актуальность. Да я уже и сам прекратил работу над рукописью.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ

*Прощай, Россия, прости, что сын я
Чужих распутиц, чудных шагов.
Пускай в цветениях Палестины
Мне снятся лица твоих лесов.
Прощай, Россия, не знаю, чей я,
И не хочу я об этом знать.*

Илья Бокштейн

В феврале 71-го года активные сионисты один за другим стали получать разрешения. Я поехал на проводы к Эрнсту Трахтману. За пять лет ожидания он сжег за собой все мосты. Сына, который у него родился вслед за дочкой Геуллой, он назвал, к моему ужасу, Иудой. А вдруг не отпустят, думал я, что будет делать человек в России с таким вызывающим именем?

Эрнст был весь нацелен на Израиль уже много лет. Мне казалось, он мечтает работать на русской службе "Голоса Израиля". Он регулярно слушал радиопередачи, даже составлял список ошибок, чтобы взять его с собой и способствовать исправлению уровня израильского радио.

На проводы пришел и Александр. Первой его просьбой к Эрнсту, который не был христианином, было выяснить положение христиан в стране и возможную реакцию на приезд нескольких таких людей.

Уезжал и Лева Шейнкарь, но я с ним давно не виделся, и провозжать не пошел.

Я посетил московскую синагогу, где по субботам собирались сионисты. Там я впервые увидел легендарного Леву Наврозова, о котором много слышал от Прокофьевых, а именно, как он выучил

по Вебстеру английский язык и как боролся с законом о всеобщем обязательном обучении, скрывая от властей своего сына, которому решил дать домашнее образование.

Лева был полуеврей, полуграф. С важным видом он расхаживал под руку со странствующими американскими раввинами, обольщая их великолепным американским языком. Вскоре я встретил его на очередных проводах. Лева вдохновенно рассказывал, что он потомок вереницы раввинов.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

*Утрата ветки и утрата
Возможности иного мира
Соизмеримо не разъяты,
Нерасчленимо обозримы.*

Евгений Сабуров

Тронувшийся лед вызвал бурю в еврейско-христианском стакане. В большинстве своем, как я уже говорил, это была молодежь, захваченная модой, и я лично, к прискорбию своему, сделал немало для создания этой моды. Теперь нужно было ответить на гамлетовский вопрос:

— Ехать или не ехать?

Собралось человек 15-20, причем, на сборище явился "представитель Ставки" Саня Авербух. Он был чем-то вроде министра по делам религий или же еврейского комиссара по вопросам христианства. Саня произнес пламенную речь:

— Езжайте, там разберетесь!

Часть присутствующих была саббатистствующей богемой, а часть балансировала на уже тонкой грани, еще удерживавшей их в христианстве. Некоторым же так обрыд Союз, что они готовы были ехать куда глаза глядят.

Я сказал, что не может быть и речи, чтобы, приехав в Израиль, кто-либо стал ориентировать себя оставаться русским. Кто собирается ехать, должен принять национальные традиции, и думать о христианстве можно лишь в еврейских национальных рамках.

— Что же нам раскрещиваться там, в Израиле? — спросил бородатый еврей ассирийского вида, из породы тех, кому как бы ни хотелось, нельзя слиться с окружающими народами из-за одного только внешнего вида. Покидая сборище, я убедился, насколько я уже отдалился от них, но нужного ответа сам еще не нашел.

Александр, конечно, не собирался ехать в Израиль. Он заботился лишь о своей пастве, но дал, однако, маху, доверившись одной даме, которую покойный Пинский назвал "старообрядкой нетовского толка". Она появилась в Израиле с инфляционным списком в руках и вызвала перепуг перед ожидаемым мнимым нашествием христиан...

Уезжал и инженер Илья Зильберберг. Раньше я его не знал, но слышал о нем как о маститом сионисте. На своих проводах он при-

знался, что он убежденный антропософ, и умолял взять шефство над его бывшим духовным покровителем Вениамином Теушем, сидевшим в свое время с Солженицыным. Илья явно не хотел ехать в Израиль, но его сковывали моральные соображения. Приехав в Израиль, он учинил властям разнос по поводу того, что Израиль мало помогает советским евреям, что дало ему достаточное оправдание для немедленного отбытия в Англию.

Слушая в то время "Голос Израиля" на русском, я обратил внимание на множество пламенных религиозных обращений, подписанных Павлом Гольдштейном. Тот ли это Павел, с которым в 63-м году знакомил меня Олег Прокофьев? Не ошибался ли он, говоря о своих симпатиях к христианству? Да, это был тот самый Павел, но претерпевший радикальные перемены.

Перестал быть адвокатом обиженных православных христиан и Борис Цуккерман, прославившийся в свое время попытками восстановить Наро-Фоминскую церковь. Тем самым, как я понимал уже тогда, навсегда лишив наро-фоминцев даже последней надежды на восстановление церкви.

СТРАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕЛИ

В начале 71-го года я с изумлением узнал, что Геля Лисенкова снова в Москве.

Приехав в Израиль в 67-м году, после окончания МГУ, Геля не могла больше жить в крепости, только в миссии и в монастыре. Ей категорически запретили посещать Иерусалимский университет, запретили контакты с евреями. В миссии хранилась большая ценная библиотека, оставшаяся от дореволюционных времен. Она была не разобрана и портилась. Геля предложила составить каталог. Ей было отказано и в этом. Она стала подумывать о том, чтобы оставить миссию, в которой была лишь послушницей, а не монахиней.

Тут приехал в Святую землю митрополит Никодим и любезно предложил Геле провести отпуск в России. Геля, сохранившая советское подданство, сделала роковую ошибку, последовав отеческому совету владыки Никодима.

Когда "отпуск" кончился, и она пошла оформлять документы на отъезд, власти потребовали от нее визу патриархии, стали тянуть, а потом и вовсе отказали.

Обнаружилось тем временем, что мать Гели, жившая в монастыре Эйн-Карем, больна раком. Геля стала бить кругом поклоны, чтобы ее пустили к умирающей матери, но никто не хотел ее слушать. Она обратилась за советом ко мне. Я рассказал об этом Саше Авербуху, а он связал меня с Юрой Брейтбартом, женатым на сестре Володи Максимова, Кате. Брейтбарт считался приближенным великого, как его за глаза, называли поклонники, Валерия Чалидзе, борца за гражданские права, гарантированные советской же конституцией.

Юра, таинственно прогуливаясь со мной по улице, стал извлекать из меня информацию для доклада Чалидзе, дабы тот рассудил, сможет он принять это дело или нет. После длительного обдумывания Чалидзе передал, что "дело принимает". Он велел Геле написать заявление, в котором необходимо было сослаться на него, что, по расчетам Чалидзе, должно было подействовать на власти, как звук еврейских труб на иерихонские стены.

Если бы Геля пришла ко мне в 74-м году, а не в 71-м, когда я еще не оформил документы на выезд, я бы добился ее отъезда в два счета. Достаточно было связать ее с иностранными корреспондентами ввиду вызывающего характера этого дела. У Чалидзе было много знакомых корреспондентов, но он этого не сделал. Имя Чалидзе, как и имя Цуккермана в деле Наро-Фоминской церкви, вызвало обратную реакцию. Гелю не выпустили, а мать ее умерла. Геля смирилась и осталась в Москве, благо патриархия ее устроила, и она не нуждалась.

АВИ

*И каждый раз отмахивался. – Я
Крещеный, мне нельзя к вам в синагогу.
Ты сам войдешь в молельню. Ты еврей.
А я побуду у дверей...*

Перец Маркиш, "Наследие",
перевод А. Кленова

В мае 71-го года Наум Коржавин передал, что у Надежды Марковны Улановской гостит израильтянин. Ави был молодой херутник из Иерусалима, приехавший в Россию по американскому паспорту.

Ави был неприятно поражен вопросом о положении христиан в Израиле. В Израиле есть только один еврей-христианин – отец Даниэль.

– Вы ошибаетесь, – заметил я, зная точно, что это не так.

– Нет, только один! Христианам в Израиле делать нечего. Если им здесь плохо, пусть едут в Америку, Канаду. В Израиле их не ждут.

– Что вы пристаёте с ненужными вопросами, – стал возмущаться Юра Штейн, – надо ехать и бороться.

Я ответил, что устал бороться всю жизнь. Сам-то Юра, призывавший бороться за права человека в Израиле, туда не поехал. Но Наум Коржавин меня поддерживал. Был с нами и его двоюродный брат Абрам Мандель, тоже цадик.

– Если в Израиле узнают, что среди московских активистов есть христиане, это всем им очень повредит, – заметил Ави.

Я мог этого ожидать, но все равно такой разговор был для меня холодным душем. Я впал в депрессию. Лучшие мои надежды рушились, я не хотел вновь становиться парией и вести скрытную двойную жизнь, какую вел в Москве.

Я решил разобраться еще раз во всем. Прав ли я? Какие ценности я могу взять с собой, а какие нет? Что главное в моем сионизме? В чем его истинная духовная основа? Само ли христианство как таковое важно для меня или же поиски универсализма, которые опирались бы на традиционное еврейское наследие? На все эти вопросы мне предстояло ответить прежде, чем ехать в Израиль.

Я ничего больше не слышал об Ави. Кто он? Пережил ли Войну Судного дня? Не уехал ли обратно в Америку?

– Сволочи, – ругался Наум, уходя от Надежды Марковны. – Все это неправильно.

ОЛЕГ И КАМИЛЛА

Уйдя из НИИТМа, я немедленно повидался с Олегом и Камиллой. Секретность мне теперь не мешала. Камилла мне очень понравилась: живая, открытая, интересная. Олег и Камилла оказались обладателями отличной коллекции нового искусства, где были даже Малевич и Кандинский. Камилла уже опубликовала книгу о русском художественном авангарде XX-го века. Олег приобрел роскошный каменный особняк в Алешкино на берегу Химкинского водохранилища, выстроенный по образцу дворянских особняков XVIII века в московских переулках, с колоннами на фронтоне. Участок был очень большой и выходил к воде сосновой рощей.

Участок Олега имел общий забор с участком... Эшлиманов, и они подружились, тем более, что в свое время вместе кончали одну и ту же художественную школу. Я давно не видел Николая. Он сильно изменился. Его прежняя открытость и вдохновенность исчезли. Он сжался, замкнулся.

Олег и Камилла устроили новоселье. Кого там только не было! Кроме знакомых – Андрея Волконского, Сарабьянова и других, там оказалась балерина Власова, несколько лет спустя бежавшая в Америку. Независимо друг от друга явились Павел Гольдштейн и Лева Наврозов. Лева, увидев меня и Павла, заметно смутился. Он вел сложную игру, скрывая свои планы отъезда от знакомых, а тут оказалось сразу два свидетеля.

Там-то Павел и удивил меня сообщением, что Александр Яковлевич Лернер, один из столпов ИАТа, правая рука Трапезникова, подумывает об отъезде. Он просил держать это в строгой тайне. Сам же Павел не уезжал до сих пор из-за своего благородства. Он занимал комнату в квартире бывшей жены, с которой сохранил самые лучшие отношения. В свое время она прописала здесь Павла и уступила ему комнату. От него требовали формального развода для получения визы, но если бы он развелся, комната после его отъезда отошла бы государству, и бывшая жена получила бы соседей. Такую свинью Павел подкладывать ей не хотел. Он требовал от ОБИРа, чтобы его выпустили без развода. ОБИР не уступал, и Павел сидел на чемоданах, добиваясь своего.

Он был уже настроен крайне антихристиански, но будучи чело-

веком противоречивым, сохранял в душе любовь к христианской культуре. Однажды его включили в делегацию на переговоры с ответственным сотрудником ЦК Альбертом Ивановым. Павел заявил на этой встрече:

– Ведь, мы, евреи, любим же Маяковского!

ТОГО

Камилла была не единственной иностранкой, знакомства с которой я теперь не боялся. У меня завелся приятель-иностранец и в Беляево-Богородском. Это был гражданин африканского государства Того, Бернард Теку. Он родился в бедной крестьянской семье и 18-ти лет приехал учиться в Москву по разнарядке ЮНЕСКО, будучи принят на физический факультет МГУ. После окончания факультета поступил в аспирантуру. Для студентов из "третьего" мира была упрощенная процедура. В Москве он женился на Вере Варшавской, мать которой тоже была из Меленок, а отец-еврей. Вера знала французский и работала технической переводчицей. Это их сблизило.

Бернард был огромный, добродушный парень, в совершенстве знакомый с теорией негритюда.

– Пушкин кто? – ехидно спрашивал Бернард.

– А Дюма кто? – торжествовал Бернард. – На этих примерах он показывал, что европейская культура идет, мол, из Африки. Джаз также из Африки. Абстракционизм из Африки. А если вспомнить роль Древнего Египта, то дальше и спорить не стоит.

Я был поражен этой наивной аргументацией, в которую Бернард твердо верил.

– Ну, а как же современная техника и наука? Тоже из Африки?

– Ну, это общее достояние человечества, – повторял Бернард заученный ответ.

Русский дед его жены дал как-то Бернарду гигантскую четверть злой самогонки, он меня ею чуть не уморил.

РЕШАЮЩИЙ ШАГ

*Ша, штил, махт ништ кун гевалт
Дер ребе гейт шон танцн балд.*

Из песни

*Людей переродило порохом,
Дерзанием, смертельным риском.
Он стал чужой мышинным шорохам
И треснувшим горшкам и мискам.*

Борис Пастернак

Я, наконец, решил, что настало время для решающего шага. Я нуждался в акции, которая, по моим расчетам, оправдывала бы в глазах властей преждевременную подачу мною документов на выезд. Ведь, прошло меньше года со времени ухода из НИИТМа. Я

понимал, что меня не отпустят, но решил, что когда бы я ни подал, все равно сразу откажут, поэтому имеет смысл уже сейчас открыть свой стаж ожидания.

17 апреля 71-го года я обратился к Брежневу с письмом, в котором ставил все точки над i.

Через месяц позвонил инструктор отдела науки ЦК Галкин и сказал, что мое письмо передано в управление кадрами Академии наук. Меня принял заместитель начальника отдела кадров Семенов, спросил, где бы я хотел работать, и предложил Дальневосточный филиал Академии. Не имея никаких сведений от Воронова, не желая действовать через его голову, я уклонился от разговора о Дальнем Востоке. Я сказал, что предпочел бы ИАТ, и, вернувшись, домой, немедленно написал Воронову. Началась месячная волюнка закулисных переговоров, в результате которых выяснилось, что «в ИАТ меня бы взяли, но сейчас это невозможно из-за предстоящих увольнений». Я позвонил Галкину, который снова стал уговаривать меня ехать во Владивосток, уверяя, что там рай для научных работников. Тем временем, я получил ответ от Воронова. Он сообщал, что, в принципе, согласен меня принять, но серьезным препятствием к устройству будет тот факт, что я нигде не работаю и советовал как можно быстрее устроиться куда угодно.

Но и «куда угодно» устроиться было нереально, и, кроме того, я знал, что если устроюсь «куда угодно», это станет еще большим затруднением, ибо сам Воронов писал, что «несовпадение направлений настоящей и будущей работ» является недостатком. Мне, конечно, скажут, что я «бегун», и все начнется сначала. Я опять позвонил Галкину, сказал, что согласен ехать во Владивосток, и вдруг почувствовал, что он уже на этом не настаивает.

Тут пришло еще одно письмо от Воронова, из которого я понял, почему Галкин изменился. «Большое количество предложений приехать во Владивосток, – писал Воронов, – поступающих не только в институт и в Центр, но также в партийные и советские органы (уверен, это были отчаявшиеся евреи) привело к тому, что было созвано крайкомом партии совещание директоров и дана команда принимать только по строгому отбору, по конкурсу лиц с учеными степенями, докладывая (в крайком!!) о каждом приглашаемом кандидате все подробности».

Это было беспрецедентно. Крайком партии сам занимался индивидуальным приемом научных работников. Нигде этого не было. До чего дошел антисемитизм!

Воронов давал понять, что Центр перебрал евреев. «Имеются и другие обстоятельства, затрудняющие сейчас решение Вашего вопроса, связанные с тем, что мой предшественник И. Кочубиевский несколько перегнул палку при подборе кадров, и на это также было обращено внимание». То есть еврей Кочубиевский принял к себе слишком много евреев. Авенир Аркадьевич Воронов не был антисемитом, но был вынужден говорить в письме на мерзком языке, принятом в Советском Союзе для обсуждения еврейской проблемы.

БЫТЬ КАК ЯН ПАЛАХ

*Дунул ветер, поднялся свист и рев,
Треща, горит костер, и вскоре пламя, воя,
Уносит к небесам бессмертный дух героя.*

Из Андрея Шенье. А. Пушкин

Цадик Наум Коржавин затащил целую компанию к своему старому литературному поклоннику, ныне инструктору секретариата ЦК Шмелеву, вроде бы раньше женатому на одной из дочерей Хрущева. Шмелев жил в роскошной квартире на Фрунзенской набережной и был явно рад нашему приходу, хотя знал, что все мы публика «с другого берега». Первым делом он стал хвастаться новинками советологической литературы, строго запрещенной в СССР.

Потом зашел разговор «по душам». Церковная Москва гадала тогда, кто будет новым патриархом: Никодим или Пимен. Все почти считали, что будет Никодим. Я же был уверен в обратном, полагая, что Никодим слишком независим, имеет идеологию, и в этом качестве может быть опасен, в то время как Пимен чистый спиритуалист и молитвенник. Я еще не знал истинную механику власти и не подозревал, что у каждого кандидата было свое партийное лобби. Никодим был из Ленинграда, а Пимен из Москвы, но, думаю, и личные качества кандидатов играли важную роль. Я разговорился на эту тему со Шмелевым, приведя свои аргументы.

– Какой верующий? – изумился инструктор. – Они же умные люди! Какая там вера! Это просто поле деятельности, где себя можно проявить. Вот и все!

Мои доводы были для него несерьезны.

– А кто руководит в ЦК религией?

– Эмиль Лисавцев, инструктор ЦК.

Такое имя и сейчас фигурирует в редколлегии журнала «Наука и религия». Им подписано много антирелигиозных статей.

– Ну, а кто определяет, кому быть патриархом?

– Это, вероятно, решает сам Суслов.

Потом инструктор ЦК стал нас упрекать:

– Вся ваша фронда – чепуха. Уж если что-то делать, то надо быть как Ян Палах!

Один из нашей компании, известный кибернетик, доктор технических наук, вышел на кухню:

– Знаете, я больше не могу, – и ушел.

Юра Гастев, услышав совет инструктора ЦК быть как Ян Палах, развеселился:

– Ага! Это чтобы мы все сгорели! Зол зи бреннен! Хорошо гусь!

ВЫБОРЫ ПАТРИАРХА

*Одна свирепая свекровь
невестку исщипала в кровь.*

Леонид Мартынов

Как я и ожидал, патриархом был выбран Пимен. Я получил пригласительный билет на интронизацию. Собрались митрополиты, епископы, гости, дипломаты.

В церкви около меня стояла женщина лет пятидесяти. Другая, постарше, попросила ее подвинуться. Та, безо всякой видимой причины, отказалась. Вторая стала ее толкать, и вся интронизация в моем углу прошла под знаком злобной ссоры этих женщин. Ссоры, перешедшей в тихую драку. Первая, по-видимому, была профессиональной мазохисткой, сонмы которых наполняют православные храмы. Она сознательно провоцировала ссору и драку, действуя назло. Когда ее начинали щипать и бить, рыдала и причитала, что, мол, всегда она обречена на страдание, а это, естественно, усиливало избиение. Перед страдальцей было пустое пространство, ей ничего не стоило подвинуться, в равной степени как и другой — переменить место.

Давно я пригляделся к таким омерзительным сценам в церквях.

Издали я заметил Гелю в облачении послушницы, в котором она выглядела весьма необычно.

ШАГ ВПЕРЕД

*«Сынок мой,
твой мир бесконечно широк.
Ты сын равноправный большого народа.
Тебе и твоим сыновьям,
Мой сынок,
Навек уготованы
Мир и свобода.
Сынок мой,
Светло и просторно на свете».*

Изи Харик в переводе А. Кленова

Прошло три месяца со дня моего обращения к Брежневу. Владивосток отпал. ИАТ отпал. 16 июля я снова написал Брежневу, а также в президиум ВЦСПС с жалобой на вынужденную безработицу, и в конце августа мне опять позвонил Галкин и сказал связаться с Трапезниковым, который, мол, лично займется моим вопросом. Трапезников был любезен, приглашал зайти, но предупредил, что речь пойдет не об ИАТе. Была назначена дата встречи, но затем я почувствовал, что Трапезников не хочет со мной встречаться. Все заглохло. Оказалось, как и следовало ожидать, что его «правая рука» Александр Яковлевич Лернер заказал вызов из Израиля и, хотя вызов еще не пришел, Трапезников узнал об этом через ГБ.

КОШМАРНЫЙ СОН

Помойка – вершина вершин.

Александр Зиновьев

Вдруг мне позвонил Макаров, с которым я едва попрощался, уходя из НИИТМа. Он был сладок, приветлив и сделал совершенно необычное предложение: преподавать на курсах Министерства общего машиностроения для повышения квалификации руководящих работников, причем обещал хорошую зарплату. Не было сомнений, что Макаров и Ковалев получили «втык» за то, что дали мне уйти из НИИТМа. Теперь Макарову было предложено исправить ошибку.

Я сразу спросил, где будет проходить преподавание, в открытом или закрытом помещении. Я понимал, что если только начну преподавать сотрудникам секретного министерства в помещении, на вход в которое требуется допуск, мои шансы на отъезд сразу поблекнут.

Я пообещал Макарову подумать. Он позвонил еще раз, но я снова уклонился от прямого отказа, а сам не перезвонил.

С тех пор меня стал преследовать странный сон. Снилось, в разных вариантах, что я зачем-то прихожу в НИИТМ и, войдя, понимаю, что весь мой срок ожидания выезда в Израиль из-за одного факта посещения НИИТМа надо начинать с нуля. Иногда будто меня уговаривали, что я могу работать в НИИТМе, что на стаж отказника это не повлияет, но даже во сне я начинал соображать, что это не что иное, как коварная ловушка.

ВЫЗОВ

*Так вот жизнь свою сам,
Собственной властью
Разрубил пополам,
Надвое,
Настежь...*

Владимир Корнилов

В ноябре 71-го года снова стали выпускать евреев одного за другим. Уехал славный потомок раввинов Лева Наврозов, перехитрив-таки всех. Он, первый из известных людей, приехал в Вену и отказался ехать в Израиль, объясняя в СОХНУТе, что своими знаниями принесет в Америке еврейскому народу больше пользы, чем в Израиле. Это он, Лева Наврозов был московским Колумбом, открывшим Рим и ХАЙЯС. Его пример оказался окрыляющим.

Добился своего и Павел Гольдштейн. Он уезжал на своих условиях. Уезжали Саня Авербух, Юра Брейтбарт. Начались непрерывные проводы.

Я попросил Саню и Павла прислать мне вызов.

Но мои связи с официальным миром науки еще не были полностью прерваны. В ноябре 71-го года, первый и последний раз, я был в ИАТе оппонентом на кандидатской защите одного харьковского еврея. Когда дошла моя очередь выступать перед Ученым советом, я почувствовал некоторое замешательство. Члены совета уже знали о моей тяжбе с властями и были предупреждены, что я могу уехать.

В конце ноября я получил вызов, который шел из Израиля всего две недели! Для меня это был хороший признак по двум причинам. Первое, что его все-таки прислали из Израиля, ибо после разговора с Ави я мог реально опасаться, что могут и не выслать вовсе. Вторых, власти в Москве его не задержали, и этим, может быть, давали понять, что не будут меня слишком упорно удерживать.

Я не запомнил фамилию моего «родственника» из Гиватаима, но имя его было Нехемия. Заполняя бланки ОВИРа, я указал, что это моя тетя, сестра отца, из Америки переехавшая в Израиль в годы кризиса. Только в Израиле я узнал, что «Нехемия» – мужское имя.

Но сошло.

Вдруг позвонил мне Борода и напрямик спросил, верны ли слухи, что я собираюсь уехать. Звонок был явно инспирирован. Был у Бороды приятель в партбюро ИАТа, и, вероятно, сведения шли оттуда. Я не стал отрицать.

В декабре я, наконец, закончил книжный каталог в Загорске, мой контракт с библиотекой истек. Исчезал важный источник доходов, но я смотрел в будущее уверенно.

Приняв решение об отъезде, я встал перед проблемой: какой язык изучать? Иврит, решил я, так или иначе придется учить в ульпане, а говорить, рассчитывал я, буду «с воздуха». Разговорный английский мой был весьма сомнителен. Я совершенно не обращал внимания на произношение, полагая, что говорить на нем все равно никогда не придется. Для чтения же моих знаний было вполне достаточно. Я запоминал слова по их орфографии, а не по произношению.

Я решил поступить на курсы английского и одновременно французского. Пришлось переучивать свой словарный запас. Я читал по-английски с маленьким словарем, который брал с собой повсюду, даже в метро, проверяя произношение каждого знакомого и незнакомого слова.

СМЕРТЬ КАМИЛЛЫ

*В дверях гонец
С известием,
Что смерть на месте.
Олег Прокофьев*

В начале декабря Олег и Камилла отмечали первый день рождения своей Анастасии. Они пригласили моего сына, Веньку. Пришла и внучка Костаки с отцом, Колей Страментовым. Я не знал, что вижу Камиллу в последний раз. Как всегда, она была весела,

открыта, оживлена. Олег и Камилла собирались в Сухуми, Камилла была опять беременна.

В конце декабря я не поверил своим ушам: Камилла скончалась в Сухуми! Погубила советская бесплатная медицина. Ей сделали укол плохо продезинфицированным шприцем и внесли желтуху.

Я поспешил к Олегу. Приехала из Лондона мать Камиллы. Олег сказал, что будет добиваться права сопровождать гроб в Англию и там останется. Я его поддержал. Собираясь на Запад, я хотел видеть там и Олега.

Десять дней ждал Олег решения властей, и те сдались. Он уехал, чтобы уже никогда не вернуться. Роскошный особняк, обещавший стать новым московским салоном, скончался, едва успев родиться.

Опустел и соседний дом. Николай Эшлиман ушел от своей семьи и снял с себя сан. Позже, проезжая мимо Алешкино на автобусе, при виде этих двух домов я отворачивался, боясь заплакать.

Где стол был яств, там гроб стоит!

ЖМП

В начале 72-го года, подав заявление об отъезде, я навестил владыку Питирима. Он принял меня радушно.

— Я решил уехать в Израиль, — сообщил я. — Придется, наверное, ждать разрешения несколько лет, а я ушел с работы и нуждаюсь в заработке. Я готов делать переводы, составлять библиографию.

Я ожидал раздражения, упреков, отказа. Ничего подобного!

— Я понимаю, — сказал Питирим, — вы человек предприимчивый. Ну что ж. Мы с удовольствием используем вашу помощь.

Я взялся переводить большую книгу с немецкого о Коптской церкви и житиях коптских святых. Просматривал советскую прессу 30-х годов, внося на карточки все упоминания о церкви и епископата. Написал несколько библиографических обзоров по Восточным церквям и опубликовал их в ЖМП под инициалами П. У., чтобы могли подумать, будто их автором является Уржумцев. В это время ЖМП пополнился новым сотрудником — Богородицким. Я сразу оценил пополнение. Это был пожилой чекист. Вероятно, и ЖМП вышел из доверия, раз решили подсадить такого человека. Богородицкий, несмотря на благочестивую фамилию, указывающую на происхождение из духовного сословия, не имел никакого представления о Церкви, богословии, истории. Он был дик и невежествен. Раз в месяц он принимал от меня карточки и раскладывал их, как я ему говорил.

Стал я также готовить к печати новый библейский синопсис, порусски — «Симфонию». Такая симфония на русский текст Библии была издана до революции крайне бестолковыми баптистами. Найдя себе в помощь двух лингвисток, я, в конце концов, передал им эту работу. Не следует думать, что я был единственным евреем, который в это время переводил для ЖМП. Я видел там Эдика Зильбермана, переводившего трактат по нравственному богословию. Встречал и других...

БОНАВИЯ

*Ты прав, ты прав! – сказал судья.
– И Воробья, и Соловья
Я привлекал за клевету.
Подхватывая на лету
Слова, коверкают их суть.
Ты с ними осторожней будь!*

Леонид Мартынов,
«Поэзия как волшебство».

У Глазова я познакомился впервые с иностранным журналистом. Многие тогда уже встречались с иностранцами, но у меня еще не было таких контактов. Дэвид Бонавия был корреспондентом лондонской «Таймс» и весьма известен в Москве. Я пригласил его к себе, и мы стали часто видеться. Я его заинтриговал, он стал упоминать меня в своих статьях, не называя по имени, но характеризуя как одного из наиболее тонких здешних наблюдателей. Читая Times Literary Supplement, я сказал Бонавии, что могу написать туда рецензию на Белорусскую энциклопедию. Почему именно на нее? Трудно сказать. Интуиция! Бонавия согласовал это с Лондоном, и через несколько дней я передал ему свой текст. Кроме этого, я написал рецензию на антисемитскую книгу сотрудника ЦК КПСС Юрия Иванова «Осторожно, сионизм». Бонавия похвалил оба мои опуса, заметив, что они написаны с необычной для советского человека беспристрастностью. Недаром я был долгое время читателем спецхрана.

ЗАЯВЛЕНИЕ

*И пишет боярин всю ночь напролет,
Перо его местию дышит,
Прочтет, улыбнется, и снова прочтет,
И снова без отдыха пишет,
И злыми словами язвит он царя,
И вот уж, когда занялася заря,
Поспело ему на отраду
Послание, полное яду.*

А. К. Толстой

1 марта 72-го года я, наконец, подал заявление в ОВИР. Пара месяцев ушла на сбор документов, что еще сильно упрощалось тем, что я нигде официально не работал. Вера тоже уволилась, и ей не нужно было получать характеристику с места работы. Через несколько месяцев она спокойно вернулась в свою поликлинику, когда документы уже были поданы, так что на ее работе никто ничего не знал.

Подав документы, я снова написал Брежневу, что было очередным шагом в психологической войне. Одновременно я послал письмо на имя Андропова, где объяснял, что моя секретность была в большой мере искусственной, так как я никогда не работал с самим оружием.

Несмотря на кажущуюся иррациональность таких шагов, все они сыграли свою роль, и, в конце концов, дали мне возможность уехать целым и невредимым.

ОТКАЗ

*Где бы я осмотреться смог,
Подсчитать все ошибки и шоки,
Философствовать, стать выше дней.*

Илья Бокштейн

Я не исключал возможности положительного ответа, все еще надеясь на те мифические два года, о которых говорилось при поступлении в НИИТМ. У меня начали налаживаться связи в среде еврейских активистов. Познакомился со Слепаком, смотревшим на новичков свысока, как генерал. На проводах Игоря Авербуха, брата Сани, я познакомился с Натаном Файнгольдом, в прошлом инженером-электронщиком военной промышленности. Натан оставил электронику и занялся живописью. Несколько позже меня он сблизился с московскими религиозными салонами и, судя по всему, знал многих, в том числе и Александра, но в какой-то момент отошел от них и обратился в иудаизм буберовской формы. У него был художественный талант, но когда я с ним познакомился, он практически перестал заниматься и живописью, будучи втянут целиком в суету активизма. Мы с ним сошлись и бывали друг у друга. Одним из наиболее активных деятелей, боровшихся за возвращение на историческую родину, оказался Вадим Белоцерковский, сын позабытого драматурга Билля-Белоцерковского. Вадим проявлял исключительную энергию, старался встречаться с любыми иностранцами. Он в прошлом был журналистом и еще недавно печатался в «Литературной газете».

У него были какие-то проблемы, поскольку любил говаривать:

— Теперь самый главный талант — это гражданская честность!

Тогда же я познакомился с Иосифом Бегуном, математиком из «почтового ящика». Когда во время визита Никсона посадили на десять дней нескольких активистов, посадили и Иосифа, но никто его еще не знал и его имя не упоминалось в числе арестованных. Я пытался сообщить о нем через Файнгольда.

Приятно было узнать, что и Виталий Рубин, знакомый мой с начала 65-го года, тоже подал заявление. Клуб разрастался.

Готовясь к отъезду, я должен был выполнить титаническую работу. У меня накопилась огромная библиографическая картотека. Она имела внушительный вес, и не было и речи вывезти ее в таком виде.

Два месяца сидел я, перепечатывая ее в виде аннотированной библиографии. Еще раз отредактировал рукописи о погромах, об антирелигиозной кампании 22-го–23-го годов и о евреях-христианах. Я знал о существовании журнала *Ostkirchliche Studien* и просил передать рукописи туда.

Мне не хотелось втягиваться в бесконечную опустошающую говорильню, во что превращалось зачастую еврейское движение. Об-

суждался вечный вопрос: отпустят – не отпустят. Это был опиум, своего рода замена реальной жизни. Многие на этом сломались.

7 июня инструктор ОВИРа Сивец сообщила мне об отказе, разумеется, не сказав ни слова о том, какой срок ожидания мне установлен.

Я узнал потом, что на собрании в НИИТМе говорили, будто главным препятствием для моего отъезда было то, что я побывал на 15-ти секретных предприятиях отрасли за два года. По моим же расчетам получалось 14... Ковалев и Макаров скрыли, что я готовил правительственные постановления, знакомился со списками станочного оборудования отрасли и т.п., иначе им пришлось бы сознаться, что я делал работу за них,

Я решил жаловаться, и снова написал Брежневу...

Не исключено, однако, что люди, отказавшие мне в разрешении в 72-м году, руководствовались и некими духовными, что ли, соображениями. Собственно, я еще как следует не разобрался в своем мировоззрении, не нашел ответа на проблему своего поиска. Надо было дать мне время подумать и собраться с мыслями. Почему надо обязательно плохо думать о тех, кто выносит решения в СССР? Задним числом могу сказать, что было сделано мне великое благо! Я еще не был готов к отъезду. Не прошел полностью процесса автозмансипации, не освободился от страха. Может, это и имели в виду мудрые советские чиновники, отказывая мне в 72-м году. Не исключено!

Да, и английский я еще не выучил. А без него я был бы на Западе несчастнейшим человеком. И на это мне нужно было время.

Получив отказ, я сначала зарекся заниматься активной политической деятельностью. Во-первых, я не думал, что это ускорит мой отъезд. Во-вторых, резонно опасался, что это затянет меня, не даст работать.

Но не долго мне удалось выдерживать свою линию. Я вдруг понял, что если уеду из России с чувством страха и не выскажу вслух всего, что думаю, буду страдать до конца жизни, сознавая себя трусом. Полагаю, что подобные соображения руководили, по крайней мере, еще одним активистом – Сашей Воронелем. Он тоже решил реализовать свою личность, не ожидая разрешения на выезд.

ДЕНЕЖНЫЕ ДЕЛА

*Не говори: «Копейки и рубли!
Завязнуть в них душой – такая скука!»
Во мгле морей прекрасны корабли,
Но создает их строгая наука.*

Федор Соллогуб

Обнаружился еще один источник дохода. Я превратился в советского рантье, начал стричь купоны со своих еще энимсовских изобретений, которые предусмотрительно запатентовал с директором Васильевым. Не включи я его, плакали бы эти денежки.

В ЭНИМСе было хорошо известно, что я подал заявление и получил отказ. Но соавторы мои не могли разделить деньги без моего согласия и без моей подписи. Ведь СССР все же правовая страна!

Меня пригласил в ЭНИМС Ратмиров. Мы встретились в бюро пропусков. Он передал привет от Зусмана и сразу начал торговаться за каждые полпроцента. Но и я стоял на своем. В итоге я получил приличную сумму, годовую зарплату молодого инженера. Но были у меня и другие доходы...

Бонавия, после оскорбительного фельетона в «Литературной газете», был выслан из СССР. Уезжая, он обещал устроить обе мои статьи. В конце июня он позвонил из Лондона и сообщил, что рецензия на Белорусскую энциклопедию вышла. Касательно второй статьи он был уклончив. Я раздобыл адрес «Таймс» и послал письмо по открытой почте с просьбой выплатить мне гонорар.

Через месяца полтора в мою дверь позвонили, на пороге стоял обросший черной бородой незнакомец. Меня несколько удивило, что он пришел в зимнем костюме и в берете, хотя стояла иссушающая жара.

Это был голландский математик с несколько смешной для русского уха фамилией Напкин. Говорил он по-английски хорошо, но гнусаво и с понятным для голландца акцентом. К моей радости, Напкин передал привет от Бонавии, которого он встретил по дороге из Испании в Англию. Показалось странным сообщение, что жена Бонавии ждет ребенка, ибо никаких признаков этого в Москве я не заметил. Самое же главное было другое. За рецензию мне предлагался огромный гонорар – 250 фунтов, и Бонавия спрашивал, хочу ли я получить все деньги разом в России или же открыть счет в Charles Hard's bank, London, Groove Road 35.

Номер моего счета был 25044. Если бы я решил взять все деньги разом, я должен был бы написать Бонавии условный знак «1», а если половину, то – «½».

Проявив алчность, я немедленно передал, что хочу иметь все деньги сразу в Москве. Я извлек графин с наперченной водкой и предложил Напкину рюмку. Тут голландец меня поразил. Как-то уж очень быстро и ловко он ухватил рюмку и, не колеблясь, опрокинул в рот, даже не закусив. На мое удивление Напкин сказал, что в Голландии не закусывают.

Окончание в следующем номере.

"...В ПОДВАЛ СПУСКАЛСЯ С РУКОПИСЬЮ "АДА"

Письма Бориса Константиновича Зайцева

Мое заочное знакомство с Борисом Константиновичем Зайцевым произошло случайно. В 50-е годы я начала заниматься творчеством Данте и натолкнулась на изданную в 1922 году в Москве маленькую изящную книжку о Данте почти неизвестного мне автора, уехавшего в эмиграцию, – Б. Зайцева. В 1959 году я опубликовала в малотиражном и вскоре закрытом журнале "Вестник Мировой культуры" (№ 1) статью "Данте в русской литературе, критике и переводах". В ней из научной добросовестности (эмигрантов тогда неохотно называли) я упомянула об этой книжке: "В 1922 г. выходит очерк Б. Зайцева "Данте и его поэма", где в полубеллетристической форме излагается биография молодого Данте и содержание "Новой жизни"..." (с. 118). Прошло несколько лет, и меня разыскал незнакомый мне литературовед и библиограф А. В. Храбровицкий, занимавшийся прозой 10-х годов. Он "напал" на мою статью, обнаружив в ней фразу о Зайцеве, и переписал ее для Бориса Константиновича, своего постоянного корреспондента. По его словам, писатель очень обрадовался этому первому за многие годы упоминанию, он думал, что на родине его давно забыли...

По случаю дантовского юбилея в 1965 году мне удалось выпустить в свет критико-биографический очерк о великом поэте. По просьбе Храбровицкого я передала ему экземпляр для Зайцева. Через него же писатель меня поблагодарил и прислал свой перевод "Ада" с автографом. Спустя два года вышел сборник "Данте и всемирная литература", в котором я принимала участие. Этот сборник я уже сама отправила Борису Константиновичу. Он откликнулся письмом, которое я привожу ниже. Второе, подробное письмо он написал после того, как ему попал в руки более поздний сборник "Дантовские чтения" (1968 г.), где тоже была помещена моя статья.

Вскоре, однако, к большому сожалению, наша переписка по разным причинам оборвалась.

Нина Елина

* * *

5 Av. Des Chalets, Paris (16)

1 июня 1967

Многоуважаемая г-жа Елина (а вот имени и отчества не знаю, и это Ваша вина!), т. ч. уж простите, холодновато выходит, но ничего не поде-лаешь. За книгу очень благодарю. Статью Вашу¹ прочел – написали от-лично, дай Бог Вам здоровья. Тонко и умно. И без разглагольствований в сторону. Ни одного ядовитого замечания на полях я не сделал. Конечно, мистической стороны поэмы Вы не коснулись, но уж тут что поделывать... сами понимаете. Если будет переиздание, исправьте опечатку на стр. 104, в цитате из знаменитой терцины "Рая". Надо: *Tu proverai sì come sa di sale...* (а у Вас *se*), и в списке опечаток это не указано.

Из других статей слегка просмотрел Хлодовского² и нахожу, что все это безмерно преувеличено. Блока я знал лично и всегда к нему относил-ся (и отношусь) хорошо, но нельзя так раздувать. А уж цитата из Горо-децкого³... Этого я тоже знал и был с ним в молодости почти в приятель-ских отношениях, но то, что он написал о Блоке и Данте – никуда! Данте пришел к "Раю", а Блок погибал в отчаянии от всего. В 20 г. в Москве он сказал моей покойной жене о "Двенадцати": "я этой поэмы никогда больше не читаю". И действительно, весной 21 г., у нас в Союзе Писате-лей, в доме Герцена, он читал другие – лирич. стихи и "Скифов". О Ра-венне он хорошо написал, а о Флоренции ("Иуда"...) ⁴ не дай Бог.

У меня есть кн. "Далекое"⁵ – воспоминания. Там много о Блоке. По-слал бы Вам охотно, она совершенно безобидна, это литер. воспомина-ния, но уж очень плохо доходят книги в Россию.

А Данте меня очень утешал. Я над ним пять лет в России работал (1913-1918) и два последних, трудных очень года он меня поддерживал. В 1942 г. в Париже я весь перевод опять строку за строкой сличил и, ко-гда немцы и англичане нас бомбардировали, спускался в подвал с женой и рукописью "Ада". Место было подходящее. Дом дрожал, жена ко мне прижималась в нервной дрожи, и кругом были именно обитатели первых кругов "Ада". Но все прошло. Книга⁶ вышла через полвека после того,

¹ Речь идет о сборнике "Данте и всемирная литература". М., 1967.

Б. Зайцев пишет о помещенной в этом сборнике моей статье "О художе-ственном своеобразии "Божественной Комедии". "Рай", XVII. 58-60.

² Хлодовский Р. И. – историк итальянской литературы. Автор статьи "Блок и Данте. К проблеме литературных связей" – в том же сборнике.

³ Городецкий С. М. (1884 - 1967) – русский поэт. Г. И. Хлодовский цити-рует его книгу "Воспоминания об Ал. Блоке". "Печать и революция", 1922.

⁴ Б. Зайцев имеет в виду "Итальянские стихи" Блока.

⁵ Борис Зайцев. Далекое. USA, Inter-Language Literary Associates 1965.

⁶ Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. Перевод Бориса Зайцева. Париж, УМКА Press, 1961.

как я начал перевод. Ну, Данте это не фельетон, не современность, ему спешить некуда.

Будьте здоровы, трудитесь на пользу культуры российской, желаю Вам всего доброго.

Ваш Бор. Зайцев

5 Av. Des Chalets, Paris (16)

4. янв. 1968

Многоуважаемая Нина Генриховна, с Новым Годом, лучшие пожелания – здоровья, труда успешного над нашим с Вами бессмертным стариком. (Он у меня в комнате в разных видах – и бюсты, и снимки и даже ловко наклеенный на кн. где Ваш адрес, снимок в профиль с маски флорентийской).

Всего доброго.

Ваш Бор. Зайцев

5 Av. Des Chalets, Paris (16)

31 янв. 1969

Многоуважаемая Нина Генриховна, И. Ф. Бэлза⁷ прислал мне "Дантовские чтения", и я прочел с большим интересом Вашу статью. Некогда сам я перевел "Ад" – прозой (ритмической) строка в строку. Данте люблю приблизительно 60 лет. Переводил "Ад" 6 лет, начал за год до войны 14-го года, кончил в 18-м. Рукопись была дважды продана, авансы получены, но бури войн и революций задержали все (издательства погибли). В Париже в 42-м году весь текст был пересмотрен, но вышла книга в YMCA Press в Париже только в 61-м году, через 48 лет после того, как начал переводить. Так что можно сказать, старик прошел чрез всю мою жизнь. Среди грохота войн и революций поддерживал неукоснительно. Но и я берег любовь к нему и во время бомбардировки Парижа в подвал спускался с рукописью "Ада". И в 1918 г. в именице отца, отсиживаясь во флигеле своем, неукоснительно переводил последние терцины. Все было на волоске, но на столе стоял бюст Данте и глядел на меня вечно-непоколебимым взглядом.

Вот почему я так и разболтался сейчас о тех временах... – прошу прощения, очень все близко сердцу.

Вас я лично не знаю, но, судя по статье, Вы тоже "из наших", дантовским писанием покоренных. Только познания Ваши в дантовских делах несоизмеримы с моими. О болване Кастравилла⁸ в первый раз

⁷ Бэлза И. Ф. – искусствовед. Председатель дантовской комиссии, редактор выходящих в Москве сборников "Дантовские чтения". Здесь речь идет о сборнике, опубликованном в 1968 году. Название статьи: "Проблема художественного своеобразия поэзии Данте. Из истории западноевропейской дантологии".

⁸ Кастравилла Ридольфо – итальянский филолог XVI века. В трактате "Рассуждения" резко критиковал "Комедию" Данте.

слышу. (А что писали в России в 60-е гг. о Толстом и Достоевском! Этот род никогда не переведется.) Несколько огорчил меня Бембо⁹. Я к нему хорошо относился, а теперь трещинка. Неужели Вы все их книги читали? Ведь это, думаю, скучновато.

Помню, когда работал над переводом, был у меня под рукой немец Краус¹⁰, огромный том, мне нравилось, как он пишет. Кстати: о мистическом и религиозном подходе к Данте Вы почти не упоминаете. Скартаццини¹¹ всегда был при мне, но это для справок. Дух его подхода к Данте мне чужд. А о дантологии XX в. просто ничего не знаю. Имя Кроче¹² знакомо, конечно, но больше "именно" имя.

Охотно послал бы Вам "Ад", Но... надо ждать "оказии". По почте не дойдет. Вот, Петрарка посылал из Авиньона во Флоренцию со знакомыми купцами. Я и не Петрарка, и знакомых купцов нет, все же удастся по временам кое-что свое (совершенно безобидное) переслать. Недавно в Америке (печаталась в Германии) вышла большая моя кн. "Река времен", вроде некой антологии избранных моих писаний 1917-1964 гг., это не о Данте, а что я сам сочинял с ранне-зрелых лет до старости, по части т. н. "беллетристики" (ненавижу это слово, а другого как будто нет).

Желаю Вам всего лучшего в наступившем году, трудов и дней в добром здравии.

С совершенным уважением

Бор. Зайцев

Публикация Н. Г. Елиной

⁹ Бембо Пьетро (1470-1547) – итальянский поэт, прозаик, филолог. В трактате "Рассуждение в прозе о народном языке" (1525) сравнивал Данте с Петраркой и отдавал решительное предпочтение второму.

¹⁰ Краус Ф. Х. – немецкий дантолог (Kraus F. X. Dante. Sein Leben und sein Werk. Sein Verhältnis zur Kunst und zur Politik. Berlin, 1897).

¹¹ Очевидно, подразумевается одно из изданий "Божественной комедии" с комментариями известного швейцарского дантолога XIX века Дж. А. Скартаццини.

¹² Кроче Бенедетто (1866–1952) – выдающийся итальянский философ, историк, литературовед, критик и публицист. Ему, в частности, принадлежит широко известная среди дантологов работа "Поэзия Данте" (La poesia di Dante. Bari, 1922).

НОВЫЕ ВОРОТА

Нина ВОРОНЕЛЬ. «Полет бабочки» – «МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ», 1999.

Нина Воронель написала приключенческий роман с неременной love story – книгу для «всех». Это вторая серия трилогии «Гибель падшего ангела». В первой, с элементами готического романа, действие происходило в старинном замке – теперь оно переносится в таинственную библиотеку, где вдалеке от любопытных глаз ведутся переговоры арабского принца с израильтянами.

Обе стороны стремятся тайну свято сохранить и, само собой, обеспечить безопасность мероприятия. Коварные враги ставят себе противоположные цели. Кто друг, кто враг, а кто просто так – книжки читает, – к удовольствию любителей жанра, определить поначалу совершенно невозможно, и читатель бродит в густом тумане, который рассеивается, как ему и положено, только к концу романа.

И трупы, и эротика – все по обязательному меню, все останутся довольны. Но есть и специфические блюда: в наличии большая гомосексуальная тема, поданная в психологическом и гуманистическом ключе – симметричная лесбиянскому сюжету на обочине первой книги (страшно представить, что может ожидать читателя в последней серии). В наличии также легкий инцестуальный флер: у злодея – любовника матушки героя – в иные времена был роман с подругой Ури, все еще остающийся сюжетно актуальным. Предлагается также эдипов комплекс Ури. То есть много чего интересного.

А еще – исторический роман в романе. Что-то вроде «Рукописи, найденной в Сарагосе»: вдруг возникает некий зашифрованный дневник, переносящий действие на иные берега, а в том дневнике – роман о Рихарде Вагнере (возбуждающий ассоциации с романом Годунова-Чердынцева).

Да, вот еще: большой хэппенинг – костюмированное и исторически точное воспроизведение битвы при Ватерлоо. Драгуны с красными носами, уланы с положенными им хвостами – кусают длинный ус, скачут, палят из ружей и пушек и воинственно машут саблями. Во время этих гуляний, с воодушевлением представленных местными пейзажами, возникает непредусмотренный знаменитым сражением труп. Мы-то, читатели Честертона, только того и ждали: где спрячет мудрец труп? Ну конечно, в сражении! Подумаешь, тоже мне, бином Ньютона!

Но ведь, согласитесь, в такого рода сюжетах не только неожиданность, но и предугаданность партитуры создает желанный эффект. Кого бы тут привести в пример? Да хотя бы Хичкока! Известный кинорежиссер так определяет излюбленный свой прием: «поощрение захватывающего дух любопытства и создание чувства общности между режиссером и зрителем, которые знают, что должно произойти».

Теперь, вроде бы, про приключенческий роман действительно все – можно поставить точку.

И взглянуть на вещи с иной (внефабульной) стороны.

Чем отличается Честертон от, скажем, Артура Конан-Дойля и Агаты Кристи? Интерес последних целиком сосредоточен на детективе: на его механике, динамике, загадке и ее неожиданном разрешении. Впрочем, стоит оговориться: Василий Розанов нашел в историях Конан-Дойля совсем иные (о, совсем иные!) материи, а в повествовании Агаты Кристи можно увидеть много чего, не сводящегося без остатка к жанру, – скажем, любовь к английской деревне порой только простодушно притворяется инструментальной и, кажется, сама готова использовать сюжет для очередного самопроявления.

И тем не менее по сравнению с Честертоном они пуристы: ведь для Честертонa детектив – лишь излюбленная форма рассказа о действительно важных для него вещах.

Точно так же важные для Нины Воронель вещи вовсе не утилизируются сюжетом и живут своей собственной, вполне независимой от него, жизнью.

Русский читатель первой книги трилогии – «Ведьма и парашютист» – только лишь отчасти может оценить напряженность еврейско-немецкой love story, в особенности, если еврейское дается в израильской аранжировке. Германия до сих пор остается в еврейском массовом сознании непреодоленной темой – еврейская эмиграция в Германию представляет чем-то чудовищным.

Между тем героиня романа – «ведьма» – воплощение des deutschen Weiblichen – в более широком контексте воплощение Германии и Европы, заворожившее молодого израильянина. Под сурдинку дана тема блудного сына: герой – еврей-свинопас немецкой ведьмы – для повышения градуса занимается заодно и убоем нечистых животных. Неспециализированный читатель не углядит оксюморона в свином сюжете евангельской притчи – Нина Воронель возвращает ему смысл, внятный тем, кому этот рассказ первоначально был адресован. Герой в сладостном плену («рабстве») у ведьмы-Европы с ее замками, подземельями, ужасными тайнами, священными камнями, свиньями, неведомым в Стране Израйля чудом листопада и культурой, культурой, культурой... Как мог ты, смелый и свободный, забиться у ласковых колен? Израильской маме-йеке* все это представляется полным кошмаром.

Борьба за Инге становится и борьбой за Европу. Персонифицированный террор хочет ее использовать и подчинить, молодой израильянин – влюблен и очарован. Ури реставрирует немецкий замок – Карл хочет взорвать все это отжившее европейское мироустройство, репрессивную культуру, сковавшую свободу человека.

Действие второй книги трилогии также разворачивается в самом сердце Европы – в старой доброй Англии. Это, с одной стороны, деревня, а с другой – средоточие культуры – библиотека с хранилищем редких книг, древних рукописей и инкунабул. Все вместе – воплощение западного мира.

* Йеке (израильский сленг) – евреи – выходцы из Германии. Йеке – производное от jacket. Евреи из Германии, составившие особую иммиграционную волну в Палестину после прихода Гитлера к власти, продолжали упорно ходить в пиджаках – одежде, казавшаяся странной и совершенно неподходящей к здешней жаре.

Не ведающий израильских реалий читатель не увидит ничего особенного в описании летнего дождя – мало ли таких текстов в литературе?! Однако автор и его израильские герои живут в мире, где дождя летом не бывает НИКОГДА, где летом смиренно молятся не о дожде – только о росе, и в этом контексте сцена дождя теряет свою нейтральность: написать о летнем дожде хотелось совершенно безотносительно, о, как хотелось, сидя у себя в северном Тель-Авиве, еще раз пережить это великое европейское чудо!

В известном смысле главный субъект романа – библиотека (в первой серии эту роль играл старинный замок), она не просто background, она живет самостоятельной и не сводимой к сюжету жизнью. На протяжении почти всего повествования возникают книги, полки, двери, переходы, узкие лестницы, галереи, хранилища. Герои живут в сгущенном мире культуры. Тень Борхеса явственно бродит по таинственной библиотеке.

Библиотека задает уничтожающий масштаб происходящему – величественное обрамление сиюминутных политических и человеческих страстей. Еврейско-арабская интрига нуждается в большой европейской библиотеке только лишь как в инструменте прикрытия, только как в декорации. Многочисленные агенты искусно изображают европейцев и притворно листают старинные фолианты, вовсе не интересуясь их содержанием.

В «Полете бабочки» как бы пародируется картина мира, которая предполагает таинственное еврейское сокрытие за разнообразными масками: худшие подозрения подтверждаются – самые неожиданные персонажи действительно оказываются евреями.

Роман наполнен культурными реалиями Европы – еврейские отсутствуют начисто. Самое древнее из упомянутых еврейских событий – Война Судного дня. 1973 год. В терминах книги, «Йомкипурская война» – мелкий пример специфического русского волапука в Израиле. Можно сколько угодно говорить о тысячелетиях еврейской истории, богатстве, глубине, высоте и красоте еврейской культуры – но уж, извините, чем богаты, тому и рады. В романе Нины Воронель не имеющим ничего своего за душой бедным детям сионизма нечего противопоставить неотразимому влечению к Европе – они безоружны. Бен-Гурион говорил: у меня нет других евреев. Вот и у Нины Воронель других евреев тоже нет.

Карл, желающий взорвать Европу, – сам подлинный европеец, он персонификация ее собственной воли к смерти. Ури чужак, пришедший из-за моря и полубивший. Карл – возненавидевший, но свой: это его мир, его «библиотека». Его конфликт с Европой – семейный конфликт, его неотразимое мужское обаяние – обаяние не только арийского облика, но и европейской души. В дни долгого заточения он пишет роман о Вагнере, роман о Европе – о ком могли бы написать роман еврейские герои книги?!

В конце первой части трилогии Ури обнаруживает останки Карла; «Карл больше не придет», – последние (утешительные) слова книги. Во второй части Карл воскресает. Надо полагать, третьей книги ему, из жанровых соображений, никак не пережить. А жаль – уж больно хорош! Ну и кроме того, типологически он, конечно, бессмертен, как бессмертен бунт Европы против самой себя.

Мать Ури, прекрасная Клара, твердо знает, что Вагнер – «нацистский ублюдок» (грубое и примитивное идеологическое клише из тех, которые, вообще говоря, не свойственны сознанию героини), но она не в силах противиться его музыкальному напору. Как и обаянию Карла, который, симметрично Вагнеру, оказывается в конце концов нацистским ублюдком.

Роман Клары и Карла, как и роман Ури и Инге («ведьмы»), – еврейский роман с многоликой Европой. Для Ури и Инге – это любовь двух миров, негалахический плод которой растет во чреве Инге: ребенок Ури уже не будет «настоящим» евреем. Если только Нина Воронель не прервет насильственной рукой Карла ее беременность, а то и жизнь, в последней книге трилогии и, ради великой сионистской идеи, не возвратит Ури в еврейский мир, лишенный листопада, летнего дождя, «библиотеки» и священных камней.

Проблема в авторе: ведь здесь Нине Воронель придется разрешать не только сюжетные коллизии, но и проблемы большого контекста. Конечно, Ури остается и в Европе израильянином, более того, он рискует жизнью, выполняя задание родных спецслужб – на этом, собственно, и построен роман. Но внесюжетно, по большому счету, это не имеет ровно никакого значения. Автор волен, конечно, распорядиться судьбой своих персонажей (хозяин – барин) – да только большой выбор Ури уже сделан.

Бедный Самсон Вырин оказывается посрамлен и в «Полете бабочки»: правды нет и выше. Со свинопасом Ури, как и со станционной дочкой, вопреки евангельскому назиданию, визуализированному в повести в народных картинках с приличными, как бы специально для Нины Воронель, немецкими, стихами, ничего дурного вдали от «отца» не произошло – оба они явным образом прижились на чужбине, и небеса не спешат покарать их (ну разве что меч, отвергнутый Иваном Белкиным, возьмет в свои руки Нина Воронель – впрочем, я рассчитываю на ее милосердие).

До Карла у Клары было бесчисленное множество еврейских любовников. «Бесчисленное» даже не столько в смысле их количества, сколько в смысле их жизненной незначительности – они просто не шли в счет, их как бы и не было. Карл – совсем иное, тут большая европейская страсть. Как бы нарочно (почему как бы? просто нарочно!) рядом обретается бывший любовник – высокопоставленный функционер израильских спецслужб. Ну никакого сравнения! Нина Воронель вложила в карман рубашки работника героической профессии меняемую раз в три года зубочистку – пусть будет рядом с Карлом еще гаже!

Занятный момент: Клара знакомится с Карлом по пути с концерта Вагнера в Иерусалиме, и этому знакомству предшествует полная перемена отношения к композитору: от априорного рационального отвращения до невольного чувственного влечения. Она размышляет о Вагнере, и тут появляется Карл с его акцентированно породистым арийским обликом. Вагнер вызывает Карла из небытия.

Связь Карла с Вагнером намечена еще в предыдущей книге:

Ури, видя фото Карла, непроизвольно сравнивает его с вагнеровским Зигфридом. Там, впрочем, это выглядит не более чем расхожим клише, оброненным мимоходом, случайным и ни к чему не обязываю-

щим замечанием, тут же и забытым – из этого едва видимого семечка вырастает баобаб.

В первой встрече Клары и Карла возникает забавный узор, едва ли предусмотренный автором, но зато диктуемый рельефом. Впрочем, с чего я взял? Может, и предусмотренный. Знакомство героев происходит на дороге, ведущей из Иерусалима в Тель-Авив. Не просто на дороге между двумя этими городами – тут важно именно направление движения: это большой горный спуск.

На иврите спуск – *йерида*, подъем – *алия*. Смысл этих слов, соответствующих исходно чисто физическим действиям, давно уже расширен: *алия* – это, кроме того, духовное восхождение, *йерида* – духовное снижение, падение. Вызов к чтению Торы в синагоге – *алия*, репатриация в Израиль – *алия*, приезд в Иерусалим – *алия*. Эмиграция из Израиля – *йерида*, наихудшая *йерида* – в Германию. Таким образом, Карл ловит Клару на *йериде*.

Роман с Карлом – мужским лицом Европы – кончается для нее полным крахом. О, Европа умеет прельстить и использовать евреев! Теперь Кларе не остается ничего, кроме как вернуться в свой еврейский мир и зализывать раны, которые вряд ли когда-нибудь заживут.

«Полет бабочки» – книга, напитанная эротикой. Речь даже не об откровенных сценах (хотя и это непременное блюдо в меню, конечно, имеется), а об общей атмосфере. Клара окружена эротической аурой, она источает эротические флюиды. Все это тонко и умело исполнено. До сих пор Клара всегда (типологически) была победительницей, манипулирующей мужчинами, но годы уходят, и стареющая женщина пристально-сокрушенно разглядывает морщинки у глаз. Карл появляется в момент острого кризиса, он – идеал мужчины, он возвращает ей наполненность и осмысленность жизни. И вот, на взлете внезапного немыслимого счастья, в точке самого великого своего любовного торжества Клара сокрушена, сердце ее навеки разбито – Карл-таки украл ее кораллы. Какое значение имеет сюжет?! – драма обманутой женщины внесюжетна, боль Клары больше перипетий приключенческого романа.

И милосердная Нина Воронель прерывает потерявшую вдруг смысл жизнь своей героини, материализуя глухую («кладбищенскую») стену, перед которой та вдруг очутилась. Впрочем, глядишь, Нина Воронель, поступив не менее милосердно, воскресит ее в следующей книге – свои возможности чудотворства она уже продемонстрировала с Карлом. Правда, с ним было попроще: он ведь больше, чем человек, – он вечный бунтующий дух Европы, Клара же просто обыкновенная несчастная женщина, но ведь, с точки зрения читательского интереса, – Клара не меньше Карла.

Выбитый из колеи Ури звонит из Англии своей далекой немецкой подруге. Какой-то необязательный разговор. И вдруг она на пустом месте, как бы невпопад спрашивает: ты что, был сейчас с женщиной? И сердце обрывается, и большая политическая и культурологическая игра со всеми сюжетными ухищрениями становится неважна перед внезапной, ничем не мотивированной, догадкой страдающей женщины, которая перестает на мгновение быть персонажем романа.

Лиора КНАСТЕР. «Андрогин» – Иерусалим, «СКОПУС», 2000.

Нужно обладать известной смелостью и уверенностью в собственной поэтической правоте, чтобы в наше время всеобщей иронии заговорить в стихах торжественным, почти жреческим слогом:

В этом городе я называю тебя Ариэль...

Чтобы ориентироваться в этих стихах, нужно многое знать. В них и танахические ассоциации, и мидраш, и каббала, и языческая мифология, и средневековье, и вообще история.

Однако, несмотря на обилие и свободу ассоциаций, поэтический мир Лиоры Кнастер естественен, она действительно живет в этом мире. Порой кажется, что она и на самом деле когда-то, в прошлых жизнях, была:

В Изидином храме

Печальная жрица,

или кем-то еще. Во всяком случае, в истории, особенно в истории своей земли и своего народа, поэт у себя дома.

«Roma capta» – скажу – и перечить не вздумают мне,

На дворе Возрождение, и ярче комет – Эмпирей...

Это было в Мероне, в пещере – виденье во сне:

О сиянии славы в посмертной победе моей!

Это говорит Шимон Бар-Кохба – как бы в присутствии поэта.

Возвращение домой имеет для Лиоры Кнастер огромное значение, именно здесь она может накоротке говорить с прошлым и настоящим своего народа, и поэтому ей хочется уверить и себя, и всех нас, что только здесь началась ее истинная жизнь:

Так это было, когда перешли мы впервые предел Иордана...

Страстный земли канаанской напев проснулся,

Все европейское, все наносное с меня слетело.

Или еще конкретнее, не о Европе вообще, а о России:

Когда Египет покидали мы,

Не так ли затонула Атлантида?

Так и Россия, словно Китеж-град,

Ушла из нас в подводные глубины...

Не оспаривая право поэта на чувство разрыва с тем, что не было подлинной жизнью, все же я не верю в полноту этого разрыва. Хотя бы потому, что Эрец-Исраэль в этих стихах является в конкретной исторической реальности, и поэт вовсе не чужд ни языческих, ни иных исторических ассоциаций – ведь Слово звучало в реальной истории. И еще потому, что Лиора Кнастер едва ли не проговаривается декларацией, столь близкой мне самому:

Две жизни хотелось прожить

До срока, полсрока и сроков,

Гекзаметр эллинов шить

С апатестом наших пророков.

Тут есть еще один мотив, очень важный в поэзии Лиоры Кнастер: «две жизни». И не только две жизни, но и две сущности, соединенные в одном: мужское и женское (андрогин!), земное и небесное, человеческое и божественное. Соединение противоположных начал. «Андрогин»:

*И жизнь вращается как слово,
И совмещается Псалом
Йерушалаима простого
С его небесным двойником.*

Мотив то совмещения, то взаимоотражения то и дело возникает в стихах, свидетельствуя о единстве земного и высшего миров, единстве, но не смешении, единстве в иерархии – это уже мотив каббалы. Такое ощущение мира многое объясняет. Хотя бы то, что поэт в стихах о любви, о любимом легко переходит на иные, казалось бы, сущности:

*Ты мной и многими был любим.
За что? Неясно, за что...
Пока мужчина неизъясним –
Женищина любит его.*

*А летнее небо проходит, как нимб,
В похожем, чей образ – из пыли...
И если бы был Господь изъясним –
Мы бы Его не любили.*

Смелость сопоставления здесь может шокировать лишь тех, кто не знаком со страстной чувственностью танахических текстов.

И та же страстность в стихах, где исторические и современные реалии не просто перекликаются, а естественно соединяются, поскольку едина эта земля и наша жизнь в истории и на этой земле.

*потеряли ключ от Третьего Храма
и хеттейским стало поле Эфрона
потому что нас нет – и никто не плачет
строят в Газе гавань рабы Дагона*

*станем новым штатом пятому рейху
островов искусственных понастроим
и себя сами же в море сбросим
в небесах промедлив сгустилось время*

*затерялся в небесных путях Мессия
и Шмишон не сможет найти колонны
и никто теперь нам не поможет –
это Твой день наступил, Всесильный!*

Тут, кажется, точно достигнуто соединение пророческой страстности с эллинской эпикой. Гнев, свобода – все здесь есть, но главное все же – свобода.

Стихи Диоры Кнастер – не всегда легкое чтение. Нужно известное усилие, чтобы войти в этот мир, пронизанный политическими, историческими, а то и мистическими отражениями. Но усилие вознаграждается: поэт свободен в этом мире, свободны и мы.

Владимир Френкель

Татьяна ОЧЕРЕТЯН. «Поэтические миниатюрь» – Иерусалим, «МАХАНАИМ», 1999.

Я не принадлежу к любителям верлибра – скорее, отношусь к его противникам. Вслед за Давидом Самойловым принимаю верлибр *только на фоне рифмованного стиха как периферийную структуру последнего*. Думается, для этого есть серьёзные объективные причины. Известно, что верлибр возник во французской поэзии в силу фонетических свойств языка: постоянное для большинства слов ударение на последнем слоге привело в конце концов (и уже довольно давно) к исчерпанию рифменного запаса французского стиха. Сходная ситуация через какое-то время сложилась в английском, польском, других языках, и к концу XX века верлибр занял прочные позиции в большинстве европейских и американских литератур.

Иное дело русский язык. Ударение в нём не фиксировано в какой-то одной позиции, и запас русских рифм практически неисчерпаем. Русская поэзия многократно переживала становление и освоение новых форм и систем, но всегда это были рифмованные стихи. Верлибр даже в лучших русских образцах производит впечатление чего-то инородного, заимствованного. В рядовых же случаях он заставляет вспоминать строку пушкинской эпиграммы: *...что, если это проза, \ Да и дурная?..*

Сторонники верлибра обычно (и не без основания) в качестве главного аргумента выдвигают словесную избыточность рифмованного стиха и случайность многих его атрибутов: дескать, ради рифмы и размера многие слова притягиваются за уши. В ответ можно сказать только одно – так называемые необязательные слова, если речь идёт об истинной поэзии, участвуют в создании *звучания* стиха, а это едва ли не самое главное в искусстве стихосложения. В то же время верлибр, в силу размытости формальных критериев, слишком лёгок и доступен для шарлатанов, когда любой произвол и просто неумение могут быть выданы за последнюю новацию.

Так или иначе, но пока что верлибр в русской поэзии скорее постоялец, нежели хозяин.

Тем более неожиданным было для меня впечатление от знакомства с верлибрами Татьяны Очеретян. Они не изменили в целом моей позиции, но позволили увидеть то свойство верлибра, которое раньше – у других авторов – я не ощущал. Лучшие стихи Татьяны Очеретян представляют собой своего рода поэтические сгустки, лексический концентрат, энергетический выплеск; их трудно воспринимать подряд в большом количестве, ибо всякий раз читатель оказывается в мощном силовом поле немногих слов, образующих стихотворение, и нуждается в своего рода разбавлении этого концентрата своими личными ассоциациями и воспоминаниями.

Для примера – почти наугад – привожу два стихотворения из сборника:

* * *

чёрный цвет
ощутил
в себе
отраженье зелёного
и вздрогнул
от неожиданности

* * *

сегодня
 взвоздь программы
 взлетающий под купол
 хрупкий мир добра
 и лошадь белая
 внизу
 на круге
 подставившая спину

Не знаю, как у других читателей Татьяны Очеретян, но у меня неоднократно получалось так, что по прошествии нескольких дней я не всегда мог точно вспомнить прочитанное, однако оставалось ощущение грозного разряда и запаха озона, очистившего атмосферу души... Но ведь это и есть поэзия!

Если верно утверждение, не мною первым сформулированное, что в искусстве не столь важно ЧТО, а важно КАК, то этой замечкой я приглашаю любителей поэзии почитать «Поэтические миниатюры» и, читая, вслушаться именно в то, КАК высказывается Татьяна Очеретян.

Наум Басовский

Дмитрий БАЙДАК. «ВЕТЕР ПОЛНОЛУНИЯ» – Иерусалим, «СКОПУС», 1999.

Всё-таки какие-то очень уж схожие книжки выпускаются нашими русскоязычными издательствами. Черно-белые, с графикой уровня учебника геометрии...

Вот и ещё одна. Тут-то и начинается настоящее всё-таки. Прямо с предисловия.

Даже раньше. С прямо-таки детективно-колдовского названия.

Полнолуние, как известно, время тайнств, магии, ворожбы. Ёлки-палки, что может принести такой ветер? А предисловие нам уже подсказывает новый миф – ОДЕКАЛ. Общество детей капитана Лебядкина города Перми. (Не путать с детьми лейтенанта Шмидта, хотя некоторые параллели, наверняка, могут быть обнаружены.) Общество, само по себе создававшее и культивировавшее разношерстные мифы и легенды, а также самобытных литераторов, в чём убеждаешься на примере автора книги, основываясь уже хотя бы на форме и стиле предисловия.

*всё-таки предисловие
 читатель,*

... ..

пермь. город такой. в россии. страна такая. хватит с вас.

Немного неуважительно? А на самом деле – коротко и чётко. Тот, кому это не по нутру, дальше не сунется. И территорию удалось отстоять, и читателю, привыкшему к определённому стандарту, время сэкономить.

Дальше – больше. Начинается всё с привычных классических форм и даже ссылок на библейские сюжеты...

*помедлил семь дней и опять
выпустил голубя из ковчега
Всё темнее, чем есть. Всё темнее, чем было и будет.
И как кот по карнизу, крадёт авто в полусне.
Фиолетовый рай, стон черёмухи, рисовый пудинг,
скрип сустава и мышцы, рябиново-приторный крем.*

*Что же давит на лоб? Почему так мучителен вечер?
Ненадёжен и влажен его синоптический свет;
может, голубь вернулся, никем до сих пор не замечен,
и кружит над ковчегом, и Ноя поблизости нет...*

и доходит до настоящего сюра, до стёба. Без определения фразы, заглавных букв и знаков препинания, да и зачем, когда центральной становится совсем иная форма. Формы речи, сочетания форм, звуков, ассоциативные ряды, полуфразы, полуслова, полутона, выворачивающие наизнанку все наши притянутые за уши и удерживаемые за хвосты убеждения, все наши фобии, комплексы и прочий скарб интеллигентского набора души.

*По лесам плыла обманчивая мера,
и, как венчик рыжий, угасая,
моя вера, химия, химера
лопались паучьими холстами,
опытную эру раздевая...*

Видите, и тут вера лопалась, преломлялась в химию бульдога с носорогом и в химеру – и хочется, чтобы что-то было, да уж больно больно всё получается, невероятно, особенно, когда время больше не завеса и всё с ног на голову, и эра тут и общая, и личная проглядывает...

Вообще, построение книги такое, что это, действительно, либо сошествие во ад, либо спуск в ледяную воду по ступенечкам.

Одно из стихотворений начинается строчкой *...Мой мерный эпатаж...* и это, мне кажется, лучший подзаголовок, объясняющий позицию автора в глазах читателя. Именно мерный. Погружение постепенное... Но – ЭПАТАЖ!

Клоунада. Злой клоун или робкий клоун театра НО? Ещё один миф. Ясно, что автор иронизирует, но неужели везде? Читатель заинтригован. Читатель не хочет быть глупым, даже в своих собственных глазах, не говоря уже о тех, похожих на тлеющее двоеточие.

Чувствуете, как добавляется остроты, как подливается масла в огонь?

То ли один из бесенят тонкого стёба, то ли... то ли ангел, духом раскалённый.

Вывести личность за скобки строк можно, но не нужно. Представьте себе, что кто-то сдёргивает во время камлания маску тотема с грозного таинственного шамана и под ней обнаруживается, например, сосед со второго этажа, вечно недовольный тип в неизменном тренинге и столь же постоянном недосыпе. Нехорошо. А так всё в ажуре:

*...Наслоение тени на тень.
Наслоение яви на явь.*

Автор постепенно приходит к почти танаховскому минимализму, и повторения несут на себе какие-то запредельно важные функции, подчёркивая исключительность сказанного, его особую значимость, или подразумевая различные толкования одного и того же. Впрочем, для этого повторения и не обязательны. Большинство текстов книги и так не созданы для логического осмысления, а лишь для того, чтобы ощутить, угадать, поиграть... Новая игрушка филологу.

Книга состоит из пяти книг, тетрадей, периодов. Сначала декларация: я – Художник. Режущий, сияющий реализм, а потом – всё дальше и дальше, к остроугольным, квадратно-гнездовым женщинам, через экзотические отступления, нашему автору удавшиеся просто замечательно в подражаниях японской поэзии. Не знаю, были ли у Художника слова (... два оползня... Обрезание образа до степени НЮ... и пр.) голубые и розовые периоды, но, прогулявшись от края до края «Полнолуния», и, приняв ласки и пощёчины ветра его, убеждаешься, что черно-белая обложка обусловлена скрываемым под ней материалом. Резкость, крайность, бескомпромиссность, постоянное противопоставление, противостояние. Злость как форма выживания. Жутковатый смех и подкупающе спокойная серьёзность.

Стихи таковы, что в большинстве случаев, каждый прочтёт лишь то, что в нём самом закопано, а слова и строки, столбики текста, это только кусок динамита, который иногда срабатывает...

*Я надрежаю вену
и кончиком пальца рисую
верхний в ряду иероглиф.
Сначала он ярко-алый,
но, высыхая, бледнеет...*

Чем же писать мои танки?...

Не хочется приводить много цитат, так как любой текст является цитатой из чего-то неизмеримо большего.

Из самой жизни. Берёшь в руки пласт дымящейся жизни и читаешь.

Чудо?

Чудо всё-таки.

Ирина Тверская

Ефим ГАММЕР. Русский батальон. – Иерусалим, «МИРЫ», 1999.

В предисловии автор сообщает:

Эта книга создавалась двадцать лет, с 3-го декабря 1978 года, со дня моего приезда на Святую землю. Она о превращении галутного еврея в израильтянина, а гомо советикуса – в свободного человека. Она – обо мне самом, и о каждом из нас – о каждом, кто вступил на Землю Израйля не туристического променада ради.

Время книги как бы течет в обратную сторону, а то и делает зигзаги: в романе действие происходит в Израиле в 90-е годы; в цикле рассказов «По обе стороны прицела» – 80-е, Ливанская война, интифада; «Закон бокса» – герой еще в Союзе, собирается уезжать, едет...

Такое построение не случайно, ведь это именно книга, а не просто сборник прозы. Герой – и герои – находятся не только в разных ситуациях, но и в разное время, и в разных жанрах прозы; высвечиваются то в одном, то в другом измерении. Содержание «Русского батальона» я пересказывать не буду: это приключенческий роман, почти детектив, почти боевик, и лучше заранее ничего не знать. В сущности, эта проза написана как киносценарий, но именно «как» – это художественный прием, только подчеркивающий экспрессию и текста, и романтических ситуаций. Солдаты, гости из Союза, террористы, прошлое и настоящее героев – все завязано в тугой узел, все идет, как положено, к кульминации в конце, где все находят свою судьбу, которую каждый выбирает себе сам. Это главное. Это активный, «боксерский» взгляд на мир, и сам стиль прозы вполне соответствует этому: четкие, резкие фразы, стремительные повороты сюжета.

Можно по-разному относиться к такой прозе, но, во всяком случае, для меня она лучше, чем распространенная нынче манерная игра словами, когда автор мазохистски радуется, что не может выбраться из собственной фразы.

Я не слишком жалую боевики, и потому меня больше привлекла вторая, меньшая по объему часть книги: рассказы, похожие на очерки, на репортажи с поля боя, причем, зачастую в прямом смысле. Текст максимально приближен к реальности. Восточная толпа в Газе: агрессивная, несчастная, истеричная. Наглая и трусливая поездная обслуга в «польском коридоре», когда герой едет в Вену. Это именно тот мир, который нам противостоит, это реальные враги, а не «партнеры по переговорам».

Автор не просто всегда помнит о том, что он – еврей, что он вернулся домой, – он этим живет.

Книга могла бы быть названа и «Закон бокса», и «По обе стороны прицела» – не только потому, что Ефим Гаммер – спортсмен, боксер, что он был солдатом. (А еще он – художник, поэт, журналист.) Закон бокса – это умение адекватно и немедленно реагировать на окружающий мир, на его вражду и агрессию. Уместно вспомнить строчки Бродского:

*Зло существует, чтоб с ним бороться,
а не взвешивать в коромысле.*

Но не было бы сил для этой борьбы, если бы человек не знал, откуда он пришел и что у него за спиной. За спиной у автора – имя. Имя.

«История моего имени» – лучшая, по-моему, вещь в книге. Это, пожалуй, очерк: речь идет о реальном человеке.

Это имя я получил, как это положено еврейской традицией, по наследству. От моего дяди Ефима Янкелевича, умершего после допросов в канун моего рождения.

Вот и все, что досталось мне от дяди Фимы, «японского шпиона» и борца-тяжеловеса, выходившего в Одесском цирке против самого короля чемпионов Ивана Поддубного.

Но на самом деле досталось много. Ведь, по той же еврейской традиции, имя – это судьба.

Которую, конечно, еще надо завоевать.

Владимир Френкель

ШАТЕР КНИГИ

Книги и журналы, вышедшие в Израиле на русском языке в 1999 году*

Аврutiна Ора. Сумерки. [Стихи]. – Иерусалим: Издание автора. – 64 с. Тел. 972-2-6765119.

Баух Ефрем. Тень и слово. [Собрание стихотворений]. – Тель-Авив: Мория. – 384 с. Р.О.В. 3461, Kiriat Ben-Gurion, Holon.

Байдак Дмитрий. Ветер полнолуния. [Стихи]. Иерусалим: Скопус. – 96 с. Тел. 972-3-9527142, 972-2-6432962.

Бендер Людмила. Свободное падение. [Стихи]. – Тель-Авив: Оникс. – 154 с. Тел. 972-3-6318860.

Богуславский Иосиф. Впадина. [Роман]. – Тель-Авив: Starlight – 248 с. Тел. 972-3-6472392.

Брун Ада. Подлинная история Иисуса из Назарета. [Роман]. – Иерусалим: Издание автора. – 200 с. Тел. 972-2-9990498.

Верникова Белла. Звуки и слово. [Стихи]. – Иерусалим: Филобиблон – 140 с. Тел. 972-2-6764799.

Войтовецкий Илья. Мастера, подмастерья, подручные. [Сборник стихов]. – Безр-Шева: Авторское издание. – 112 с. Тел. 972-7-6432807.

Воронель Нина. Полет бабочки. [Роман, вторая книга трилогии "Гибель падшего ангела"]. – Тель-Авив: Москва-Иерусалим, Нево-Арт – 376 с. Тел. 972-3-647-23-92.

Время искать. № 2. [Журнал общественно-политической мысли, истории и культуры]. – Иерусалим: Издание культурно-просветительного общества "Тезна". – 200 с. Тел. 972-2-6241372.

Гаммер Ефим. Русский батальон. [Роман, рассказы]. – Иерусалим: Миры. – 184 с. Тел. 972-2-6764799.

Демази Нина. Моление о розе [Стихи]. – Тель-Авив: Starlight – 112 с. Тел. 972-51-564249.

22, №№ 111 – 114. [Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле] – Тель-Авив: Москва-Иерусалим (подготовка к печати: Меркур). – 224 с. Тел. 972-3-7394525.

Завельская Евгения. День Водолея. [Стихи]. – Иерусалим: Скопус. – 88 с. Тел. 972-2-6540136.

Зеркало. №№ 9-10 и 11-12 [Литературно-художественный журнал]. – Тель-Авив: Симаней Дфус. – 248 с. Тел. 972-3-5286053.

* Продолжение списка будет опубликовано в следующем номере "Иерусалимского журнала".

Список книг, вышедших на русском языке в Израиле в 1998 году, опубликован в №№ 1 – 3.

Заказать книги можно, связавшись с их авторами или издателями.

Иерусалимский журнал №№ 1, 2. [Журнал израильской литературы на русском языке]. – Иерусалим: Издание творческой ассоциации "Иерусалимская антология". Подготовка к печати: ЛИРА, Скопус, – 288 с. Тел. 972-2-6434005, 972-2-6432962, 972-2-6720025, 972-54-745322.

Левантийская корона. [Венки сонетов. Рита Бальмина, Игорь Бяльский, Семен Гринберг, Борис Камянов, Павел Лукаш, Петр Межурицкий и другие авторы. Комментарии Якова Шехтера]. – Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного– 262 с. Тел. 972-3-6316469.

Лейбович Елена, Лейбович Григорий. Я – еврей. Великие евреи от Авраама [160 рисунков-портретов. Краткие биографии]. – Тель-Авив: Interpresscenter.– 208 с. Тел. 972-3-5582393.

Лукаш Павел, Лукаш Светлана. Лилит. [Стихи]. – Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного– 32 с. Тел. 972-3-5513497.

Максимов Эдуард. Верю дождю. [Стихи]. – Иерусалим: Скопус. – 112 с. Тел. 972-2-6735055, 972-2- 6432962

Межурицкий Петр. Эпоха Кабаре. [Стихи]. –Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного– 40 с. Тел. 972-6-6261301.

Михайличенко Елизавета. Цветы виновности. (Одинокие диалоги). [Стихи]. – Иерусалим: DIXI. – 120 с. P.O.B. 33055, Jerusalem 91037.

Резников Алекс. Иерусалим: улицы в лицах.– Иерусалим: ЛИРА. – 304 с. P.O.B. 28087, Jerusalem, 91280. Тел. 972-2-6438498

Розен Гершон. Теория Царства Божьего. [Научный фундамент построения на земле Царства Божьего]. – Иерусалим: Цур от. – 392 с. Тел. 972-2-6735055, 972-2-5009974.

Рубина Дина. Высокая вода венецианцев. Библиотека "Иерусалимского журнала". [Повесть, рассказы, монологи]. – Иерусалим: ЛИРА. – 244 с. Тел. 972-2-5352435.

Рубина Дина. Под знаком карнавала. [Проза]. – Иерусалим: ЛИРА. – 240 с. Тел. 972-2-5352435.

Солнечное сплетение №№ 4, 5 (112 с.), *№№ 6, 7* (96 с.). [Молодежный журнал]. *№ 8* (176 с.), *№ 9* (168 с.). [Литературный журнал]. – Иерусалим: Beseder. Тел. 972-2-6232852.

Слуцкая Лидия. Солнце на крыше. [Стихи]. – Иерусалим: Скопус. – 88 с. Тел. 972-2- 6429587, 972-2- 6432962

Ступников Александр. Комплекс полноценности. [Стихи]. Тель-Авив: LOS-DESIGN. – 188 с. Тел. 972-3-5592055.

Хагай Игаль. В конце дней. [Стихотворения и поэмы]. Тель-Авив: Мория. – 384 с. Тел. 972-3-7326514.

Шойхет Александр. Танцы на чужих свадьбах. [Проза]. Тель-Авив: Starlight – 248 с. Тел. 972-3- 9615763.

**Издатели и авторы, желающие опубликовать
в "Иерусалимском журнале" информацию о вышедших книгах,
могут прислать эти сведения в редакцию.**

УЛИЦА ВСЕГДА

ЖУРНАЛ И ГОРОД

Для названий рубрик – вместо традиционных – мы выбрали иерусалимские топонимы: названия ворот Старого города, улиц, холмов, кварталов, парков... С некоторым опозданием – конечно, это надо было сделать в первом же номере – попытаемся пояснить связь между рубриками и публикациями.

Лев – символ колена Иеуды, символ еврейской столицы, изображенный на ее флаге и воплощенный в бесчисленном количестве городских скульптур. В «Львиных воротах» публикуются произведения авторов, живущих в Иерусалиме и его окрестностях. Яффские (обращенные в сторону Тель-Авива), Шхемские (северные) и Сионские (южные) ворота города дали названия разделам, в которых публикуются стихи, повести, рассказы и главы из романов писателей, проживающих соответственно в центральном, северном и южном районах нашей страны. Однако среди авторов журнала – не только израильские писатели. А потому в нем нашли свое место и такие «географические» имена иерусалимских кварталов, как Американская колония и Русское подворье, Немецкая колония и Бухарский квартал...

Замечательный писатель и один из величайших еврейских политических деятелей двадцатого века Владимир Жаботинский... Улица Жаботинского – так назван журнальный раздел, посвященный истории нынешнего (сионистских времен) Израиля.

Царь Давид, согласно библейской традиции, – автор бессмертных Псалмов и Песни Песней. Один из древних иерусалимских кварталов, *ИР ДАВИД* (Город Давида), дал имя рубрике, в которой мы публикуем исследования в области древней израильской литературы и новые переводы классических текстов.

«Улица Бецалель» – произведения современных израильских художников; «Улица Корчака» – педагогика и детская литература; «Подзорная гора» – статьи обзорного характера; в «Юбилейном квартале» – публикации к знаменательным датам; в разделе «Сады Сахарова» – материалы о правозащитниках, в «Холме Памяти» – воспоминания и слова прощания; в «Улице Поезд» – путевые заметки...

Раздел «Новые ворота» – о новостях культурной жизни, в первую очередь – о новых книгах и публикациях, выходящих в Израиле. В «Именах» мы рассказываем не только об авторах журнала, но также и об упоминаемых в наших публикациях персонажах, так или иначе связанных с историей Иерусалима и его топонимикой.

В новой рубрике «Улица Всегда» (может быть, точнее было бы перевести название этой улицы как «Всегдашняя») читайте рассказы о городских достопримечательностях, а также о происхождении их имен, давших названия разделам «Иерусалимского журнала».

Редколлегия

Алекс Резников

ЗАМЕТКИ ПРАЗДНОВАЮЩЕГОСЯ

...Я вынужден открыться, даже рискуя вызвать упреки в некотором эпатаже: тому, что другие воспринимают на полном серьезе, я внимаю вообще без всякого серьезе. Мне важна скорее интонация, с которой произносится слово. И, уловив ее созвучность своему до известной степени беззаботному бытию, я начинаю как бы перевоплощаться в свидетеля, а может быть, и участника далеких событий, оставивших свои неизгладимые отметины на современном облике Города.

Вы спросите, какое все это имеет отношение к Иерусалиму... Мне кажется, Город тоже упрямо не желает относиться к себе серьезно, хотя масса местного и пришлого народа подбивает его на это. Иерусалим слишком любит жизнь, чтобы стать памятником себе.

Можно одержимо прочитать горы книг о Иерусалиме, посетить сотни экскурсий и все равно остаться чужим Городу. Можно яростно верить в его небесное происхождение и не приобрести ничего, кроме «иерусалимского синдрома», который излечивается, и то не всегда, только в психиатрических больницах. Можно до хрипоты спорить о том, каким тысячелетием, столетием, годом датировать ту или иную достопримечательность, и не ощутить ранимую душу Города, небезразличную к высоким диспутам, но жаждущую только одного – любви.

Мне по душе названия рубрик в «Иерусалимском журнале». Дух творческого вдохновения парит в прозрачной иерусалимской дымке, придающей ему очарование Времени и Места.

...Яффские ворота (*ШААР ЯФФО*) названы так потому, что отсюда с незапамятных времен начиналась дорога к портовому городу Яффо. Нынешние ворота были построены в 1538 году, спустя каких-нибудь два десятилетия после того, как Иерусалим, равно как и вся Земля обетованная, были взяты под крыло набирающей имперскую высоту Османской Портой. Сам султан Сулейман, по прозвищу Великолепный, неусыпным оком следил за строительством крепостных стен, включавших, помимо Яффских, еще шесть ворот. Но именно Яффским суждено было стать порогом Города, от которого несколько веков начиналась собственно иерусалимская земля.

Даже любимая женщина султана Сулеймана – украинка Роксолана – была вынуждена терпеливо дожидаться у крепостных стен, пока со скрипом распахнутся громоздкие ворота, и она, совершающая вместе со своим караваном хадж по святым местам, сможет ступить в городские пределы.

Но то был шестнадцатый век, когда Сулейманова империя находилась на взлете. На излете же ее существования, в конце века девятнадцатого, туркам было не до жиру.

Германский кайзер Вильгельм II, собравшийся в 1898 году посетить Святой город, уподобив себя предводителям крестоносцев, обязательно хотел вступить в Иерусалим на коне через городские ворота. Мусульманская же традиция признавала такую привилегию только за лицами, покоровшими Город. Чтобы и кайзера не обидеть, и приличия соблюсти, «затурканные» отцы Города приняли компромиссное решение: сделать брешь в крепостной стене рядом с Яффскими воротами, чтобы кайзер въехал-таки в город на коне, но – не через ворота.

...А я свой путь держу на внутреннюю площадь Яффских ворот, над которой возвышается знаменитая Башня Давида – своеобразное «лого» сегодняшнего Иерусалима, в миллионах оттисков расстиражированное по всему миру.

Несколько лет назад в Музее истории Иерусалима (Башня Давида – один из его «объектов») проходила выставка «Иерусалим на экране: сто лет киносъемок города». Ее экспозицию составили десятки разновеликих экранов, «вписанных» в стилизованные под определенные периоды иерусалимской истории кинозалы. Все это создало неповторимый аромат не одной – нескольких эпох, проживших в течение двадцатого века еврейской столицей.

В одном таком кинозале можно было увидеть первые кинокадры, снятые в Иерусалиме в 1897 году посланцем знаменитых братьев Люмьер – оператором Александром Промио. До того, как начать крутить ручку киноаппарата, Промио переменял немало профессий: работал почтальоном, моряком, журналистом, и, наверное, поэтому в его коротенькой ленте на удивление много живых человеческих типов. Есть там и сценка, снятая возле Яффских ворот. Вот медленно проплывает перед объективом разноликая иерусалимская толпа, а на заднем плане неожиданно появляются двое мальчишек, уморительно кривляющихся на потеху публике.

Но веселятся-то эти ребятки рядом с могилами двух безвинно казненных людей, похороненных возле Яффских ворот. В назидание, так сказать, тем, кто ослушается повелителя и не выполнит его воли. История не сохранила имен архитекторов, строивших городскую стену и в силу каких-то неведомых нам обстоятельств оставивших за ее пределами гору Сион. Так что оттоманский Иерусалим свою «юрисдикцию» дальше Сионских ворот не распространил.

Сионские ворота (**ШААР ЦИОН**), возведенные в 1540 году, всегда напоминали мне лицо человека, изрытое оспинами. Хотя на самом деле это следы от неисчислимых пуль и снарядов, выпущенных противоборствующими сторонами в ходе двух судьбоносных для них войн – Войны за Независимость (1948) и Шестидневной войны (1967). Во время последней через эти ворота еврейские воины вошли в Старый город.

Вам, должно быть, тоже памятна фотография, на которой Моше Даян, Ицхак Рабин и Узи Наркис победно шагают по улицам

воссоединенного Иерусалима. Девять лет назад, только взойдя в Город, я сам себе казался юнцом в сравнении с этими людьми на фотографии, но сегодня чувствую себя почему-то намного старше их.

...Что может заинтересовать празднующего по Иерусалиму? История в ее систематическом изложении? Оставим это серьезным исследователям. А вот всякие любопытные рассказы, связанные с местными реалиями, – о, что за приятность для ленивого ума, жаждущего освободиться от каждодневных забот!

Мне при виде Львиных ворот, обращенных лицом к Масличной горе, вспоминается история о еврейской санитарке по имени Эстер. Когда в заключительный день Шестидневной войны передовые части наших сил вступили через эти ворота на знаменитую Виа Долороза (Крестный путь), сидевшая на крыше люка бронетранспортера Эстер увидела молодую арабку с раненым ребенком на руках. Она соскочила с машины и оказала малышу первую помощь. Потом побежала догонять товарищей, но неожиданно обнаружила, что за ней гонится пожилой араб в куфие, размахивая громадной жестяной коробкой.

Эстер не на шутку перепугалась (уж не за доброе ли дело ей собрались «воздать»?), но все же, пересилив себя, остановилась и дождалась старика. Оказалось, он хотел отблагодарить ее за спасение внука единственной своей ценностью – бельгийским шоколадом, невесть как попавшим в осажденный Старый город.

Сооруженные в 1538-1540 годах Львиные ворота (*ШААР АРАЁТ*) и по сегодняшний день сохраняют свое второе (а для верующих христиан – первое) название – Ворота Святого Стефана, ученика Христа, побитого рядом с этим местом камнями. (Умирая, он только и сказал своим мучителям: «Господи, не вмени им греха сего».) Город настолько щедр, что повсюду предлагает великое множество «разночтений».

Как человек, довольно скептически относящийся к апокрифам о деяниях апостолов (впрочем, и современных политиков тоже), я предпочитаю из всего узорочья версий выбрать наиболее фантастическую, связанную с наличием на барельефах, которые украшают стены, изображений львов. И совершенно простое сравнение тут же посещает мою голову празднующего: если Лев – это Царь зверей, то Иерусалим в обличье Льва – Царь городов.

...А Город и в самом деле мистически царственен. Так что и у Александра Македонского, озирающего его с Подзорной горы (*ХАР А-ЦОФИМ*, дословно – «Гора наблюдателей») взглядом непобедимого полководца, что-то ёкает в груди. Гора как гора, но не она царит над Иерусалимом, а Иерусалим над ней.

«С высоты» одноименной журнальной рубрики ситуация в израильской литературе видится, возможно, лучше. Между прочим, многие из книг, о которых говорится в этом разделе, уже заняли почетное «рабочее» место на полках библиотеки Еврейского университета, один из кампусов которого находится на Подзорной горе.

Тут я беру «Иудейские древности» Иосифа Флавия (на русском языке; количество «русской» университетской молодежи в стране

увеличивается с каждым годом) и читаю о том, как для встречи Александра Македонского процессия проследовала на Подзорную гору (в русской православной традиции – Дозорная гора, в греческой – гора Скопус). Отсюда, сообщает Флавий, «можно обозреть весь Иерусалим и его храм».

Находясь на Подзорной горе, Александр Македонский навсегда отказался от мысли покорить Иерусалим, ибо этот Город, наверное, единственный в мире, покорила самого завоевателя своей духовностью и благородством.

Гора знавала и смутные времена. После Войны за Независимость Еврейский университет, открытый еще в 1925 году, и больница Хадасса на Подзорной горе оказались отрезанными от еврейского Иерусалима. По соглашению с Иорданией, достигнутому при посредничестве ООН, сюда еженедельно направлялся транспорт, доставлявший врачей, медсестер и научных работников в штатском к их «рабочим» местам. 13 апреля 1948 года на колонну автомобилей было совершено вероломное нападение, в результате которого погибло 78 человек. Мне иногда видятся лица этих людей, как если бы я знал их лично. Обычные лица обычных евреев. В моем представлении они навсегда остались стражами Подзорной горы.

...Вот я стою и смотрю – правда, не как лев, а как другое исполненное чувства собственного достоинства создание, – на Новые ворота (*А-ШААР А-ХАДАШ*) Старого Иерусалима. Они были пробиты, можно сказать, почти недавно – в 1889 году, во времена правления султана Абдул Халида, и первое время даже носили имя «светлейшего». Не последнюю роль сыграл тут глас народа, то бишь многочисленных христианских паломников, которые все активнее посещали Иерусалим и не желали добираться до своих святынь сквозь толпы воинственно настроенных мусульман.

Ворота эти – очень скромные по своему архитектурному облику – после раздела города в 1948 году по приказу иорданских властей были замурованы, а вновь открыты только после Шестидневной войны.

Побывавший в 1965 году в Иерусалиме главный редактор нью-йоркской газеты «Новое русское слово» Андрей Седых (он же Яков Моисеевич Цвибак) любил вспоминать историю о том, как Арабский легион во время Войны за Независимость атаковал находящийся как раз напротив этих ворот монастырь «Нотр-Дам де Франс». Еврейским бойцам по стратегическим соображениям было приказано покинуть здание. Но, пишет Седых в своей книге «Земля обетованная», «эвакуация была произведена столь поспешно, что не успели предупредить часового, стоявшего на крыше. И забытому солдату не приходило в голову, что он остался единственным защитником монастыря. Когда к воротам приблизилась арабская моторизованная колонна, часовой бросил в нее с крыши «молотовский коктейль». У него было всего три бутылки. Первая вообще не разорвалась, но вторая попала в цель, и машина загорелась. Встретив столь решительное сопротивление, арабская колонна отступила перед лицом «численно превосходящего врага».

Израильтяне воспользовались этим и немедленно снова захватили территорию монастыря. Когда часовому сказали, что в течение целого часа он был единственным защитником крепости и обратил в бегство неприятельскую колонну, бедняга от неожиданности и страха потерял сознание».

После Шестидневной войны Седых снова посетил Иерусалим. Стоя у открытых для прохода Новых ворот, он спросил у случайного прохожего, как сложится для Государства Израиль последующее двадцатилетие? И услышал в ответ: «Следующее? Да я до сих пор не могу понять, как мы просуществовали первые двадцать лет!»

...Жаль, не узнать об этом разговоре Владимиру (Зезву) Жаботинскому – неисправимому оптимисту, для которого не существовало никаких сомнений относительно будущего его народа и судьбы еврейской столицы. Улица Жаботинского (*РЕХОВ ЖАБОТИНСКИ*) находится в самом центре города, соединяя улицу *А-НАСИ* (что в современном иврите означает «президент» – тут и вправду находится резиденция главы нашего государства) с улицей Царя Давида (*ДАВИД А-МЕЛЕХ*). Я усматриваю в этом нечто символическое. Ведь Владимир Жаботинский – талантливый журналист, прозаик и поэт, как, впрочем, тот же царь Давид. Кто знает, если бы он не скончался скоропостижно от инфаркта при посещении лагеря «Бейтар» под Нью-Йорком и дожил до появления на политической карте мира вымечтанного им Государства Израиль, может быть, со своим громадным авторитетом среди евреев стал бы светским главой страны и одновременно – ее духовным лидером, подобно царю Давиду?..

С Иерусалимом были связаны важные события в жизни Жаботинского. В 1920-х годах, когда происходили арабские погромы в Старом городе, он возглавил еврейские отряды самообороны и был арестован властями британского мандата, приговорен к 15 годам тюремного заключения, но под давлением мирового общественного мнения выпущен на свободу. (Суд, между прочим, проходил в здании, расположенном на улице, которая сегодня носит его имя; в этом доме, как раз напротив израильской Академии Наук, находится ныне редакция выходящей на русском языке «Краткой Еврейской Энциклопедии».) Еще раз – и последний – Жаботинский посещает Иерусалим в 1928 году. Он возвратится, снова вернется сюда, но только после смерти. В 1964 году останки Жаботинского и его жены, согласно их предсмертной воле, были перевезены в Иерусалим и захоронены на Горе Герцля. (Эта возвышенность имеет еще одно название – Холм Памяти (*ГАР А-ЗИКАРОН*). Имя Жаботинского навсегда осталось в проспектах и улицах многих израильских городов. А с недавнего времени появилось и в «Иерусалимском журнале»...

Ицхак АБРАВАНЕЛЬ (1437, Лиссабон – 1508, Венеция) – философ и комментатор Библии, казначей португальского короля. После изгнания евреев из Испании и Португалии (1492) поселился в Венеции.

Концепция Абраванеля, согласно которой эпоха Мессии должна была начаться в 1503 году, способствовала возникновению среди евреев мессианских движений в XVI – XVII веках.

В Иерусалиме его именем названа улица в районе **РЕХАВИЯ**.

Михаил АГУРСКИЙ (1933, Москва – 1991, там же). В 1959 г. защитил диссертацию в области технической кибернетики. С 1975-го по 1991 год жил в Иерусалиме, где и похоронен. С 1983 года профессор славистики Еврейского университета.

Автор книг: "Идеология национал-большевизма", YMCA-Press, Paris, 1980; "The Third Rome", Westview Press (USA), 1987; "Горький. Из литературного наследия" (в соавторстве с Маргаритой Шкловской), изд-во Еврейского университета, Иерусалим; 1986 "Пепел Клааса", URA Publishers, Иерусалим, 1996.

АГРИППА I (10 д. н. э. – 44 н. э.; царь Иудеи в 41 – 44 гг. н. э.). Внук Ирода Великого и Мириам Хасмонеи, сын Аристобула и Береники. Воспитывался в Риме. Титул царя получил в 37 году от Калигулы. В 41 стал царем государства, включавшего Иудею, Самарию, Галилею, Перею, Голан, Башан и другие области Эрец-Исраэль. Римское наместничество (прокуратура) было на время отменено. Добился от Клавдия эдикта, защищавшего евреев диаспоры. После его смерти в Иудее было восстановлено римское наместничество.

На улицу **АГРИПАС** выходит центральный иерусалимский рынок **МАХАНЕ ИЕУДА**.

Наум БАСОВСКИЙ родился в Киеве в 1937 году. Репатриировался в 1992 году.

Автор поэтических сборников «Письмо заказное» (1989) и «Свободный стих» (1997), а также поэтических переложений книги «Коэлет» («Экклезиаст») и книги пророка Нахума. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля.

Живет в Ришон ле-Ционе. Работает инженером.

Рудольф БАРИНСКИЙ (1934, Харьков – 1999, Ташкент). Поэт, переводчик. В 70-х и 80-х годах принимал активное участие в деятельности городского Клуба самодеятельной песни «Апрель».

Публикации в журнале «Звезда Востока», альманахах «Молодость» и «Апрель». Песни на стихи поэта звучали в кинофильмах, драматических спектаклях и мюзиклах, удостоивались лауреатских дипломов на фестивалях и конкурсах авторской песни.

Ефрем БАУХ родился в 1934 году в Тигине (Румыния, ныне – Молдова; во времена СССР – Бендеры). Репатриировался в 1977 году.

Автор шести поэтических книг и шести романов. Произведения писателя переведены на иврит, английский и другие языки.

Лауреат премии Рафаэли (1982), премии Всемирного сионистского конгресса и писательской Федерации Израиля. Председатель Федерации Союзов писателей государства Израиль, вице-президент израильского отделения PEN-клуба, председатель Союза русскоязычных писателей Израиля. Живет в Холоне.

Николай Нехемия БЕЗЗУБОВ родился в 1975 году в Киеве. Жил в Ленинграде. В Израиле – с 1990 года. Выпускник отделения графического дизайна Академии художеств «Бецалель». Живет в Иерусалиме.

Элиэзер БЕН-ИЕУДА (настоящая фамилия Перельман; 1858, Лужки, Литва – 1922, Иерусалим). Выдающийся энтузиаст возрождения иврита в качестве разговорного языка. В 1879-1881 гг. учился в Париже, где опубликовал в газете *А-ШАХАР* статью «Жгучий вопрос», в которой сформулировал идею создания в Палестине духовного центра всего еврейского народа. В 1981 году приехал в Иерусалим. Его старший сын стал первым носителем иврита как родного языка спустя тысячу с лишним лет после того, как иврит перестал выполнять разговорные функции. Работал учителем в школе «Альянс» (1882 - 1885), добившись признания иврита единственным языком преподавания в этой школе. Создал много неологизмов, значительная часть которых используется в иврите до настоящего времени. Убедил британские власти провозгласить иврит одним из трех (наряду с английским и арабским) официальных языков подмандатной Палестины. В 1890 году основал Комитет языка иврит (с 1920 года – Академия языка иврит).

Имя Бен-Иеуды носит центральная пешеходная улица Иерусалима, где расположены популярные кафе и магазины, а уличные певцы и музыканты, художники и актеры развлекают своим искусством туристов и жителей столицы.

Хаим Бен-Йосеф ВИТАЛ (1542, Цфат – 1620, Дамаск). Каббалист, ученик Ицхака Лурии. Лурианскую каббалу он пропагандировал также в Иерусалиме, где возглавлял одну из ешив. Идеи своего учителя Витал изложил в сочинении *ЭЦ А-ХАИМ* («Древо жизни»). В Иерусалиме его именем названа улица в районе *ГИВАТ-ШАУЛЬ*.

Мириам ГАМБУРД родилась в Кишиневе. Окончила Высшее училище им. Мухиной (факультет монументального искусства). В 1977 году репатриировалась в Израиль. Работы М. Гамбурд экспонировались на персональных выставках во многих странах мира. Выполненные ею скульптуры установлены в Акко, Герцлии, Хайфе и других городах.

Живет в Яффо. Преподает рисунок и скульптуру в высшей художественной школе *МИДРАША ЛЕ-ОМАНУТ*.

ГЕОРГ ПЯТЫЙ (1865-1936) – король Великобритании в 1910-1936 гг. Второй сын Эдуарда Седьмого. В 1917 году, во время первой мировой войны, отказался от династического имени Саксен-Кобург-Готский, и с тех пор правящая династия Велико-

британии именуется Виндзорской. В этом же году министр иностранных дел британского королевского правительства лорд Бальфур подписал декларацию о праве еврейского народа на свой «национальный очаг» в Эрец-Исраэль, заложившую юридическую основу для создания еврейских догосударственных структур в подмандатной Палестине. В честь Георга Пятого названа Центральная улица Иерусалима Кинг Джордж.

Михаил ГОРЕЛИК родился в 1946 году в Москве, где и продолжает жить. Автор многочисленных статей и эссе, опубликованных в литературных журналах России. Публикуется также в Израиле.

Андрей ГРИЦМАН родился в Москве в 1947 году. В 1981 году переехал в США. Получил степень магистра искусств по американской поэзии в Литературном институте Норвичского университета. Автор сборника стихотворений «Ничейная земля» («Петрополь», 1995) и сборника стихов и эссе (на русском и английском) «Вид с моста» (Нью-Йорк, «Слово-Word», 1999).

Живет в Нью-Джерси. Ведет нью-йоркский литературный клуб «АРАП» (Ассоциация русских американских поэтов).

Моше ДАЯН (1915, Дгания-Алеф – 1981, Тель-Авив). Израильский военачальник и политический деятель. В молодости вступил в ряды еврейского вооруженного формирования *ХАГАНА* и вскоре выдвинулся в ведущие фигуры этой организации. Принимал участие в Войне за Независимость (1948-1949), Суэцкой кампании (1956) и Шестидневной войне (1967). Как министру обороны во время Войны Судного дня (1973) ему были предъявлены обвинения за отступления израильской армии на первом этапе войны. Был также археологом-любителем, собрал коллекцию памятников древности (ныне – в Музее Израиля в Иерусалиме).

Автор книг «Дневник Синайской кампании» (1966), «Новая карта – другие взаимоотношения» (1969), «Повесть о моей жизни» (1976), «Жить с Библией» (1978). Последняя переведена на русский язык. Именем Моше Даяна назван бульвар, проходящий через иерусалимский район Писгат-Зеэв.

Нина ЕЛИНА родилась в Москве. Профессор МГУ. Много лет читала курс итальянской литературы. В 1992 году переехала в Израиль. Автор книги о творчестве Данте. Живет в Иерусалиме.

Борис ЗАЙЦЕВ (Орел, 1881, – 1972, Париж). Прозаик, мемуарист, переводчик. В 1921-22 гг. председатель московского отделения всероссийского Союза писателей. В 1922 году уехал за границу. Соучредитель берлинского Клуба писателей. С 1945 года председатель парижского Союза русских писателей и журналистов. Наиболее известные произведения: автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба» (1937-1953); биографии Тургенева, Чехова, Тютчева, Жуковского; книги воспоминаний «Москва» (1939) и «Далекое» (1965).

Михаил ЗИВ родился в 1947 году в Ленинграде. В Израиль приехал в 1992 году.

Стихи публиковались в периодике и в коллективных сборниках. Живет в Тель-Авиве. Работает водителем.

Григорий КАНОВИЧ родился в Каунасе в 1929 году. Автор более десяти романов о жизни литовского еврейства, двадцати пьес и пятнадцати сценариев художественных фильмов. В 1989-1993 гг. возглавлял еврейскую общину Литвы. За романы "Слезы и молитвы дураков", "И нет рабам рая" удостоен Национальной премии республики. Книги писателя переведены на многие языки.

Репатриировался в 1993 году. Живет в Бат-Яме.

Лауреат премии Союза писателей Израиля.

В «Иерусалимском журнале» (№ 1, 1999) опубликована глава из его романа "Шелест срубленных деревьев".

Арнольд КАШТАНОВ родился в 1938 году в Сталинграде. По образованию – инженер. Автор десяти книг прозы. Один из авторов российско-американской антологии "10 лучших рассказов". Победитель Всесоюзного конкурса на лучший киносценарий (1973). Произведения писателя переведены на многие языки.

После репатриации в Израиль (1991) живет в Нетании.

В «Иерусалимском журнале» (№1, 1999) опубликовано его эссе «Успех как эстетический феномен».

Иеудит КАЦИР родилась в 1963 году в Хайфе. Закончила Тель-авивский университет (отделение литературы, кино и ТВ). Автор романов «Закрываем море» (1990), «Солнечное нутро» (1995), «Сухопутный маяк» (1999), пьесы «Двора Барон». Произведения переведены на английский, немецкий и другие языки.

Живет в Тель-Авиве. На русском языке публикуется впервые.

Януш КОРЧАК (настоящее имя – Генрик Гольдшмидт; 1878, Варшава – 1942, Треблинка). В 1899 году присутствовал в качестве гостя на Втором Сионистском конгрессе. В 1903 году окончил медицинский институт в Варшаве. В 1903-1911 гг. работал в еврейской детской больнице. В 1911 году основал еврейский «Дом сирот», которым руководил до конца своей жизни.

В 1934 и в 1936 гг. приезжал в подмандатную Палестину, где встретил множество своих воспитанников. В 1937 году намеревался репатриироваться, но не решился оставить сирот. В 1940 году приют был переведен в Варшавское гетто, а в 1942 вместе с детьми был депортирован в нацистский лагерь смерти «Треблинка».

Публиковаться начал в 1898 году. Автор книг «Дети улицы» (1901), «Дитя гостиной» (1906), «Моськи, Йоськи и Срули» (1910), «Как любить ребенка» (1914), «Король Матиуш I» (1923), «Право ребенка на самоуважение» (1929) и др. В 1926-1932 гг. редактировал детский еженедельник (приложение к сионистской газете «Наш пшеглэнд»).

В Иерусалиме его именем названа улица в районе **МОШАВА ГЕРМАНИТ** (Немецкая колония). Памятник Янушу Корчаку установлен в иерусалимском Мемориальном центре **ЯД ВА-ШЕМ** (Музей Катастрофы и героизма европейского еврейства).

Надежда КРАИНСКАЯ родилась под Ленинградом, в котором провела большую часть жизни. Репатрировалась в 1988 году. Живет в Иерусалиме.

Вадим ЛЕВИН родился в Харькове в 1933 году и до сих пор почему-то живет там. По первому образованию – инженер-механик, по второму – филолог, по диплому кандидата наук – психолог. Член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук. Автор многих книг, в т. ч. «Борькин тарарам» (1965), «Глупая лошадь» (1968), «Прогоулка с дочкой» (1971), «Хвалилка для котят» (1998).

Ицхак Бен Шломо ЛУРИЯ (1534, Иерусалим – 1572, Цфат). Создатель одного из направлений каббалы. Известен как **ХА-АРИ** (аббревиатура от Ха-Ашкенази рабби Ицхак; существуют и другие прочтения аббревиатуры). Вырос в Египте, в доме богатого дяди, а впоследствии – тестя. Автор книги «**СИФРА ДИ-ЦНИУТА**» («Книга сокровенная» – часть книги **ЗОАР**). К началу 1570 года переселился в Цфат, где приобрел много учеников. Идею мессианства Лурия перенес из общественно-исторического плана в метафизический. Учение Лурии подготовило почву для возникновения саббатрианства и хасидизма. В Иерусалиме в его честь названа улица **ХА-АРИ** в районе **КИРЬЯТ-ШМУЭЛЬ**.

Игорь МАРКОВ родился в 1946 году во Владивостоке. С детских лет жил в Ташкенте. Выпускник режиссерского отделения ВТУ им. Щукина. Ставил драматические и оперные спектакли в театрах Ташкента, Самарканда, Ленинграда и Новосибирска. Репатрировался в 1991 году. Публиковался в периодике. Живет в Иерусалиме. Работает экскурсоводом в Израиле и в странах Европы. Ведущий программ на радиостанции «Седьмой канал».

Узи НАРКИС (1925, Иерусалим – 1997, Иерусалим). Израильский военачальник. Во время Шестидневной войны командовал Центральным военным округом и руководил операцией по освобождению восточных районов Иерусалима. В 1968 году, после ухода в запас, возглавлял в Еврейском агентстве (Сохнут) отделы алии (1968-1978) и публикаций (1982-1992), был избран членом руководства Всемирной сионистской организации. Автор книг «Объединенный Иерусалим» (1975) и «Солдат Иерусалима» (1990).

Имя генерала Узи Наркиса присвоено новой автомагистрали, соединяющей столичные районы **ГИВА ЦАРФАТИТ** и **ПИСГАТ-ЗЕЭВ**.

Сергей НИКИТИН родился в 1944 году в Москве. Один из зачинателей жанра современной авторской песни, композитор и исполнитель, автор известных песен на стихи Юрия Левитанского, Юнны Мориц, Бориса Пастернака, Давида Самойлова, Дмитрия Сухарева и других поэтов. Первую песню («В дороге» на стихи Иосифа Уткина) сочинил в 1962 году. Был организатором и руководителем квартета, позже – квинтета физфака МГУ. Вместе с Виктором

Берковским написал музыку к бард-опере «Али-баба и сорок песен персидского базара» (либретто Вениамина Смехова). Вместе с Дмитрием Сухаревым написал бард-оперу «Предложение» («А чой-то ты во фраке?») и музыкальный водевиль «Актёры меж собой». Председатель жюри фестиваля «Чимган-77» и других фестивалей и конкурсов авторской песни. Несколько лет заведовал музыкальной частью «Табакерки» (театра Олега Табакова). Живет в Москве.

Александр ОКУНЬ родился в 1949 году в Ленинграде. Репатрировался в 1979 году. Работы художника экспонировались на многочисленных персональных выставках в Израиле и за рубежом. Печатался в журналах "22" и "Время и мы". Живет в Иерусалиме. Преподает рисунок в академии художеств Бецалель. В «Иерусалимском журнале» (№ 1, 1999) опубликовано его эссе «Римские каникулы».

Ицхак РАБИН (1922, Иерусалим – 1995, Тель-Авив). Израильский политический деятель и военачальник. Принимал участие в создании еврейских военных структур в подмандатной Палестине. Во время Войны за Независимость командовал бригадой, участвовавшей в боях за Иерусалим. Во время Шестидневной войны был начальником генштаба Армии обороны Израиля. Несколько раз занимал пост премьер-министра. В последнюю каденцию (1992-1995) начал переговоры с ООП, которые привели к созданию Палестинской автономии. За личный вклад в «мирный процесс», ему (вместе с Шимоном Пересом и Ясером Арафатом) была присуждена Нобелевская премия. Убит правым экстремистом на митинге. Похоронен в Иерусалиме на горе Герцля. Автор книги мемуаров «Послужной список» (1979). Именем Рабина в Иерусалиме названы одна из новых магистралей, а также молодежный хостель рядом с Музеем Израиля.

Алекс РЕЗНИКОВ родился в 1946 году в Киеве. До репатриации издал семь книг. В 1991 году осуществил свою мечту: вместе с женой Биной и кошкой Кляксой совершил восхождение в Иерусалим. В газете "Вести-Иерусалим" ведет рубрики об истории города, его улицах, музеях и достопримечательностях, о своеобразной кулинарии местных ресторанов (печатается также под псевдонимами **Аб Вовкинд** и **Алик Шохат**). Автор книг: "Иерусалим: улицы в лицах" (1996; 1999) – о людях, чьими именами названы улицы еврейской столицы; "Иерусалимский след" (2000) – о паломниках и гостях города на протяжении его трехтысячелетней истории.

Илан РИСС родился в 1950 году во Фрунзе (ныне Бишкек). В Израиле – с 1978 года. Автор книги «Муди и Иисус» (1996). Рассказы, написанные на иврите, публиковались в журнале «77». Живет в Иерусалиме. Работает программистом.

Денис СОБОЛЕВ родился в Ленинграде в 1971 году. Доктор филологии. В Израиле с 1991 года. Занимается английским модернизмом и общей теорией литературы. Автор многочисленных публикаций в периодике. Член редколлегии журнала «22». Живет в Иерусалиме. Преподает в Хайфском университете.

Семен СУШАНСКИЙ родился в 1945 году в Свердловске. Жил в Подмосковье, в Перми, на Украине. Работал конструктором, преподавателем. В Израиле – с 1991 года. Стихи публиковались в российской и украинской периодике. Живет в Иерусалиме. Работает экскурсоводом.

Ирина ТВЕРСКАЯ родилась в 1977 году в Херсоне. Репатрировалась в 1990 году. Изучала психологию и журналистику в Иерусалимском университете. Автор поэтических сборников «Глоток зари» (1994) и «Преддверие истины» (1998). Живет в Кирьят-Арбе. Работает графиком-дизайнером.

Анна ТИХО (1894, Брюни, Моравия, ныне Брно, Чехия – 1980, Иерусалим), известная израильская художница, мастер рисунка. В детстве жила в Вене. В **ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ** приехала в 1912 году. Во время первой мировой войны жила в Дамаске. С 1919 года – в Иерусалиме. Одна из основателей Академии художеств «Бецалель». В 1970 году удостоена звания «Почетный гражданин Иерусалима», в 1980 году ей присуждена Государственная премия Израиля. Расположенный в центре Иерусалима **БЕЙТ-ТИХО** – дом, в котором жила художница, – в настоящее время является филиалом Музея Израиля. В **БЕЙТ-ТИХО** регулярно проходят художественные выставки и музыкальные вечера. Во дворе дома находится известное в городе кафе, где бывают также члены редколлегии журнала и его авторы.

Владимир ФРЕНКЕЛЬ родился в 1944 году в Горьком, с 1946 года жил в Риге, в 1985-86 гг. – политзаключенный. Репатриировался в 1987 году. Живет в Бейт-Шемеше. Автор книг стихов «Земное небо», Лиесма, Рига (1977), «Проходя вдоль канала», Тарбут, Иерусалим (1990), «Время пустыни», ФИАМ, Рига (1997). В «Иерусалимском журнале» (№№ 2, 3) опубликованы его рецензии на книги израильских авторов.

ХУСЕЙН (Хусейн ибн Талал; Амман, 1935 – 1999, там же), король Иордании с 1952 года, внук основателя Иорданского Хашимитского королевства Абдаллы ибн Хусейна. В 1967 году, в первый день Шестидневной войны, отдал приказ о наступлении на еврейские кварталы Иерусалима. Это решение обернулось для короля потерей его владений к западу от Иордана и Мертвого моря. В 1994 году подписал с Ицхаком Рабином Договор о мире между Израилем и Иорданией. На одном из холмов восточной части Иерусалима находится недостроенный дворец короля.

Шабтай (Саббатай) ЦВИ (1626, Измир – 1676, Дульциньо), центральная фигура крупнейшего в еврейской истории (после восстания Бар-Кохбы) мессианского движения. В 1665 году в Газе публично провозгласил себя Мессией и направился в Иерусалим. Столкнувшись здесь с сопротивлением многих авторитетных раввинов, перебрался в Измир и превратил его в столицу мессианского движения. В 1666 был заключен турецкими властями в тюрьму и под угрозой смертной казни принял ислам. Будучи отпущен на свободу, поселился в Эдирне, где в 1672 году был арестован по обвинению в тайном соблюдении еврейских обрядов. В 1673 был выслан в город Дульциньо. Сторонники Шабтая Цви верили, что он не умер, а вознесся, приобщившись к «высшему сиянию».

Сусанна ЧЕРНОБРОВА – родом из Риги. В Иерусалиме живет с 1991 года. Художник нашего журнала. Живопись и графика С. Ч. экспонировались на выставках в Риге, Москве, Иерусалиме. Автор сборника стихов “На правах рукописи”, Альфабет, (1997). В «Иерусалимском журнале» (№ 2, 1999) опубликовано ее эссе о художнике Исраэле Маляре.

Давид ШАХАР (1926, Иерусалим – 1997, там же). Израильский писатель. Автор четырех сборников рассказов и семи романов, сюжеты которых разворачиваются на фоне многовековой истории Иерусалима. Лауреат израильских и зарубежных литературных премий, в т. ч. премии Агнона (1973), премии Бялика (1984), Президентской премии (1997). Произведения Шахара переведены на многие языки.

В иерусалимском муниципалитете принято решение о присвоении имени писателя одной из улиц города.

Гершом ШОЛЕМ (1897, Берлин – 1982, Иерусалим). Известный философ, филолог, текстолог, специалист по истории религии, основатель новой области иудаистики – науки о еврейской мистике и каббале. В 1923 году переехал в Эрец-Исраэль. С 1925 года читал в Еврейском университете в Иерусалиме курс каббалы. В 1946-1952 гг. руководил университетским проектом спасения уцелевших в Катастрофе памятников еврейской культуры в Европе. Один из основателей Израильской Академии Наук (в 1968-1974 гг. ее президент). Автор многочисленных книг. Лауреат Государственной премии Израиля (1968).

В Иерусалиме именем Гершомо Шолема названа крупнейшая в мире научная библиотека книг по каббале, мистике и истории религии, входящая в состав Национальной и Университетской библиотеки.

Подписку на журнал можно оформить, прислав свои почтовые координаты и чек на имя **"Jerusalem Anthologia"** по адресу: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**

Стоимость годовой подписки (4 номера)
в Израиле – 128 шекелей, включая пересылку.
в странах Западной Европы и Северной Америки – \$64 США,
включая пересылку.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В БИБЛИОТЕКЕ "ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА" в 1999-2000 гг. вышли книги:

Дина РУБИНА. "Высокая вода венецианцев"

Новая одноименная повесть, рассказы и монологи.

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. "Стена в пустыне"

Новые стихи поэтессы и новые работы художника.

Юлий КИМ. "Путешествие к маяку"

Новые стихи, проза и драматические произведения.

Зинаида ПАЛВАНОВА и Вениамин КЛЕЦЕЛЬ.

«Иерусалимские картинки»

Новые стихи З. Палвановой и рисунки В. Клецеля

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Новая книга стихов **Владимира ДРУКА**

Книга новых стихов и песен **Дмитрия СУХАРЕВА**

ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ - WWW.ANTHO.NET

Смотрите в Виртуальном музее современных израильских художников коллекции полотен **Гарика Зильбермана, Бориса Карафелова, Вениамина Клецеля, Михаила Яхилевича, Леи Заремба, Григория Козлета, Лиоры Барштейн, Давида Ханана, Бориса Караванова, Якова Фельдмана, Михаила Моргенштерна, Сусанны Чернобровой, Бориса Лекаря, Николая Беззубова, Зелия Смехова, Ителлы Мастбаум** и других мастеров живописи.

Творческое объединение "Иерусалимская Антология" благодарит **Татьяну ГОЛЬДМАХЕР (Бостон), Фруму ПИЛИПЧАК (Чикаго), Якова ЛИВШИЦА (Иерусалим)** за поддержку журнала.
Наш счет – **215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим.**
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim
Любые пожертвования будут приняты с благодарностью.

СОДЕРЖАНИЕ

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

НАУМ БАСОВСКИЙ. Место, где каждодневно живёшь. <i>Стихи</i> . . .	3
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. Огонь и воды. <i>Главы из повести</i>	13
МИХАИЛ ЗИВ. Зарисовки на пленэре. <i>Стихи</i>	59
ИЕУДИТ КАЦИР. Шлаф Штундэ. <i>Рассказ. Перевод С. Шенбрунн</i>	66

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

СУСАННА ЧЕРНОБРОВА. Пустыня и море. <i>Стихи</i>	87
ИЛАН РИСС. Окрыленные нетерпением. <i>Рассказы</i>	94
ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ. Размышления в пустом кафе. <i>Стихи</i>	108
ДЕНИС СОБОЛЕВ. Лакедем. <i>Рассказ</i>	116

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

АНДРЕЙ ГРИЦМАН. Хамсин. <i>Поэма</i>	136
--	-----

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

НИКОЛАЙ НЕХЕМИЯ БЕЗЗУБОВ. Наблюдать бесплатно	145
МИРИАМ ГАМБУРД. Интеллектуалка. Мессия. <i>Рассказы</i>	155
ИГОРЬ ГУБЕРМАН. Текст к рисункам	162
АЛЕКСАНДР ОКУНЬ. Рисунки	164

УЛИЦА КОРЧАКА

ВАДИМ ЛЕВИН. Адаптированный Корней Иванович. <i>Письмо в редакцию</i>	172
---	-----

КИНГ ДЖОРДЖ, 21	179
---------------------------	-----

НАДЕЖДА КРАИНСКАЯ. Когда с лиловой белая сирень. <i>Стихи</i>	180
АЛЕКСЕЙ ФАДЕЕВ. Голоса. <i>Миниатюры</i>	182
СЕМЕН СУШАНСКИЙ. Понимая только половину. <i>Стихи</i>	184

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

АРНОЛЬД КАШТАНОВ. Групповой автопортрет с отрезанным ухом... <i>Эссе</i>	186
ЕФРЕМ БАУХ. Храм Давида Шахара. <i>Глава из новой книги</i> . . .	211

ХОЛМ ПАМЯТИ

ИГОРЬ МАРКОВ. Прощание с поэтом	224
РУДОЛЬФ БАРИНСКИЙ. Я целовал босые ноги слова. <i>Стихи</i> . .	226
МИХАИЛ АГУРСКИЙ. Эпизоды воспоминаний	231
НИНА ЕЛИНА. «В подвал спускался с рукописью "Ада"...» (<i>Письма Б. К. ЗАЙЦЕВА</i>)	275

НОВЫЕ ВОРОТА

Рецензии Наума БАСОВСКОГО, Михаила ГОРЕЛИКА, Ирины ТВЕРСКОЙ, Владимира ФРЕНКЕЛЯ на книги Дмитрия БАЙДАКА, Нины ВОРОНЕЛЬ, Ефима ГАММЕРА, Лиоры КНАСТЕР, Татьяны ОЧЕРЕТАН	279
--	-----

ШАТЕР КНИГИ

Издания 1999 года	291
-----------------------------	-----

УЛИЦА ВСЕГДА	293
------------------------	-----

АЛЕКС РЕЗНИКОВ. Заметки празднующегося	294
--	-----

ИМЕНА	299
-----------------	-----

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 4, 2000

ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet virtual version: www.antho.net/L

Israel Union of Writers in Russian

Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief), **Zinaida Palvanova**,
Dinah Rubina, **Svetlana Shenbrunn**

Executive Secretary – **Leonid Levinson**

Graphic Designer – **Susanna Chernobrova**

Assistant Editor and Corrector – **Margarita Shklovskaya**

Administrative and technical support – **Binah Smekhov**, **Boris Bronshtein**, **Daniel Burshtein**, **Michael Byalsky**, **Nely Glozman**, **Victor Gopman**, **Gregory Gordin**, **Shaul Kotlyarsky**, **Daniel Lemberg**, **Anton Mukhin**

SCOPUS Publishing House

TSUR OT Printing House

With the support of: Absorption Ministry; Culture Ministry; Repatriate Writers and Artists Integration Center; Absorption Department and Culture Department of Jerusalem City Council; Zionist Forum; World Association for Study of Interaction of Cultures

Copyright © "Иерусалимский журнал" 2000. All rights reserved.

Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: review@antho.net

Phone/Fax: 972-2-6720025; 972-2-6432962; 972-2-6434005;

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Melamed** (Address: Россия, 119048, Москва, Хамовнический вал, д. 24, кв. 116, Phone: 7-095-242 7042)

Igor Gryzlov (Phone: 7-095-551 5705), E-mail: igorgr@dol.ru

in St.Petersburg: **Olga Krupenye** (Address: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул.Казанская, 5, Phone: 7-812-312 5465)

Sergey Grigoryantz (Address: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул.Бассейная, д. 71, кв. 66, Phone: 7-812-294 8143)

in Novosibirsk: **Vladimir Bolotin** (Address: Россия, 630090, Новосибирск - 90, п/я 414, Phone: 7-3832-329944). E-mail: V.P.Bolotin@inp.nsk.su

in New-York: **Andrey Gritsman** (Address: 55 Central Avenue, 1st Floor, Tenafly, NJ 07670. E-mail: agritsman@worldnet.att.net

in Chicago: **Alexander Blinstein** (Address: 5157 Jarvis Skokie IL 60077 USA, Phone: 1-847-676 1134); **Yefim Kotlyar** (Address: 5251 Carol, Skokie IL 60077 USA, Phone: 1-847-581 9304, E-mail: YefimK@aol.com)

in California: **Rita Balmina** (Address: Cowles HNT.BD #E128 La-Mesa CA 91242, USA, Phone: 1-619-4606179 E-mail: rita_balmin@yahoo.com)

in Paris: **Vlad Smekhov** Phone: 33-6-73024165, 33-1-41861474

IN ISRAEL:

Lyuba Sergeeva – Afula, Phone: .: 06-6492095

Olga Kravchenko – Arad, Phone: 972-7-9971014

Samuel Kushnirov – Ariel, Phone: 972-3-9365452

Leonid Sheinkman – Herzliya, Phone: 972-9-9502681

Vitaly Kabakov – Kfar Saba, Phone: 972-9-7673293

Michael Basin – Khaifa, Phone: 972-4-8213657

Michael Gil – Lod, Phone: 972-8-9201291

Mark Pavis – Rekhovot, Phone: 972-8-9353758

CONTENTS

JAFFA GATE

NAHUM BASOVSKY. A Place of Your Familiar Habitation. Verses
GREGORY KANOVICH. Fire and Waters. Chapters from the Novelette
MICHAEL ZIV. Plein Air Sketches. Verses
YEHUDIT KATSIR. Shlaf Stunde. Short Story. *Translated by S. Shenbrunn*

LION GATE

SUSANNA CHERNOBROVA. Desert and Sea. Verses
ILAN RISS. Inspired with anticipation. *Short Stories*
VLADIMIR FRENKEL. Contemplation in an Empty Cafe. Verses
DENIS SOBOLEV. Lakedem. *Short Story*

AMERICAN COLONY

ANDREY GRITSMAN. Khamsin. *Poem*

BETZALEL STREET

NIKOLAY NEKHEMIYA BEZZUBOV. To Watch Is Free
MIRIAM GAMBURD. An Intellectual Lady. *Two Short Stories*
IGOR GUBERMAN. Text on Drawings
ALEXANDER OKUN. Drawings

KORCZAK STREET

VADIM LEVIN. Adapted Korney Ivanovich

21 KING GEORGE ST

NADEZHDA KRAINSKAYA. Lilac White and Violet. Verses
ALEXEY FADEEV. Voices. *Miniatures*
SEMEN SUSHANSKY. Understanding Only a Half. Verses

MOUNT SCOPUS

ARNOLD KASHTANOV. A Group Portrait with a Mutilated Ear. *Essay*
EFREM BAUKH. The Temple of David Shakh. *From a New Book*

Memory Hill

IGOR MARKOV. A Farewell to a Poet
RUDOLF BARINSKY. I Kissed Word's Bare Feet. Verses
MICHAEL AGURSKY. Episodes from Memoirs
NINA ELINA. Descending to the Vault with "Inferno" Manuscript...
(B.K.ZAYTSEV'S Letters)

NEW GATE

Reviews by NAHUM BASSOVSKY, MICHAEL GORELIK, IRINA
TVERSKAYA, VLADIMIR FRENKEL of books by DMITRY BAYDAK,
NINA VORONEL, EFIM GAMMER, LIORA KNASTER, TATIANA
OCHERETYAN

SHRINE OF THE BOOK

Literary editions of the Year 1999

ALWAYS STREET

ALEX REZNIKOV. Idler's Notes

NAMES

תוכן העניינים :

שער יפו

נחום בסובסקי. מקום חיי היום-יום שלך - שירה
גרגורי קנוביץ'. אש ומים - פרקים מספר חדש
מיכאל זיו. ציורי נוף - שירה
יהודית קציר. שלאף שטונדה - סיפור

שער האריות

סוסנה צ'רנוברובה. מדבר וים - שירה
אילן ריס. על כנפי הפזיזות - סיפורים
ולדימיר פרנקל. הרהורים בבית קפה ריק - שירה
דניס סובולב. לקדם - סיפור

מושבה אמריקנית

אנדרי גריצמן. חמסין - פואמה

רחוב בצלאל

ניקולאי נחמיה בזובוב. להסתכל בחינם
מרים גמבורד. אינטלקטואלית - שני סיפורים
איגור גוברמן. טקסט לציורים
אלכסנדר אוקון. ציורים

רחוב קורצ'אק

ודים לבין. ספרות רוסית לילדים ישראלים - מכתב

קינג ג'ורג', 21

נדיז'דה קראינסקי. לילך סגול ולילך לבן - שירה
אלכסיי פדייב. קולות - מיניאטורות
סימון שושנסקי. בהבנה רק של מחצית - שירה

הר הצופים

ארנולד קשטנוב. דיוקן עצמי קבוצתי עם אוזן חתוכה - מסה
אפרים באוך. היכל דוד שחר - פרקים מספר חדש

הר הזיכרון

איגור מרקוב. פרידה מהמשורר
רודולף ברינסקי. נישקתי את רגליה היחפות של מילה - שירה
מיכאל אגורסקי. פרקי זכרונות
נינה ילין. "ירדתי למרתף עם כתב-יד של דנטה"
(מכתביו של ב. זייצב)

השער החדש

ביקורות: נחום בסובסקי, מיכאל גורליק, אירנה טברסקי
ולדימיר פרנקל על ספריהם של: **דמיטרי בידק, נינה**
וורונל, יפים גמר, ליאורה קנסטר וטטיאנה אוצ'ריטיאן

היכל הספר

כתבי עת וספרים של שנת 1999

רחוב התמיד

אלכס רזניקוב. רשימות של הולך-בטל

שמות

כתב-עת ירושלמי
ספרות ישראלית בשפה הרוסית
2000 .4
רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי), סמיון גרינברג,
רומן טימנצ'יק, זינאידה פלבנוב, דינה רובין,
סבטלנה שנבורן

מזכיר - **לאוניד לוונזון**

ציירת - **סוסנה צ'רנוברוב**

עריכה והגהה - **מרגריטה שקלובסקי**

תמיכה לוגיסטית וטכנית - בינה סמחוב, בוריס ברונשטיין,
דניאל בורשטיין, שאול קוטלרסקי, מיכאל ביאלסקי, ויקטור גופמן,
גרגורי גורדין, נלי גלוזמן, דניאל למברג, אנטון מוכין ובוריס שטיין.

הוצא לאור: **"סקופוס"**. הדפסה: דפוס **"צור-אות"**



ירושלים



בתמיכת

המרכז לקליטת אמנים עולים

(משרד לקליטת עליה,
משרד החינוך, התרבות והספורט);

עיריית ירושלים

(הרשות העירונית לקליטת עליה
ואגף התרבות);

הפורום הציוני

והכנס העולמי ללימודי אינטראקציה של תרבויות

© 2000 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: **"כתב-עת ירושלמי"**

ת.ד. 32297, ירושלים 91322

טל. 054-745322, 02-6720025

02-6432962, 02-6434005

